ГАЛИЛЕЯ

Литературно-художественный журнал

Израиль
2001

5

ГАЛИЛЕЯ 5

ГАЛИЛЕЯ

Литературно-художественный журнал

№ 5

Северное отделение
Союза русскоязычных писателей Израиля

Литературное объединение "Галилея"

Мерказ ле-клитат оманим олим

Библиотека Сионистского форума

Амута "Мишпаха – байт хазак"

Центр культуры олим
Министерства абсорбции

2000-2001

Главный редактор Марк Азов

Редакционная коллегия:
Валерия Барташник, Виктор Зильман,
Михаил Лезинский, Анна Реак, Юрий Супоницкий,
Грэгори Фридберг, Роман Цивин

Художник – Мирьям Азова
Компьютерный набор, верстка и корректура –
Александр Каменский

На обложке – фото Грэгори Фридберга

Редколлегия и авторский коллектив журнала
благодарят амуту "Открытые двери"
за содействие в подготовке настоящего выпуска "Галилеи".
OCR Давид Титиевский, июль 2019 г., Хайфа

Copyright "Galilea"

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, without permission

All rights reserved

Журнал выходит при
содействии Центра абсорбции
деятелей культуры и
искусства, а также
Библиотеки
Сионистского форума

“ОСТРОВ ИЗРАИЛЬ”

Виктор Голков

* * *

Остров Израиль – горящий барак,
Чувствуешь как надвигается мрак?
Коль по степи на машине не едешь,
Снайпера вряд ли в ночи обезвредишь.

Слышишь, он в небо молитву вознес?
Жаль, что ты череп ему не разнес.
На голове твоей желтая каска,
А на лице его черная маска.

Тихо вползаем мы, просто враги,
В черный Хеврон, где не видно ни зги.
Враг, ты косынку пятнистую носишь,
Ты никогда меня в море не сбросишь.

И я разбитой клянусь головой
В том, что мой прадед святее, чем твой.
Не зашвырнешь ты мои чемоданы
В желтую, мутную глубь Иордана.

* * *

Складчатые желтые вершины.
Никого, хоть сорок лет кружи.

Сквозь окно квадратное машины
Вижу только сны и миражи.
Это называется свобода:
Если ветер в уши засвистит.
По какой-то прихоти погоды
Только он тебя и навестит.

Но и здесь в пустыне пустишь корни
Как в ущелье вросшие кусты.
С пустотой брататься не позорней,
Чем бежать от этой пустоты.

* * *

Я вырос в республике пьяной,
где тесно от горьких озер
и в теплую полночь каштаны
душевный ведут разговор.

Но, едкую горечь вдыхая,
я понял, что был в забытьи,
и выпала трезвость сухая
мне в зрелые годы мои.

Эдем и его филиалы,
за взрывом – еще один взрыв.
Кривые, гнилые кварталы,
утроба твоя, Тель-Авив.

* * *

От сизого пепла –
палящей среды обитанья,
где воздуха легким
хронически недостает,
не дальше до неба,
чем нам – от войны до братанья,

когда скорпион
бедуинскую песню поет.

Так, значит, не выверт –
туманное марево муки,
какое ползет
желатином из впадин ноздрей.
Симфония жизни,
не помня о Брамсе и Глюке,
в сплошной абсолютности
истин бесспорных мудрей.

Но я не мудрей,
чем немое мое отраженье
в том облаке света,
откуда я выпал во тьму.
И ежели суть существует,
то это – скольженье,
движенье навстречу
бессмертному сну моему.

* * *

Не каждому близок мой взгляд на мир –
Мне это ясно давно.
От вбитых в сознание черных дыр
В душе и в мозгу темно.
Но есть ведь и ласковый майский свет,
Который не жжет огнем.
И если ты вдруг полетишь в кювет,
Очнешься уже при нем.

Шуламит Харэвен

СВИДЕТЕЛЬ

Не успел я подготовиться как положено к прибытию Шломека в нашу школу, хотя класс я готовил уже не один день. Я сказал им, что на этой неделе к нам сюда приезжает еврейский мальчик из Польши, прямо с войны, и что я совершенно уверен, что мы примем его тепло и создадим ему ощущение дома. "Наша школа – это наши сердца", – сказал я им. А еще я им сказал, что судьба у него тяжелая. "Но, несмотря ни на что, он едет – едет, чтобы воссоединиться с нами. Сажать, строить и обустраивать".

Может быть, не надо было так уж распространяться. В те дни поступать назло у восьмиклассников было делом привычным, хотя в тот раз они, вероятно, сделали это специально назло мне, своему классному руководителю. Иногда, бывало, стоя перед этим классом, я чувствовал, что все, что я произношу, – всего лишь пустые звуки, лишенные содержания, будто от слов остались одни только голые контуры. Казалось, что голос упирается в стоящую между нами плотную стену, которая искажает смысл сказанного, возвращает звук обратно, а то, что я хотел донести, – не дошло, обсмеяно и не имеет отклика. Уверен, что нет на свете учителя, которому не выпадали бы такие деньки в классе. А я, я – человек чувствительный. Рута, наш консультант по психологии, которую я встретил по дороге из столовой, бросила мне тогда: "Скажи-ка, Йотам, а не слишком ли ты их наставляешь? Ты уверен, что так и надо?"

Нет, я не был уверен. Когда я разговариваю с Рутой, женщиной сухой и язвительной, я вообще ни в чем не уверен. Но разве может воспитатель не подготовить класс к такому особому случаю? Уже десять месяцев как тянется мировая война, ученики следят за всеми передвижениями немцев, французов, поляков по большой карте, которая висит у них на стене в бараке еще с прошлого сентября, слушают радио, как болельщики, следящие за

нескончаемым спортивным состязанием. И ведь до сих пор у нас не было прямого касательства к этой войне. То есть непосредственного. Боаз надеялся, что новенький объяснит ему разницу между "мессершмитами" и "штуками". Некоторые девочки, родители которых репатриировались из Польши, ждали от него разъяснений: как могло случиться, что прославленная польская конница так быстро потерпела полное поражение. Йорам и Эли считали, что им следует выслушать мнение новенького о том, когда Англия справится с Дюнкеркским поражением и опять начнет эффективно сражаться за европейские земли. Итак, все ожидали его появления в качестве специалиста.

Но вместо обычного небольшого запаздывания автобуса, который привез бы Шломека до обеда, и он, перед тем как попасть в класс, имел бы со мной соответствующую беседу, автобус в направлении Дром-Ехуды появился на нашей казуариновой аллее только во второй половине дня. Я не услышал ни того, как он подъехал, ни того, как Шломек вошел ко мне в комнату, где я стоял перед зеркалом и укладывал волосы. Разумеется, нет ничего плохого в том, что воспитатель причесывается, – наоборот, он даже обязан выглядеть прибранным и опрятным. А у меня пышные кудри и мне трудно управляться с ними. Ухаживать за этим так называемым богатством – наказание для его обладателя. Так или иначе, но из-за того, что наша первая встреча оказалась именно такой, я почувствовал себя как-то неловко. А времени уже не оставалось ни на что больше, кроме как взять его и быстро пройти с ним в класс до начала большой перемены.

Сам не знаю, кого я ожидал, но только не такого Шломека. Во-первых, он не был особо бледным – очень худой, правда, но не бледный. Выяснилось, что он несколько недель болтался в море на палубе какого-то парохода и загорел. Во-вторых, он знал немного иврит – иврит, который учат в школах системы "Тарбут". Это такой стиль языка, который в наших местах принят только у стариков, а если в этаком духе начинает изъясняться молодой человек, то он, значит, хочет считаться более взрослым, чем есть. И по одежде Шломек тоже выглядел старше меня: он явился в длинных брюках, очень хорошо отутюженных, с острой складкой. А кто в наших краях носит длинные брюки, кроме совсем уж стариков, у которых ноги белые, будто выбритые? У нас и зимой и летом все ходят с голыми ногами. Ноги покрыты волосами и совсем не холодно. Мы ведь из тех, кто лазает по горам и холмам, и потому ноги у нас сильные. Прикоснется, бывало, какая-нибудь из наших девчонок к густой растительности на ногах у парня, и вот уж искра вспыхнула. Этим я хочу сказать, что в наших классах много здоровой страсти. У Руты, правда, насчет этих дел свои понятия. Она считает, что в этом вопросе мы развиваемся быстрее из-за того, что наши дети

подрастают вдали от родителей. В самом деле, углубись как следует в биографии ребят сельскохозяйственной школы, и в большинстве случаев найдешь что-нибудь этакое. Я не такой ученый, как Рута. Но когда я порой наблюдаю, как под вечер прогуливаются девушки из двенадцатого (или даже одиннадцатого) класса возле забора цитрусовой плантации (ну, а запах апельсинов – уж само собой), то мне вовсе не кажется, что созревание этих девиц связано с тем, что их родители далеко, или разведены, или просто не хотят, чтобы дети жили дома. В этих девушках проявляется естественность. До Руты, кстати, не слишком доходит, что такое естественность. Могу и примеры привести. Михаль, скажем, из одиннадцатого класса – очень естественная девушка. Дан Слуцкий, ее классный руководитель, просто не понимает ее. Я уверен, что если бы я был ее воспитателем, я бы как-нибудь переделал для нее официальную программу обучения. Разумеется, это не правило, но в особых случаях вполне приемлемо. Я как-то сказал об этом в учительской, и мне кажется, что большинство педагогов со мной согласились.

Итак, не успел Шломек рассказать мне, что он родился в ужасно большом городе, учился в школе "Тарбут", а когда разразилась война, бежал вместе с семьей в деревню, – а мы уже стоим у входа в класс – класс, к середине дня утомленный, потный, голодный и нетерпеливый.

Я попросил извинения у учительницы английского и сказал:

– Ну вот, друзья, вот вам еще один ваш брат.

– Я ему вовсе не брат, – раздался голос Боаза, и трое или четверо возбужденно захохотали. Шломек удивленно посмотрел на Боаза, потом взглянул на меня.

– Шломек, – сказал я, – давай-ка расскажи нам, каково сейчас военное положение в тех местах, из которых ты прибыл.

Шломек взглянул на меня с еще большим удивлением и после долгого молчания сказал печально:

– Нет войны.

– Что это значит? – раздались в классе голоса. – Что ты мелешь?

– Нет войны, – повторил Шломек. – Немцы и в городах, и в деревнях, но больше нет людей, которые бы продолжали сражаться против них, потому что немцы очень уж сильны.

Боаз выплюнул изо рта соломинку и сказал:

– Трусы.

– Нет, не трусы, – возвысил Шломек голос, объясняя и волнуясь. – Не трусы. Но силы у них не те, и нет той мощи, которая им противостоит.

– А я уверен, что есть, – сказал Боаз. – Я уверен, что есть люди, которые сражаются с немцами как надо, даже в оккупации. Я уверен, что не все такие трусы, как некоторые из тех, что стоят здесь.

Шломек смотрел на меня со все возрастающим и все более глубоким изумлением. И я сказал:

– Боаз, не суди другого, пока сам не побывал на его месте!*

Боаз даже не ответил. Уже само появление Шломека в классе закрутилось совсем не так, как было запланировано.

Я почувствовал себя неуютно. К тому же растрепанные волосы, которые из-за неожиданного появления Шломека я не успел как следует уложить с помощью специального средства, хранившегося у меня в комнате, усиливали мою неловкость до такой степени, что мне казалось, будто меня врасплох застали голым.

– Шломек, – сказал я, – расскажи нам о своем доме и о своей семье.

Прошло довольно много времени, прежде чем он заговорил. Похоже, что он уже не решался открыть рот. Потом произнес слабым голосом, будто тихо молился:

– Моего отца повесили на дереве. На Песах его повесили. А мать и двоих моих братьев расстреляли у ворот, когда они вышли в поисках хлеба. Четыре дня и четыре ночи мы не могли их похоронить, потому что снег и земля были очень твердыми из-за долгой и суровой зимы. Нет, мы не... (он изобразил рукой движение, будто копают, – и я подсказал: "Закапывать. Вы не закопали"). Нет, мы их не похоронили, – сказал Шломек и продолжал тем же тоном, словно причитая и молясь. – И еще очень многие убиты в этом месте. И там старший брат мой Элиягу, и там младший брат мой Йоси. И там отец мой Ицхак, и там мать моя Белга.

– На этом кончается недельная глава Торы, – послышался шепот Эли. Минуту класс молчал, а потом будто прорвало. Заговорили сразу все.

– Что он там рассказывает? Что он нам заливает? С чего это немцы будут убивать людей, которые вышли за хлебом? Он же сам говорил, что войны нет, а только оккупация, – так к чему вся эта туфта?

– Ребята, замолчите! – призывал я снова и снова, но без толку. – Тихо! Тишина!

– Но он рассказывает то, чего не было, – проговорила Рина, отец которой был музыковедом из Германии. – Я знаю, что во время войны случаются всякие вещи, но так, ни с того ни с сего убивать гражданских людей... даже в голове не укладывается. Это просто его выдумки.

---

* *Изречение из Талмуда.*

– А я думаю, может, у него шок! – затараторила одна из маленьких девочек-активисток. – Знаете, бывает такое на войне: люди получают шок и болтают что попало. Шок проходит, а потом они абсолютно ничего не помнят...

Шломек посмотрел на нее, потом на меня.

– Ты можешь сесть, Шломек, – сказал я.

Я был смущен и понимал, что мне не удалось совладать с классом.

– За какой кафедрой? – спросил Шломек и на этот раз почти разозлил меня: за кафедрой, надо же!

Усадил я его рядом с самой доброжелательной девочкой из всего класса – Эдной. Она деликатная, маленькая, с прямыми, как у младенца, волосами и, кажется, прямодушная – во всяком случае, не злыдня. Я хотел, чтобы он оказался подальше от Боаза. Но оказалось, что Шломек слишком высок и заслоняет доску сидящему за ним низкорослому Эли. Опять мне пришлось пересаживать их, что к концу учебного года вовсе нежелательно. Между прочим, я заметил, что Эдна потихоньку достает из кармана жвачку и протягивает Шломеку. Что делают со жвачкой, он не знал.

Между тем прозвенел звонок на большую перемену. Голодное мое стадо разом вырвалось наружу, увлекая за собой и учительницу английского, и меня. Шломек подошел ко мне. Несмотря на некоторую неловкость, которую я испытывал, кое-что я все-таки предпринял – обнял его за плечи. Он прижался ко мне. Среди парней такое не принято, это как-то неестественно.

– Никому я не понравился, – проговорил он очень расстроенно.

– Они привыкнут, и ты привыкнешь, – сказал я с преувеличенным оптимизмом. – Пройдет немного времени, и ты будешь выглядеть как мы, говорить как мы, и все забудут, что ты не из наших. Да и одежда тоже имеет значение.

– Одежда? – не понял он.

– У нас все ребята ходят в шортах, – сказал я. – И только те, кто прибыл из галута, носят длинные брюки. Завтра утром, Шломо, сходи на склад и скажи Батье, чтобы она дала тебе шорты. – Я потрепал его по плечу. – Скоро ты станешь настоящим саброй*, Шломо, не волнуйся, все будет хорошо.

Но я не был уверен, что все будет хорошо. Совсем нет. Рассказы Шломека свидетельствовали о его склонности к преувеличениям и о необузданном воображении. Я могу предположить, что его семья пропала во время бомбежки или что его терзает чувство вины из-за того, что он оставил их где-то по дороге, когда они бежали (о чем мне пока неизвестно), или что он

---

* *Сабра – уроженец Израиля (иврит).*

вообще ничего не знает об их судьбе и как-то компенсирует эту неизвестность, придумывая жуткие рассказы про невероятную смерть своих родных. Некоторые наши девушки и парни, у которых случаются проблемы в семье, тоже выдумывают всякие небылицы о своих родителях, но это, как правило, рассказы о том, каким уважением пользуются отец и мать, и об их достижениях. Скромный бизнесмен в воображении ребенка превращается в миллионера из Канады. Мать, которая поет на семейных вечеринках, может предстать оперной певицей. Но с таким случаем, чтобы ребенок в столь жуткой форме воображал гибель родителей, я в своей педагогической практике столкнулся впервые. Рута, конечно, начнет толковать о проблемах, связанных с Эдиповым комплексом или с братьями, в общем, то, что обычно говорится о комплексах среднего ребенка. Все эти дела к моей профессиональной области не относятся.

Я понимал, что надо бы посоветоваться с Рутой, но мне не хотелось. Когда Рута слишком активно вмешивается в классную работу, эти классы берут на заметку. А мой класс пока был на хорошем счету, то есть считался нормальным.

В учительской мне сочувствовали: говорили, что, мол, пройдет время, и Шломек твой станет как все, не будет заметно никакой разницы. Все дети на свой лад адаптируются и приобретают уверенность в себе, освобождаются от фантазий. Не помнишь, сколько Боаз выдумывал? Или Рина? Полгода она рассказывала сказки о своих несуществующих дядьях, покуда не абсорбировалась и не успокоилась? Я слушал и соглашался. Утром выяснилось, что Шломек не смог дождаться открытия склада и, взяв в одной из комнат ножницы, сделал из своих длинных брюк короткие, как положено, шорты. Резал он штанины в темноте, не осмеливаясь зажечь свет.

Признаюсь, что в последующие дни я не слишком много занимался делами Шломека, поскольку у меня была личная проблема, решить которую мне никак не удавалось. Только по одному вопросу он попросил моего вмешательства. Это касалось кровати. Шломек потребовал, чтобы его кровать стояла у двери в ближайшей к выходу из барака комнате. На этом он настаивал и ни за что не уступал.

– Могут подумать, что ты хочешь сбежать, – сказал я ему, но это не подействовало. Он заявил, что в любом другом месте он вообще не уснет. Ему уступили, хотя для этого понадобились дополнительные перестановки. Но я старался идти навстречу Шломеку в чем только мог.

Моя личная проблема была достаточно интимной: предстояло решить, по-разному или одинаково относиться к одиннадцатому и двенадцатому классу. У нас считалось, что девушки в двенадцатом классе старше одиннадца-

тиклассниц во всех отношениях. Даже был такой случай несколько лет назад, что наш учитель спорта стал близким приятелем ученицы из двенадцатого класса, – и ничего. А Мики, то есть Михаль, она все еще в одиннадцатом, и у меня это вызывало немало душевных переживаний и бессонных ночей. Иногда мне казалось, что она улыбается мне и все понимает. Много раз я жалел, что в ее классе преподает Ран Слуцкий, а не я. И вот на той самой неделе, когда появился Шломек, приходит ко мне учитель спорта и просит, чтобы я дал вместо него урок в одиннадцатом. Это был один из дней, которые я не забуду до конца жизни. Проходили Черниховского: "Ты – моя мелодия, ты – мой напев". Признаюсь, я расчувствовался. Это стихотворение всегда возбуждало меня, а в то утро мне казалось, будто я лечу на крыльях. "Что за кровь кипит во мне?" – произнес я, и на сей раз голос не вернулся ко мне безответным эхом. Класс напряженно вслушивался. Это был один из тех моментов, когда полностью владеешь своими учениками и весь мир – твой. "Что за кровь кипит во мне?" Я знал, что у меня красивый голос, но в тот день он был, наверно, еще красивее, будто высшая сила снизошла на меня. Да и волос моих можно было не стесняться в то утро. И я вызвал Мики, то есть Михаль, чтобы и она прочла вслух строфу. Она посмотрела мне прямо в глаза и, словно подхваченная тем же вихрем, что и я, прочла: "Взойди на гору..."

Это было одно из тех мгновений, когда профессия учителя оправдывает себя. Меня охватило ощущение высокой миссии, и оно требовало выхода. Уверен, что если бы тогда пришел призыв из спецорганов, я бы встал во главе класса и повел его на любое задание. Да, такова сила поэзии.

Нелегко было после такого блестящего урока перейти к повседневной жизненной прозе, тем более что прозы в нашей школе всегда хватает. А дело было вот в чем: по традиции каждую пятницу у нас полагалось печь пироги, по одному на барак. И почти каждый раз между директором школы и двумя поварихами возникал спор. Обычно по пятницам, как только наступает полдень – зимой ли, летом, – они тут же бегом несутся по казуариновой аллее, садятся в автобус на Дром-Егуду и едут по домам. А в результате то времени у них в пятницу не хватает, то возникают какие-то проблемы с печью (а она и в самом деле старая и бывает неисправна), – так или иначе, два-три барака всегда остаются без субботнего пирога. Я считал, что эти девушки недостаточно проникнуты духом товарищества и братства, и мне было поручено (все на той же неделе) отчитать их за это. Я попытался было, но без толку. Какой они подняли крик! С тех пор каждый раз по пятницам, когда эти поварихи проносились мимо меня и бежали к автобусной остано-

ке, я с выражением презрения на лице демонстрировал им свое явное недовольство тем, что они уезжают так рано да еще несутся как угорелые, что выглядит совершенно неподобающе в стенах нашего учебного заведения. Думаю, что не понять это выражение моего лица было просто нельзя. Я считаю, что не всегда и не все стоит обговаривать от А до Я.

Итак, я пребывал то в сферах духовных, то в делах материальных, если можно так выразиться. Ведь не хлебом единым жив человек. Да, сознаюсь, не очень думал я о Шломеке в те дни. Как-то раз я увидел его стоящим с горящими глазами в компании нескольких задир из нашего класса и подошел спросить, что случилось.

– Шломек опять брешет! – наскочил на меня Йоав, как встрепанный петух. – Невозможно больше терпеть его враки. Сейчас он рассказывает, будто во время оккупации они две недели почти ничего не ели, разве что немного картошки. Но ведь это вранье! Скажи, Йотам, это же чушь! Разве такое может быть?!

Шломек, весь пылая, стоял поджав губы и не отвечал.

– Шломек, – сказал я, – иди сюда!

Он оторвался от группы и подошел ко мне. Я начал прохаживаться с ним по коридору взад-вперед. Может, ему опять захотелось прижаться ко мне, но я не позволил: следует закаляться и быть мужчиной.

– Шломек, – сказал я мягко, – если ты хочешь быть одним из нас, не нужно дразнить класс.

– Учитель, – сказал Шломек почти плачущим голосом, – поверь мне, клянусь жизнью, что мы ничего не ели, кроме нескольких картошин.

– Йотам, – сказал я ему. – Не учитель, а Йотам.

– Йотам.

– Знаешь, Шломо, – сказал я, – иногда не так уж важно бывает говорить абсолютную правду. Правда у каждого своя. Ведь сейчас ты находишься среди товарищей, и мы все хотим, чтобы ты стал таким же, как они, стал одним из них, чтобы они полюбили тебя. Ты знаешь выражение "Товарищество или смерть"?

– Знаю, – сказал Шломек, утирая глаза. – Но у нас в классе оно имело другой смысл: это слово означало товарищество изучающих Тору.

– Ну, а мы? Кто же мы, как не товарищество учащихся? Ну, вот видишь? – одолел я Шломека.

Он усмехнулся короткой горькой усмешкой. (Рута как-то заметила, что он улыбается, как солдат, зажигающий ночью спичку, – мгновенно прикрывается рукой.)

– Я вижу, – сказал он устало.

Он старался. Я-то знаю, как он старался. Он был в неплохой физической форме, и это тоже повышало его статус. Однажды он даже пришел первым в беге на пятьсот метров и сиял от счастья. Я, по простоте своей, всегда относился к тем, кто верит известной поговорке: "В здоровом теле – здоровый дух". И в своей жизни я повидал много учеников, которым хорошее владение телом помогало разрешать душевные проблемы. Известно, к примеру, что в смешанных школах, где учатся вместе парни и девушки, совместные комнаты и разломанные душевые кабины приносят подросткам немало забот. И каждый человек буквально собственными глазами может убедиться, как утренняя пробежка с хорошей нагрузкой выветривает из наших подростков их психологические затруднения. Поэтому мы всячески приветствуем спорт в нашей школе, и хотя сказано: "Пусть хвалит тебя другой, а не язык твой"*, я все же очень горжусь тем, что нашим ребятам удалось завоевать несколько кубков в окружных соревнованиях. И думаю, позволительно мне заметить, что мои классы никогда не были последними. Честное слово, никогда.

Как-то я спросил у малышки Эдны:

– Ну, что ты скажешь о россказнях Шломека?

– Я не знаю, Йотам, – сказала она. – Какие-то ветхозаветные истории. Это выше нашего понимания.

– Не цепляйтесь к нему из-за этого, – сказал я. – Пройдет время, и он сам избавится от них.

– А мы и не цепляемся, кроме некоторых психованных мальчишек.

Я погладил ее по голове:

– Эти мальчики станут мужчинами. Станут известными людьми. И Шломек выправится и тоже будет героем. Терпение – и все образуется.

У большинства в школе есть прозвища, и к Шломеку тоже прилипла кличка – Кафторек. Почему Кафторек? Тут не обошлось без участия девчонок. Я бы не сказал, чтобы они особенно выделяли Шломека. Он никогда не пользовался в классе такой популярностью, как Боаз или Йоав, но и нельзя сказать, чтобы его недолюбливали. Шломек был одним из тех парней, которые не стесняются повсюду появляться в компании девушек и даже поддерживать вязальную шерсть, натягивая ее руками, чтобы помочь смотать в клубок. Один раз девчонки спросили Шломека – так, для смеха, – как называются

* *Изречение из книги Мишлей ("Притчи царя Соломона").*

по-польски дни недели. И им очень понравилось, как звучит "вторник" ("вторек"). Вы удивитесь, откуда я знаю такие детали. А дело в том, что хороший педагог, как правило, знает о происходящем в классе гораздо больше, чем думают ученики. Ах, вам странно, откуда мне, Йотаму Разу, знать слово по-польски? Да ведь родители мои – тоже из Польши, а меня привезли сюда в пятилетнем возрасте. Кто меня знает, ни за что не догадается. Потому что я выгляжу как самый что ни на есть сабра. Но это так. Гордиться тут, правда, особенно нечем, но и зазорного в этом ничего нет, потому что многие основатели нашего государства из поколения первых пионеров прибыли оттуда. И таким образом, даже я, Йотам Раз, бывший Рузовский, – сабра во всех отношениях и классный руководитель сабров, – все еще смутно помню, что вторек – это вторник. Девочки произносили: вторек, вторек, питорек, кафторек. Так и сделался Шломек – Кафтореком.

Однажды перед окончанием учебного года мы отправились с классом на прогулку в один из наших лесов. Когда мы прибыли на место, Шломек подошел ко мне и спросил, когда же мы придем в лес. Я сказал, что это и есть лес. Шломек посмотрел вокруг и ухмыльнулся такой ухмылкой, которая мне не понравилась. Может, это и небольшой лес и пока еще не очень густой, но это наш лес от "Керен кайемет"*, который первопроходцы высадили собственными руками. Думаю, что Шломеку стоило бы быть более великодушным в своих оценках Земли Израиля.

Но, в общем и целом, терпимость окружающих делала свое дело, и Шломек осваивался. В моей памяти остались две истории, которые произошли до окончания учебного года: одна в пользу Шломека, другая – ему в минус. И я считаю, что мне удалось привести их в надлежащее равновесие. Случилось так, что Шломек выполнял работу дворника, а Боаз нарочно бросал мусор на траву. Какое-то время Шломек продолжал убирать, словно не замечая этого, но в конце концов терпение его лопнуло, и он, дрожа от гнева, обратился к Боазу:

– Кто сорит, тот, будь любезен, пусть сам убирает!

– Еще чего! – сказал Боаз и швырнул наземь обертку от жвачки.

– Соизволь поднять! – сказал Шломек, весь дрожа.

– И не подумаю соизволить, – с издевкой сказал Боаз.

В этот момент Шломек допустил ошибку. Он ошибся по горячности.

– У нас так себя не вели, – сказал он.

---

* *Еврейский национальный фонд, на средства которого осуществлялось озеленение Израиля.*

– Разумеется, в вашем скорбном галуте так себя не вели. Так, может, тебе стоит вернуться на свою печальную чужбину и перестать морочить нам головы?..

Шломек кинулся на него. Их схватка казалась странной, потому что Боаз был в классе неоспоримым королем, и если бы не внезапность нападения, он конечно, вломил бы Шломеку по первое число. Но Боаз был застигнут врасплох и оказался на земле, а Шломек навалился сверху и изо всех сил колошматил его. Несколько девчонок, стоявших поблизости, от неожиданности смущенно захихикали, а потом закричали, подзадоривая:

– Кафторек! Кафторек! Браво, Кафторек! Дай ему! Дай!

Выхода у меня не было. Иногда воспитатель должен отстраниться, чтобы все шло как идет, но иной раз он просто обязан вмешаться. Боаз был вожаком класса, все делалось по его слову. Много классных дел я устроил, опираясь на Боаза, и, кроме того, я был уверен, что на следующий год, когда они дорастут до того, чтобы охранять этот район, Боаза наверняка изберут одним из командиров. Я видел в нем образец мужества, здоровой еврейской гордости – многие из качеств, которые следовало культивировать в нашей воспитательной работе. Словом, я не мог допустить, чтобы его статус лидера был поколеблен, и растащил их.

Боаз поднялся и бросил в сторону Шломека:

– Счастье твое, что Йотам пришел, слабак!

После этого он распустил среди ребят слух, что, мол, Шломек такой трус, что прибегнул к помощи Йотама, а не то бы от него осталось только мокрое место. Каждой из трех девочек, которые были свидетельницами случившегося и подзадоривали Шломека, Боаз отомстил по-своему. Тут я не вмешивался. Принятое мной правило, как я и говорил Шломеку: торжество правды – еще не всегда самое главное. Моей задачей как воспитателя было вырастить здесь новое поколение, поколение достойное, великодушное и беспощадное. Я всегда предпочитал аргументацию в пользу народа, а не в пользу личности. И если бы дело касалось не Шломека, я поступил бы точно так же. Я вовсе не думаю, что ради него нужно было чем-то поступиться, несмотря на то, что он – случай особый. Классный руководитель должен знать, что иногда следует принимать и непопулярные решения.

А вот в другом случае я взял как раз его сторону. Отовсюду на него поступали жалобы, что в любом месте, где ему удается отыскать хоть какую-то свободную поверхность, он на ней пишет, царапает или чиркает. На стенах, на дверях, даже на коре деревьев. При этом пишется всегда одно и то же: 10-39; 2-37; 1-12; 10-8. Я заподозрил, что все эти цифры и знаки – некий секретный код Шломека, но я уважал неприкосновенность его личнос-

ти и никогда не спрашивал, что он там пишет. Порой воспитатель не должен вмешиваться в личные дела взрослеющих молодых людей. Известно, что их поведением управляют соответствующие возрасту гормоны, и бывает, что действие этих гормонов побуждает подростков вести какие-то странные записи. Даже я, когда мне уже исполнилось двадцать шесть лет, однажды заметил за собой, что почти машинально вырезаю на коре казуарины букву "М". Я моментально остановил себя, чтобы не дописывать остальное, потому, что я все-таки не юноша, а учитель и воспитатель. А вот Шломеку с его таинственными знаками я как раз уступил. Это ведь такая понятная человеческая слабость.

Короче говоря, как я и предвидел, с повышением его статуса в классе и уровня адаптации пришел конец всем его выдумкам и фантазиям. Слава Богу, не потребовалось вмешательства Руты, и классный журнал остался без единого пятнышка. И вот настало время долгих летних каникул. У нас было принято, что на это время те из ребят, кто хочет поехать домой, уезжают; те, кто не хочет или не может, – остаются вместе с несколькими воспитателями. У меня самого был отпуск, и я уехал. Шломек, разумеется, остался в школе. Рута, которая тоже осталась там, попыталась в мое отсутствие, за моей спиной, разговорить его. Все это мне, конечно, стало известно после отпуска, и я разозлился.

– Тебе не на что злиться, Йотам, – сказала эта женщина-сухарь. – Твой Шломек ни разу не открыл рта. Он так замкнут, будто носит на сердце могильный камень. Сколько раз я его спрашивала, почему бы нам не поговорить, а он только усмехался этой своей многозначительной усмешкой и однажды сказал:

– Рута, ты не вытащишь из меня ни единого слова.

Я спросила: почему, чего он опасается? Он покачал головой:

– Здесь мне говорить нельзя, и ты, Рута, не собьешь меня с толку.

И после этого – ты просто не поверишь, Йотам, – он стал обходить меня, будто я для него самый опасный человек в школе.

– Что ж, – сказал я Руте, – желание другого следует уважать. Может, это означает, что Шломек здесь заново родился. Ты же сама выразилась: "могильный камень", а я, Рута, – человек, чуткий к словам. Очевидно, Шломек похоронил здесь свое прошлое, и я вижу в этом его развитие в положительную сторону. Тут люди рождаются заново, и ты это знаешь не хуже меня.

Рута посмотрела на меня и, отгрызя остаток ногтя на большом пальце, помолчав, сказала:

– Да нет, Йотам, не доросли мы в нашей школе до того, чтобы быть повитухами.

Сказала и пошла. Не дошло до меня, что она имела в виду, но я эту Руту знаю уже восемь лет и уверен, что иногда она говорит какие-то вещи только для того, чтобы выглядеть оригинальной. Как говорится, оригинальной любой ценой. Создает сложности из всякой ерунды. Я же наоборот, я люблю упростить дело. Ну, никак не могут люди обойтись без излишней психологии.

После каникул Шломек был уже по-настоящему абсорбирован в школе. Однажды, правда, послали его школьные озорники за первыми крокусами на холме. "Вон там, – говорят, – там, смотри хорошенько, он заметный, гляди, Кафторек, есть один красивый", а оказалось, что это просто блестит слизь, покрывающая улитку. Шломек, не зная, что такое крокус, ее и принес. Но ничего, у меня имелось наглядное доказательство его адаптации: он уже, как все сабры, путал мужской и женский род, говорил, как они, "два тысяч", а не "две тысячи" по отношению к любому существительному, и я не хватал его за язык. Пусть себе, лишь бы приспособился, думал я, лишь бы вызывал симпатию. Я же знал, что для моих учеников чистота речи – не самое привлекательное качество. Иногда я и в самом деле бывал слишком уж скрупулезен в языковых вопросах, и, может, следовало бы уступать им. Педагог должен уметь и уступать молодежи. Ведь будущее за ними, а не за нами. На эту тему у меня идет бесконечный спор с учителем истории. Возможно, оттого, что он всегда занят проблемами прошлого, душа его глуха к будущему, в то время как я – воспитатель и вскапываю борозды для грядущего.

И еще я заметил, как Шломек покраснел, когда Бен спросил его, давно ли он репатриировался в Израиль, и он ответил: "Маленьким". Ответил – и не уточнил, как многие из нас, которым не посчастливилось быть рожденными на этой земле. Даже я отвечал так же, хотя мать упрямо рассказывала всем, что я приехал, когда мне было одиннадцать, и это меня ужасно злило. Она – старая женщина и ограничена в понимании того, что для других само собой разумеется.

Тем временем война продолжается, и мы передвигаем наши флажки по большой карте, слушаем по ночам голос Биг-Бена из Лондона, в полночь – позывные "Широка страна моя родная" из Москвы и понимаем, что свободный мир жив, существует, защищается и не рухнет, не встанет на колени перед этим тявкающим врагом, и мы зажигаем свечи на Хануку и зимуем зиму.

Большое горе свалилось на меня после летних каникул, и сейчас все еще сердце болит, как только вспомню. Я уже говорил, что я не из тех, кто все усложняет, и скажу попросту, так, как есть: забеременела Михаль, забеременела моя Михаль от одного из школьных бугаев. Ему пришлось оставить

школу, а за ней приехали родители и забрали ее домой. Мне было так тяжело, что много ночей подряд я кусал подушку от боли. Но не менее горько мне было оттого, что тот самый Ран Слуцкий, ее классный руководитель, то есть человек, который обязан был знать обо всем, понятия не имел, что творится у него под носом... Пусть Бог его простит, Рана Слуцкого, а я не прощаю – ни как человек, ни как педагог. У меня такого просто бы не могло случиться: чтобы что-то серьезное, касающееся кого-либо из моих учеников происходило у меня под носом, а я бы об этом не знал. Как наказан Ран Слуцкий за свою слепоту!

А ведь как раз в те дни в ней появилась какая-то открытость по отношению ко мне, какая-то готовность. Однажды, как раз перед Ханукой, расхаживая по двору в качестве дежурного охранника, я увидел ее, любовь души моей, в одиночестве прогуливающуюся по тропинке, закутанную в короткое толстое пальто, так что голые ноги покраснели от холода. Она была грустна, и я подумал, что печаль ей очень к лицу. Мы поболтали о том о сем, а потом, уже возле ее барака, она сказала мне:

– Хороший ты все-таки парень, Йотам.

Так и сказала моя Михаль. Сказала – и ушла. А у меня голова пошла кругом от этой перемены в наших отношениях, будто она сразу сделалась взрослой. Еще год назад она бы не осмелилась так разговаривать со мной прямо во дворе и не рискнула бы сказать то, что сказала. Ведь она ученица, а я учитель. Повзрослела Михаль, повзрослела, думал я в потемках у себя в комнате. И нечего больше тянуть. Завтра же пойду и предложу ей свою дружбу – дружбу человека взрослого и опытного. А назавтра (то есть сегодня) уже приехали за ней родители, и нет больше моей Михаль в нашей школе. И я, так жестоко лишенный своей возлюбленной, стал дотошно анализировать свои поступки, чтобы докопаться: за что же я так сурово наказан? В конце концов я решил, что это мне наказание за историю с поварихой.

Боюсь, что про поварих я рассказал не всю правду. Стыдно было. У нас две поварихи: одна из России, другая – йеменка из Шаараим, которая много и тяжело работала и была очень бедна. И вот в сезон сбора фруктов я несколько раз поддавался ночью дьявольскому искушению. Михаль, тогда учившаяся еще в десятом, а потом в одиннадцатом классе, была далека от меня, как Божий ангел. Если спросить, любил ли я эту девушку из Шаараим, то, конечно же, ответ будет – нет. Я ненавидел и ее, и себя, как парень ненавидит девушку, которую не любит, и сам не знает, почему он занимается этим с ней. Хотя я человек не религиозный, но и сегодня думаю, что именно из-за этих моих гнусных дел, тянувшихся больше года, была отнята у меня Ми-

халь. Я был нечистоплотен. Гордиться своей активностью или щеголять ею я, конечно, не мог. Нет и нет, тем более что эта девица из Шаараим всегда первая спешила поскорее убежать домой в пятницу, еще быстрее своей напарницы, – стало быть, не было в ней ни капли братства или преданности нашей школе. Короче, все мне было отвратительно, и по сей день я все еще каюсь. Несколько дней я колебался, а потом как нашла на меня блажь, так и поехал я в Иерусалим. В самый разгар зимы, при сильном ветре, без плаща, без носков, в сандалиях на босу ногу – постоять у дома, где жила Михаль с родителями. Так и стоял на улице, не входя в дом: вдруг увижу ее. Но жалюзи были опущены, и я ничего не увидел. А, что там говорить... Как только не позорится человек из-за любви. Не она ли говорила: "Взойди на гору..." и не она ли сказала: "Ты хороший парень, Йотам"? До сих пор я раздумываю над теми ее словами и их значением, и особенно над самой ситуацией. Если и есть мне утешение сегодня, спустя почти тридцать пять лет, то лишь в том, что не притронулся я к своей воспитаннице. Не прикоснулся. И может быть, даже немного горжусь этим. Не только пороки свойственны человеку, но и сила воли у него есть.

Несколько недель я вообще не занимался Шломеком, поскольку необходимости в этом не было. Он уже как положено включился в учебу, по математике и английскому был лучшим в классе и даже помогал другим.

Так и продолжалось, пока не пришла ко мне одна из девочек и не сказала, что спать в одном бараке с Кафтореком (со Шломеком, значит) стало совершенно невозможно, потому что по ночам он не спит, а все время бродит, включает фонарик и что-то пишет. Я спросил ее, как долго это длится, и она сказала, что долго, может быть, уже неделю.

Эта неделя была у нас торжественной. Мы были заблаговременно предупреждены, что должны подготовиться к субботнему вечеру для приема гостя из Еврейского агентства, одного из руководящих лиц ишува, который окажет нам честь своим посещением и разъяснит ситуацию.

На тот момент дело обстояло так: враг значительно продвинулся на всех фронтах и мы пребывали в состоянии сильной тревоги. Немцы были недалеко и от наших границ. Поэтому визиту придавалось особое значение. Говорили, будто наш гость - из людей, причастных к разведке, и, если выпадет удачный момент, он, может быть, расскажет о стратегии и тактике войны, которые простым людям, как мы, неизвестны. Не подумайте только, что я с пренебрежением отношусь к нашей школе. Это очень солидное учреждение, где учится довольно много девочек и мальчиков, родители которых – известные в еврейской общине люди. Но по отношению к большому миру мы все-

таки замкнуты в своей серой педагогической практике. Поэтому можно выразиться, что мы, никому не в обиду будь сказано, простые люди. Целую неделю мы готовились к вечеру. И должен сказать, что даже наши поварихи, это бремя, которое мы взвалили на себя, в те дни сотрудничали с нами: все напекли и наварили за несколько дней вперед, так что из кухни доносились дразнящие запахи. Всю неделю мы жили как жалкие смертные, привыкшие к яичному порошку и вяленой рыбе по норме, и к котлетам из кабачков и шпината, а теперь нас будто осыпала своим богатством щедрая рука. Я сам видел, как на кухню привозят продукты, которые по обычным распределительным карточкам не достанешь, но промолчал. Не ставлю я это в вину нашему директору, человеку очень конструктивному, каких здесь не так уж много. Ну, а слабость в подобных случаях – дело житейское. Короче, мы принюхивались ко всяким запахам, все были в большом возбуждении и ожидали предстоящего события. А Шломек по-прежнему ночами не спал.

В пятницу, когда все ученики были на спортивной площадке, я нарушил свои принципы и рассказал Руте, что Шломек пишет по ночам. Она слегка заколебалась. Это был как раз такой день, когда она ждала прибытия двенадцатичасового автобуса, чтобы съездить в Хайфу по поводу Узи, родители которого (отец – врач, мать – психолог) вот уже пять лет то разводятся, то сходятся, и все это висит на Узи. Она подумала и сказала:

– Вот что, Йотам, пойдем-ка в барак и по крайней мере посмотрим, что это за тайные записи.

За неимением времени я не стал разбираться и продумывать, хорошо ли мы поступаем. Мы быстро вошли в барак и открыли тумбочку Шломека. Там было семь или восемь листов, исписанных ясным убористым почерком.

– Это по-польски? – спросила меня Рута.

– По-польски, – ответил я.

То, что я все еще был в состоянии понимать этот язык и даже читать на нем, поскольку иного выхода у меня не было, испортило мне настроение. Мать упрямо и разговаривает со мной по-польски, и даже письма пишет. И я весь сжимаюсь. Что правда, то правда – не люблю я этот язык.

– Ну так читай же! – нетерпеливо произнесла Рута: автобус должен был прийти с минуты на минуту.

– Я не могу, – не совсем честно сказал я, – я знаю по-польски только нескольких слов.

Рута с досадой взглянула на меня.

– Раз так, друг мой, то сейчас я тебе ничем помочь не могу. Вернемся к этому в воскресенье и продолжим разговор, если твой Шломек не начнет до той поры спать по ночам, как все люди.

Сказала и побежала к казуаринам.

Если бы Рута тогда настояла, я, может быть, уступил бы и прочел. Но она не стала ждать. Никогда она не даст человеку раскаяться в содеянном. По ней, сказанное – сказано. Точка. Нет, я ее не виню. Она – женщина очень занятая, день и ночь хлопочет о тех наших учениках, которые в ней нуждаются. Ну, я и подумал: в самом деле, что уж тут такого срочного? Наверняка дела гормональные. А раз так, то побеседую с Шломеком позже, после ухода нашего гостя. Я далеко не самый старый в нашем заведении и кое-что понимаю в этих делах. И ведь почти не бывает, чтобы девушка или парень не вели бы в этом возрасте дневник. Хочет Шломек писать по-польски – пусть пишет. Только не по ночам. Его товарищи после дня учебы и труда заслуживают полноценного отдыха. Вот это я и постараюсь внушить ему.

Но я не успел. И случилось то, что случилось.

К вечеру прибыл наш гость, будто явился с небес. Мало того, что его сопровождали директор и замдиректора, но и вся атмосфера вокруг него вибрировала. Я заметил, что вокруг действительно значительных личностей воздух будто трепещет; возможно, есть тут какой-то магнетический эффект, но я, собственно, не отношусь к лицам, занимающимся точными науками, чтобы разбираться в этом.

В столовой, кроме нескольких свечей, зажгли керосиновую лампу. Непривычное освещение, кушанья, даже запах которых нам не снился, – все это вскружило нам головы. Мы были очень празднично настроены. Директор поприветствовал гостя, а потом прочел и прокомментировал библейский стих: "После еды и питья...", что означало, что после трапезы и выпивки пришло время для слов Писания. И наш гость засмеялся и сказал, что на этот раз он собирается больше говорить не столько о писателях, сколько о воинах*. И все мы подскочили, как на пружинах.

Что отличает великого человека от простолюдина? Когда великий человек говорит, он создает словами новую реальность, и не может случиться так, чтобы его слова не дошли или не имели отклика. Встал наш гость и сделал нам доклад о военной ситуации, и из его речи выстроились перед нашими глазами целые миры. Мы увидели гитлеровских вояк, разрушающих Россию, уже приближающихся к вратам Ленинграда и Москвы. Мы увидели, как русские храбрецы сражаются на руинах своих разрушенных домов. Мы взлетали вместе с британскими королевскими авиаторами в "спитфайерах" для выполнения боевых операций. Мы почти ощущали запах моря у далеких островов в Тихом океане, где в руки японцев переходил остров за

* *"Писатель и воин" – арамейская идиома, закрепившаяся в иврите.*

островом. Но сильнее всего слышался в его словах рев танков Роммеля, все ближе и ближе подступающих к нам. Они были уже совсем близко.

Однако не только о бедах говорил наш гость. Он нашел также слова утешения и надежды. Не утаил от нас, что положение действительно очень и очень тяжелое. Но богатство Америки, но мужество русского народа, сказал он нам. И снег. Вспомните Наполеона. Нечто подобное случится и с армиями Гитлера. Танки не могут преодолеть болота и снег, так он сказал. И мы, ободренные, перешептывались, повторяя друг другу его слова: вот, человек, который хорошо разбирается, он говорит, что танки не пройдут по снегам и болотам, значит, есть надежда на русских. А на Средиземном море – три грандиозных оплота, которые не пали и не падут: Гибралтар, Мальта и Александрия. Что же касается генерала Окинлега в Аравийской пустыне, то что нам генерал Окинлег, сказал наш гость, когда уже известно, что англичане осознали свою ошибку с его назначением и есть основания считать, что еще немного – и ему найдут лучшую замену. И вот уже голос гостя звучит в полную силу: "Знайте же, друзья, что не будет топтать нашу землю вражеский сапог!"

Он сказал и сел, а зал ему аплодировал. Директор взволнованно благодарил снова и снова, предложил гостю соку и спросил почти шутливо: может быть у кого-то все еще остались вопросы? Конечно, после лекции такой сокрушительной силы на наше малое поселение по-настоящему повеяло духом большого мира, и вряд ли кто осмелится задавать вопросы, чтобы не возмутить и не испортить эту праздничную атмосферу.

Но тут, держа в руках свою тетрадку, написанную по-польски, встал Шломек.

Директор недовольно посмотрел на него и сказал:

– Если ты уверен, что у тебя действительно стоящие вопросы... что же, спроси, сынок.

– Кафторек, сядь уже! – цыкнул на него кто-то.

Поглядел я на Шломека и подумал, насколько он возмужал с тех пор, как прибыл к нам, какая большая работа была проделана нами, сколько сил в него вложено и как прекрасны полученные плоды. И еще я увидел, что Шломек действительно не спал несколько ночей. Или это была игра света на его лице из-за необычного освещения столовой свечами и керосиновой лампой?

– Адони, господин мой... – начал Шломек, но гость перебил его и сказал:

– Товарищ Бенио. Прошу тебя, мы все здесь товарищи.

– Товарищ Бенио, – сказал Шломек, – есть сведения, что немцы приняли окончательное решение по еврейскому вопросу: уничтожить всех евреев

Европы, находящихся под их властью. Я хочу спросить вас: известно ли это в органах и если да, то что предполагается предпринять в связи с этим?

С недоумением и изумлением смотрел гость на Шломека. За полтора года Шломек почти утратил свое польское произношение и иврит, приобретенный в "Тарбуте", так что казалось, что говорит настоящий сабра.

– Во время войны, ты знаешь...

– Я не говорю о войне, – прервал его Шломек, и мы все поразились, как он посмел перебить гостя. – Я имею в виду обыкновенное убийство.

Наш гость покачал головой и сказал:

– Ну, и откуда у такого симпатяги, как ты, такие достоверные сведения?

– Кафторек! - послышался чей-то голос, кажется, Боаза. – Наложил? Теперь сядь и спусти воду.

– Товарищ Бенио, – сказал Шломек, стоя очень прямо. – Я прибыл сюда больше года назад. Но перед моим отъездом немцы расстреляли и повесили большинство мужчин в нашем местечке, а в соседнем селе сожгли в синагоге все еврейские семьи. Вот здесь, в списке, все свидетельства, которые я помню: даты, имена, все.

– Кафторек, ты пришел слушать или выступать? – обратилась к нему одна из девочек.

– Ну и ну! – произнес гость с изумлением. – Каким же чудом тебе удалось выбраться оттуда? Как ты добирался? Выглядишь-то ты совершенно как сабра, сабра во всех отношениях.

Шломек сделал нетерпеливый жест рукой. Он стоял выпрямившись и дрожал как осиновый лист. Было понятно, что его уже никто не сможет усадить. Директор попытался что-то сказать, но наш гость движением руки успокоил его.

– Товарищ, как тебя зовут? Шломо? Товарищ Шломо, ты задал достойный вопрос, и я намерен ответить на него. Итак, товарищ Шломо, знай, что и до нас доходит информация, подобная той, о которой ты сейчас здесь рассказал. Может быть, не в столь крайней и категоричной форме, но тем не менее было несколько сообщений. И знайте, друзья, что у нас нет недостатка в информации даже из того мира, который скрыт, как за ночной завесой, потому что есть отважные люди, рискующие жизнью и передающие нам сведения из самой тьмы. Я не стану говорить вам, кто они, откуда и как это делается.

По залу прокатился взволнованный шепот.

– И я хочу сказать вам, товарищи, кое-что важное. С полной ответственностью мы взвешиваем и анализируем по существу все полученные сооб-

щения. Ваш товарищ Шломо не единственный, кто высказал нам свои сомнения. Ни один человек не посмеет сказать, что мы пренебрегаем хоть какой-нибудь информацией, пришедшей оттуда. Не дай Бог! Но я говорю вам, товарищи, что если и будут появляться такие страшные сообщения, пусть даже часть из них – правда (лично я считаю, что они сильно преувеличены и что речь идет, самое большее, о случаях жестокости, которые прекратятся, когда оккупация как бы устоится), – но и тогда, говорю вам, товарищи, мы ничего не сможем сделать.

– Почему? – спросил чей-то голос, и это был не Шломек.

– Говорил же я, что Шломек преувеличивает! – прошептал Эли.

И снова повторил первый голос:

– Почему?

– Почему? Хороший вопрос. Это глобальный вопрос, и я отвечу на него. Почему мы не можем ничего сделать? Да потому, что главная наша задача, наша священная обязанность – спасти тех уцелевших от гибели, что собрались здесь. Потому что нет у нас большего долга, чем долг перед делом наших великих зачинателей, ибо только здесь, на этой земле, надежда на спасение Израиля и всего еврейского народа.

Директор зааплодировал первым, за ним весь зал. Я тоже был растроган. Я понимал, что столь значительные слова, которые мы услышали, были такими суровыми, что осмелиться произнести их мог только человек с особой силой духа, которая была в нем. Таково различие между великими вождями и нами, обыкновенными людьми. Слова четкие, жесткие, пронзительные как пророчество. Я вышел во двор вместе со всеми, кто сопровождал нашего гостя в комнату директора, которую тот освободил для него на ночь. И мы еще долго стояли, собравшись возле его двери, в надежде услышать еще какую-нибудь секретную информацию. Ведь не каждый день выдается такая возможность.

Был уже час ночи, когда я вернулся в свою комнату и увидел несущуюся мне навстречу Эдну, ту самую маленькую добросердечную девочку, которая была первой соседкой Шломека по классу.

– Йотам, послушай, Йотам! Кафторек исчез!

– Исчез? – опешил я.

Как это исчез? И куда мог исчезнуть парень из нашей школы, один, без оружия, вблизи от деревни погромщиков? Да никуда он не исчез, а спрятался, наверно, из-за своих переживаний. Ведь все видели, как он был взбудоражен, пока выступал наш гость, даже опять вернулся к своим преувеличениям, которых мы, слава Богу, давно уже от него не слыхали. Конечно, он был возбужден. Наверняка найдется в каком-нибудь укромном месте.

Но Шломек и в самом деле исчез.

– Шломек, Шломек! – всю ночь звали его ребята во дворе, на улице, в саду, в коровнике, на шоссе. – Кафторек, кончай, возвращайся! Мы ждем тебя.

Директор позвонил в сторожевую охрану, и они приехали в тендере, разбились на группы и стали искать его. Была лунная, очень холодная ночь, первые огромные горные цветы возвышались на холмах, как привидения. Боаз, который уже был призывником, достал из тайника ружье, засунул его под куртку и вместе с Йорамом и Узи до утра ходил по тропам, ущельям, рощам. Они нашли следы шакала, яйца, оставленные лесной куропаткой, трубы, украденные с плантации цитрусовых, – но Шломека нигде не было.

В среду в школу пришло несколько сообщений сразу. Как Шломек без плаща, в сандалиях и шортах добрался один до Иерусалима, я не представляю; как он ускользнул от арабов – мне тоже непонятно. Однако он проник в Иерусалим, справился о местонахождении дворца английского генерал-губернатора, и, несмотря на бдительность множества охранников, ему удалось проникнуть сквозь первое ограждение. Только во внутреннем дворе его схватили. Он сказал, что должен передать генерал-губернатору свидетельские показания, это очень срочно. Видимо, написанные по-польски строки вызвали у англичан подозрение. Выяснилось, что его допрашивали несколько дней и ночей и отнюдь не слишком деликатно. В конце концов, не знаю каким образом, скорее всего, англичане сносились друг с другом по телефону, Шломек оказался в доме одного могущественного господина из отдела репатриации молодежи. Тот забрал его, выслушал, позвонил нам и сказал как отрезал, что Шломек больше не вернется в нашу школу.

Может быть, Шломек и хотел вернуться, не знаю. Знаю лишь, что не очень-то я люблю этих могущественных особ, которые восседают себе на своих высоких постах в Иерусалиме и понятия не имеют, сколько труда вкладывается здесь, на местах. Признаюсь, что когда в кабинете директора мне сказали, что Шломек к нам не вернется, я страшно расстроился из-за его неблагодарности по отношению ко мне. Ко мне и ко всем нам. Уверен, что если бы Шломек вернулся хотя бы на день, мы бы поговорили по-дружески и сразу бы устранили все недоразумения, возникшие между нами. Если его разозлило прозвище Кафторек, то я уверен, что класс отказался бы от него. Да вот, даже Боаз, казалось бы, его заклятый враг, не он ли вышел ночью с группой на поиски Шломека? И это ли не дружеский поступок?

Тем временем вернулась Рута. Приехала еще в воскресенье и трезвонила без отдыха, не отходя от телефона до тех пор, пока не нашла Шломека в

Иерусалиме. Все эти дни она была как в трауре. Я считал, что она сильно преувеличивает. Мне она не давала покоя: что именно говорил Шломек да как он выглядел, что происходило в тот вечер с нашим визитером? Будто я мог припомнить каждый его шаг. По-моему, это уже слишком – требовать такого от воспитателя. Потом мы вместе с Рутой пошли в комнату Шломека и перебрали все его вещи. Он ни к чему не притронулся, только свою польскую писанину взял в Иерусалим.

Рута уселась на кровати Шломека, словно плакальщица. Я уже не мог больше выносить ее "ой-ой-ой!" и стал искать способ как-то умерить жуткие вздохи, которые из уст этого сухаря звучали еще более скорбно. Наконец я сказал:

– Рута, а ты ознакомилась с тайным кодом Шломека, который написан на всех его вещах? Вот: на кровати, на стене. Ты понимаешь, что это означает?

– Что уж тут понимать? – запричитала Рута. – Отец его, Ицхак, убит в тридцать девять лет; мать, Белга, убита тридцати семи лет от роду. Его брату Элияху было двенадцать, а брату Йосефу – восемь лет.

Затем она добавила:

– "И остался я один, и пожелали моей смерти".*

– Рута, – сказал я, – ты преувеличиваешь. Кто это хочет убить Шломека? В самом деле, перестань, прошу тебя.

Я был настолько раздражен, что вышел из барака. Прошел мимо Рана Слуцкого, с которым после случая с моею Михалью и словом не обмолвился. Это человек, который не видит и не понимает, что творится у него под носом. И вообще, мне хотелось остаться одному. Во всей этой истории со Шломеком был какой-то привкус поражения, и, признаюсь, я не мог сформулировать, в чем оно состоит.

Преувеличивала ли тогда Рута и тот могущественный господин в Иерусалиме, который мог отдавать приказы нашему директору и всем нам, выяснилось спустя примерно полгода. Начали поступать сообщения, на этот раз абсолютно достоверные, о поведении немцев в Европе. Все, что говорил Шломек, оказалось правдой. Но раз так, то почему ему было не потерпеть, пока его слова подтвердятся? Почему он не мог спокойно дождаться других свидетельств в свою пользу? Каждый человек нуждается в том, чтобы его поддерживали другие люди, и только заносчивость и зазнайство Шломека привели его к тому, что он исключил себя из общества.

И почему это он сбежал от нас так, будто совесть у него нечиста? Собрался и сбежал, оставив после себя разного рода обвинения, которые мы не

* *Цитата из Псалмов.*

можем принять на свой счет ни при каких обстоятельствах. Потому что разве мог кто-нибудь из нас знать, когда Шломек появился, что события происходили именно так, а не иначе. Пророки, что ли, среди нас были? Или мы должны были быть умнее, чем компетентные государственные органы?.. Не обращай внимания, что я злюсь. Каждый раз, как вспомню эту историю со Шломеком, я всегда очень злюсь, даже теперь, когда прошли годы. Каким неблагодарным оказался этот парень, скажу я тебе, страшно неблагодарным. А ведь, смотри, в том же году одна из видных газет опубликовала его свидетельские показания. Две с половиной колонки. Хранится у меня в ящике. Конечно, я храню, я все сохраняю: альбомы, фотографии. Боаз в форме – старший офицер, разумеется, старший. Письмо в школу от Эли в дни боевой готовности армии. Позже, во время Шестидневной войны, его убили. Открытка от Рины из Норвегии. Да-да, здесь я с классом выпускников, видишь, какой чуб? Видишь?.. Ну вот, и свидетельские показания Шломека у меня тоже хранятся, в конце концов, я же был его классным руководителем – человеком, который укоренил его в Израиле. И, хотя он и не писал мне лично, так что же, стану я из-за этого обижаться? Нет, я храню его свидетельство. Две с половиной колонки в очень представительной газете. Но я сержусь на него. Надо же понимать, когда и как следует говорить правду. Подождал бы всего несколько месяцев – все равно опубликовался бы, да еще и школе принес бы почет вместо своего безответственного поступка. Один, ночью – в Иерусалим...

Да все проще простого: недоставало ему такого качества, как терпение.

Перевела с иврита Люба Лурье

“ПЕЧАЛЬТЕСЬ О СВОЕМ...”

Рина Левинзон

Печальтесь о своем,
о будничном,
о птичьем,
о зернах в закромах,
о жарком очаге.
Все чудеса чудес сбываются в обычном,
все расписал Господь на радуге-дуге.

Заботьтесь о своем –
о городе, о мире.
Пусть чистое окно горит голубизной.
И солнечный ковер пусть стелется все шире,
волнуйтесь о своем – о музыке земной.

Прошли бы стороной и войны, и разрухи!
Молитесь о дождях в разгар сухой зимы,
молитесь о своем –
о космосе, о Духе,
о праведных словах,
о свете в море тьмы.

* * *

И тянется вверх, и становится шире
счастливое золото раннего дня,

и все в этот час проясняется в мире,
от боли и страха спасая меня.

И вдруг поднимается в небо высоко
и все заполняет – вблизи и вдали –
сиянье с востока, с востока, с востока,
над воздухом сонным, над сутью земли.

* * *

Памяти Осипа Мандельштама

Затянувшийся, бесконечный
Этот голод. Сверчок запечный
И заплечный мешок на двоих.
И поэт, как большой воронёнок,
От безумия жизни тонок,
И от близости смерти тих.
И на этой голодной глади
В вороненом страшном году
Все воронежские тетради
Он писал на белейшем льду.
И пока высыхал позвоночник
И легко возникал сюжет,
Надвигался воронежской ночи
Неподвижный, последний свет.
И, мытарством своим отравлен
И покинут своей судьбой,
Только музою не оставлен,
Только белочкой голубой.

ГОРОДОК С ПОЛОТЕН ШАГАЛА

Этот городок с полотен Шагала,
весь –
        с его скрипачами
и летающими красавицами,
с женихами и невестами,

с его раввинами и ремесленниками,
с детьми и стариками –
весь этот городок попал в газовую камеру
и вышел оттуда
колечками дыма.
И скрипки больше не играют,
и некому читать свитки Торы,
и влюбленные никогда
не вернутся на землю.

ИЗ УРИ-ЦВИ ГРИНБЕРГА

Евреи, любите евреев,
очень любите друг друга.
В огромном мире
семьдесят народов разных.
Вернись, десница наша,
плутающая уже поколения,
И в ней светоч мира
народам другим.
Время настало собрать воедино
искры, рассеянные по свету,
посланные нами, как радиоволны
из доброго сердца, из пролитой крови
еврейской – каждому гою.
А гою – не надо!
Гой замыкает двери.
А встречаясь с нами,
несущими свет и залитыми кровью,
он разбивает светоч,
что в наших руках
и отрубает светоносную руку,
и ломает, и пляшет
на наших обломках,
и, шатаясь, бредет домой,
словно из кабака.
Но скажем себе –
да будет свет

в скромном жилище нашем.
И колесо фортуны
всех времен и народов
остановится
на нашем народе.
Евреи, любите евреев!
Пусть гои нас ненавидят,
хоть нету у нас меча.
Вместе прочтем молитву о братстве
своем великом,
святом и скрепленном кровью,
текущей к ногам убийц,
О братстве, которое чище
прозрачных слез сироты.
Гои зажгли перед нами море огня,
но мы выбираем жизнь
и возрождение царства.
Встанем плечом к плечу!
Лишь бы ничто на свете
нас не разделяло, евреи!
Мы ждем прихода Мессии.

Перевод с иврита

КАДИШ ПО ГЕЙНЕ*

Вильям Баткин

Летом прошлого года – знойным, хамсинным дома, в Израиле, и назойливо-дождливым в Европе – посетил я Германию... В стране, отстраненно-чужой, не трогала роскошь ландшафта, – ни банов баварских базальт, ни готика стрельчатых сводов, – в неблизких заморских краях я был, как залетная птица, но кровной родне, но давнишним друзьям, увы, сподобилось там поселиться, в том благостном стане.

Мы с женой прилетели к полночи, а на рассвете – гостеприимный дом друзей еще спал, – я, словно по побудке, привычно вскочил, заглотал натощак добрую дозу никотина, с балконной решетчатой площадки всматривался в окрестные подробности, вытаивающие из плотной туманности... Не писалось...

Неизведанная прежде апатия, словно сырость, прохватывала до мозга костей, и я безучастно и бесшумно бродил по комфортабельной квартире, к слову, обустроенной и оплаченной немецким социалом...

Разглядывая обихоженный интерьер, удостоверился: мой давний друг – от промелькнувшей молодости до навалившейся старости, клин седой бороды в испарине, сигарета мается во рту, – человек предусмотрительный и практичный: в эмиграционном автобусе, сквозь таможенные турникеты он приволок накопленные коллекции – и стенной живописи, и домашней библиотеки – до боли знакомые мне по прежней харьковской жизни. Добротная умная проза, высокая чуткая поэзия – всечасно были нашими спутниками, верными, испытанными, и хотя спорили до хрипоты, каждый отыскивал свое, но все – общее, сплачивающее, обнадеживающее.

---

* *Журнальный вариант*

С истаявшей грустью отметил – неужели эти сотни книг, затесавшихся в вынужденное переселение, – и есть все богатство, прикопленное за полвека кропотливого бытия, единственная памятка о бывшей Родине, похоже, по сей день не обнаружившей печали по нашему исчезновению? Впрочем, я не прихватил и такой сувенирный набор: так сложилось, налегке отправился я в Израиль, в баульной поклаже вповалку мытарились лишь истрепанные словари да вымаранные черновики, заждавшиеся срока.

В то первое германское утро, охмелев от фолиантного изобилья, я ненасытно заглатывал позабытые корешки книг – в этажерочном жилище, изысканном, иноземном, им вольготно и уютно.

Внезапно, словно по наитию, рука наткнулась (или сама отыскала?) на темно-лиловый объемистый двухтомник: ГЕНРИХ ГЕЙНЕ, постперестроечное московское издание.

– Здравствуйте, Генрих Гейне! – не услышал я свой голос и вздрогнул от учащенных ударов сердца – отчаянными толчками, дрожью, трепетом откликнулось оно на радость встречи, на подарок судьбы.

Генрих Гейне! – в отрочестве я сотворил себе кумира, зачитывался в подлиннике, в любовной лирике "Книги песен" – в чистой печали его юношеской безответной любви моя восприимчивая душа находила свои страдания... С годами невостребованный мной язык Поэта неизбежно пожух, утратился, испарился, словно влага в долгом бездождье, изредка я возвращался к поэзии Гейне, но уже в русских переводах Лермонтова, Блока, Левика, а прозу отчего-то откладывал до лучших времен. Недавно, увлекшись, перевел несколько сонетов Гейне, но уже от словарей не отрываясь.

И вот – полвека спустя, случайная или нечаянная встреча с великим Поэтом, и где – на его родине, в Дюссельдорфе, но мы верим или догадываемся – ничего не совершается беспричинно, а лишь по воле Свыше... Так и порешим.

Далеко не каждому из великих дано – судьба смолоду по справедливости одарила Генриха Гейне признанием и щедрой восторженной любовью современников, но это был венец терновый, увитый колющими лаврами, – вдогон или опережая доброе слово друзей и почитателей, неизменно, словно черная тень, наваливались яростные нападки критики и цензуры. И так – всю жизнь, от первых берлинских публикаций 1822 года до последнего вздоха в его "матрацной могиле" – на парижском рассвете 17 февраля 1856 года. Да и поныне...

Ужели и этого мало? Трагические подробности, словно натравленная стая, настигали и терзали личную жизнь Поэта: безответная любовь к двоюрод-

ной сестре – Амалии Гейне, вынужденное принятие лютеранства, ранняя смерть разорившегося отца Самсона Гейне, нескончаемое катастрофическое безденежье, кабальный договор с издателем, измены друзей, политическое изгнание из Германии и эмиграция во Францию, страстное увлечение идеалами свободы и революции и разочарование в них, стремительное невозвратное ухудшение здоровья – любому другому впору отчаяться, разувериться, превратиться в незадачливого бедолагу и нытика, спиться, бросить писать...

Но на каждое потрясение, на очередной удар судьбы, – грех говорить, но не им ли мы обязаны наследству, оставленному гением?! – Гейне откликается новыми всплесками вдохновения, напряженного творчества – свежими яркими образами, глубиной осмысления прожитого и пророческими предвосхищениями.

Читатель, как и я, обо всем проговоренном был наслышан и прежде... Но в Дюссельдорфе, на родине поэта, впрочем, и в прозе он "великий техник", по-иному перечел я Гейне, или, точнее, *перечитывая* Гейне, его публицистику, дневники, письма, мемуары, по мастерству и пламенности равные поэтическим образцам, на другой лад услышал я трагедию Гейне – извечную трагедию еврея, оторванного в галуте от корней своего народа или разлученного с ним. Нашу трагедию...

Попытался я понять его – Гейне, словно предугадывая злобные посмертные кривотолки, посчитал необходимым загодя объясниться, исповедаться или покаяться... Кому как на слуху...

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ-АЛЛЕЯ

Он не любил свое дюссельдорфское детство: всечасные насмешки и оскорбления злых немецких сверстников, невинное имя Гарри, ставшее несмываемой, как смола, кличкой, строгие нравы состоятельной и религиозной родни, если не сформировали дерзкого и своенравного поэта, то оставили след – глубокий, ощутимый, незабываемый...

Но в конце 20-х годов XIX столетия, когда слава вольного романтика и едко-агрессивного публициста уже принесла ему и признание, и обожание почитателей, Гейне изредка наведывается в Дюссельдорф, в то время резиденцию небольшого нижнерейнского герцогства – городок аккуратненький, культурный, толерантный в вопросах религии, провинциальный, едва за полста тысяч обитателей...

Так совпало – не любопытства ради к стране отстраненно-чужой, лишь из желания за один прилет посетить родных и друзей, разбросанных ныне,

словно перекати-поле, по городам германским, повторил я излюбленный гейневский маршрут: Гамбург – Дюссельдорф... За пять часов, с несколькими пересадками – Бремен, Оснабрюк, Мюнстер, в скоростных пригородных электричках... Отчего-то представил – а Гейне на перекладных, более суток, по раскисшему грунтовому бездорожью... Устыдился своего просвещенного века и волей воображения, откуда только прыть взялась, на ходу пересаживаюсь из говорливой толпы немецких транзитных попутчиков в просторную почтовую карету, и рядом с Гейне, забившись в уголок кожаного сидения, трясусь по ухабам его времени...

Едва ли изменились пейзажи надвигающиеся: и усадьбы ухоженные со стрельчатыми красно-черепичными крышами, и пожелтевшее жнивье с рулонами спрессованной соломы, и островерхие кирхи...

Осмыслить трудно, но порываюсь: рядом с Гейне – молодым, розовощеким, безбородым, взвихренные, словно языки пламени, коричнево-золотистые кудри силком утихомиривает пятерней, элегантная светло-бежевая тройка, под распахнутым кремовым воротом – свободно повязан шелковистый бело-голубой шарф... Отчетливо слышу – сквозь сжатые крупные губы вырываются серебристые мажорные мелодии, внезапно чередуемые разрывами рифм... Пытаюсь догадаться – перебирает в памяти давние или новые наговаривает?

Любовь, мучение любви,
в той песне смех и слезы,
и радость печальна, и скорбь светла,
проснулись забытые грезы...

В русских усеченных переводах они не столь неутешны, но в устах поэта отчаянье отвергнутой любви, эта повторяющаяся чистая мелодия, как молитва, наполняет мои глаза влагой... Да и Поэту не до веселья...

– Генрих, подъезжаем! – внезапно оповещает утомленный возница, и Гейне преображается, распахивает окошко кареты, громко смеется, подпрыгивает на сидении, кому-то машет рукой... Ватага молодежи бережно поднимает его, несет на плечах, прямиком до ближайших ресторанных столиков, оглашает тихие городские улочки восторженными криками, скандирует его стихи, распевает его песни...

Пел я песенку когда-то,
спета песенка моя.

Ах, когда разбито сердце –
песни кончены, друзья!

– Генрих, Генрих, не спета песенка твоя! – врываются звонкие девичьи голоса, словно с хоров, уже с балконных этажных площадок...

Дюссельдорф гордится своим поэтом, напрочь забыв то имечко – Гарри...

Поспешим и мы вослед за молодым тридцатилетним Гейне – возбужденный, ликующий, вечно под шофе, в сопровождении друзей и подружек он бродит по кварталам родного города, лишь в его просветленном пространстве выбросив из головы навалившиеся смолоду горести... Но из сердца не выбросишь!

Однажды, в субботу, вынырнув из плотной толпы земляков, Гейне зашел в синагогу – бочком, виновато, робко протиснулся среди молящихся к дальним затемненным скамьям... Его узнали, поднялся гомон, но не надолго – утренняя молитва продолжилась, затем по развернутому свитку читали Тору – Поэт выстоял до конца, молча и неподвижно. Вышел, спотыкаясь на ходу... В одном из писем другу, полных самобичевания, он напишет: "В прошлую субботу я был в синагоге и имел удовольствие своими ушами слушать, как д-р Саломон метал громы против крещеных евреев, как они, из-за одной надежды получить должность, впадают в соблазн изменить вере отцов..." Увы, и его угораздило в ряды отступников, но никаких практических выгод он не получил... Мы еще вернемся к этой тревожной и мучительной теме...

Заносило его и на улицу Болькерштрассе, в трехэтажный кирпичный дом, с выгоревшим номером 53 на фасаде – здесь он родился, и в нем прошли первые годы жизни.

– О, Генрих, входите, пожалуйста! – распахнула двери новая молодая домовладелица и почтительно присела. – Вы всегда желанный гость под нашей крышей...

– Катарина, ты хорошеешь буквально на глазах, – возрадовался Генрих, неравнодушный к женским чарам. – Через сто лет здесь будет Музей Великого Поэта, и твоя родня непременно разбогатеет...

– Я готова рассчитаться незамедлительно, авансом! – отшутилась юная немка, и густой румянец, вспыхнув, едва не поджег ее пышные льняные локоны.

Не сбылась мечта Поэта: через сто лет, в апреле 1945-го, шальная фугаска с пикирующего на Дюссельдорф английского бомбардировщика угодила в его родной дом, и мы с другом в августе прошлого года долго искали новую обитель музея поэта... Чутье подсказывало – должен быть...

Отдадим должное – современный восьмисоттысячный Дюссельдорф не предал забвению своего великого земляка: один из центральных проспектов, прямой, широкий, с архитектурными высотными комплексами из бетона, стекла, металла, с зеркальными витринами магазинов и ресторанов, – наименован: *Генрих Гейне-Аллея*... Ни убавить, ни прибавить – достойно, величественно, монументально, но в устах горожан восхитившее меня словосочетание звучит обыденно, отлучено от имени поэта, впрочем, могу и ошибиться... (Помните: "Площадь Пушкинская, Маяковская – следующая, поймешь, как город к нему привык..")

А с поисками музея поэта вышла у нас заминка: опрашиваемые прохожие не желали понимать мой немецкий, густо приправленный идишем, да и в Германии звучит *Гайне*, а мы спрашивали Гейне... Откликнулся светло-русый ражий юноша – с неистребимо-московским выговором, терпеливо и в подробностях он пояснил, где эта улица Билькерштрассе, и дом 12-14. Оказалось – рядом, мы блуждали вокруг да около.

У музея поэта ныне иной, высокий статус: *Генрих Гейне-Институт*, где в строгом почтительном затишье освещенных залов, замечу не в упрек, безлюдных, заботливо и с любовью собраны практически все сбереженные материалы о поэте: большинство в экспонатах достоверных, прижизненных, в застекленных витринах и стендах, руки исподволь тянутся прикоснуться, но многое – в запасниках или хранилищах, в святая святых – в научно-исследовательских отделах, куда нам не дали ступить, хотя и уважительно восприняли наш русский... Отыскался для нас и проспект – сопроводительная брошюра на русском.

Осознаю – о музее поэта обязателен отдельный разговор, уже в иных контекстах. Но вспомнил о другом: там, в Дюссельдорфе, старый рыхлый немец, в галстучке цветистом и в подтяжках, услышав русский говор наш, внезапно, торопливо, заикаясь, подыскивая нужные слова – он в сорок третьем двадцатитрехлетним в плену был в Соль-Илецке, припомнил вдруг: его мама, учительница литературы, однажды ночью разворотив печной глазурный кафель, в глубокой нише замуровала три тома Генриха Гейне. Лиза-Метта Годфридовна – так звали его маму. А наутро ее ученики – русоволосы, долговязы, краснощеки, приплясывая лихо, гогоча, неистово и зло швыряли в длиннопламенный костер старинные издания Поэта, – ведь он был юде! – уточнил старик. Великий их поэт был и Великим Юде.

– Затем они швыряли нас в освенцимские печи, – добавил я.

НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ГИПОТЕЗ

Уже по приезде домой, в Израиль, в одной из иерусалимских библиотек, в запустении ее запасников, следовательно, не востребованных, обнаружил я и с жадностью перечел русское издание, достойное и давности столетней, а в нем несколько строчек Гейне в оригинале:

Keinen Kadish wird man Zagen...
An meinen Sterbetagen...

Боюсь утверждать, едва ли в советских публикациях присутствующее:

Не скажут кадиш надо мной,
Когда уйду я в мир иной...

Осознаю – моему посильному переводу не вместить, не передать печаль или тоску неизбывную, пронизывавшую сердце поэта задолго до смерти. Но в утвердительной убежденности: "не скажут..." услышал я, словно тяжелый вздох исповедальный, тайную веру или мольбу к нам, евреям, но будущих времен: "Скажите..."

Не боль гиперболы поэта, не циркуляр прицельный публициста, не крик, не вопль разворошенный, – лишь сокровенное, векам веленье, лишь шепоток отчаянья: "Скажите..."

Так молнии внезапный всплеск во тьме лесной тропинку обнаружит или мосток оструганный над прорубным провалом, – так я прошел, доверчиво и чутко, дорогой горестной поэта к своему народу, едва заслышав не барабанный бой – мембранный, бранный, а хриплый вздох: "Не скажут кадиш..."

За рамками своих свивальных текстов я своевольно оставляю в напластовании пространном развалы книг – стократ наслышанные щедрые шедевры, доступные в разноязычных толкованьях и в оригинале.

И сегодня, уже не впечатлительным юнцом, а у порога старости стервозной, вновь перечитывая Гейне, я вижу рядом, хорошо и различимо, словно лицом к лицу, мне дорогого человека, – как зверь, затравленного, вечно под шофе, отвергнутого женщиной любимой, болезнями истерзанного люто, – и разрывается моя душа, и мое сердце выворачивается болью, и я понимаю его беспомощность, точнее, обреченность пред судьбой – несовместимость Гейне (да и нашу!) с гойским миром и невозможность что-то изменить.

Но так устроена вселенная – по истине, по справедливости: душа *каждого* еврея, любого, со всем еврейским народом связана, – нет, не тросовым

морским узлом, а словно пуповиной неразрывной, святой... Так Гейне понимал. Но не всегда мы святость соблюдаем.

Да простят мне мою дерзость. Каждая деталь биографии Гейне, внешне неуловимая, но достоверная частность, словно завершающие мазки на загрунтованном полотне, уточняют и дополняют портрет, выстраиваются в логическую цепочку, становятся на свои места... Отметаю термин – гипотеза, хотя в таком головоломном вопросе не обойтись без гипотез.

Знаю не понаслышке – по опыту пятилетнего проживания в Бейтар-Илите, вознесенном в Иудейских горах поселении, к юго-западу от Иерусалима. Добрая и веселая весть о рождении ребенка в каждой семье со скоростью звука разлетается по всему городку и традиционное "Мазлтов!", искреннее, дружеское, задушевное, несколько дней обращено к счастливому отцу, а роженицу еще в больнице с огромными охапками цветов посещают подруги или дозваниваются по мобильнику: "Мазлтов!" Так было изначала: и когда у нашего праотца Авраама появился на свет Ицхак, и когда у поколения пустыни рождались сыновья, – именно им на роду было написано войти в Эрец-Исраэль и стать нашими далекими предками, и когда очаровательная Бат-Шева родила Давиду наследника – Соломона... "Мазлтов!" – будет звучать так долго, как долго будут существовать небеса над землей.

Так было 13 декабря 1797 года или, уточним, 22 кислева 5557 года по еврейскому календарю, когда буквально в канун веселого праздника Хануки в немецком Дюссельдорфе, в молодой и благополучной еврейской семье Гейне, Шимшона и Бетти, в девичестве – ван Гельдерн, родился первенец... На ловкий хлопок повивальной бабки Эстер, на бережное поглаживание по теплому тельцу ребенок откликнулся пронзительным истошным криком, известив мир о рождении великого Еврея, но об этом никто не догадывался, да и ныне не все приемлют.

Вечером, накануне "брит-милы" в умиротворенную тишину трехэтажного кирпичного дома по Болькерштрассе, словно вихрь, ворвался оглушительный топот детских ног – пришли соседские пяти-семилетние мальчишки, черноглазые, пейсатенькие, шумливые. Столпившись вокруг деревянной детской кроватки, они хором и нараспев читают молитву "Шма Исраэль", – младенец еще не видит как следует, но уже слышит святые слова Торы. Отец Шимшон восторженно вторит вслед за ними, строгая матушка Бетти, покусывая тонкие губы, опасливо и неодобрительно поглядывает на громкую ватагу – мальчуганы, положив ладошки на плечи друг другу, собравшись в живую цепочку, пританцовывают вокруг новорожденного, но он не просыпается, невозмутимо посапывает – привыкает к среде своего народа.

На восьмой день после рождения – 29 кислева, когда евреи по традиции зажигают шестую ханукальную свечу – Шимшон как отец выполнил первую заповедь – совершил брит-милу, обрезание, в знак союза, заключенного Всевышним с Авраамом и его потомством – со всеми нами. Праздник – не внове, не в диковинку, но издревле – одновременно торжественный и вдохновенный. Прежде всего необходим "миньян" – десять мужчин, но с этим проблемы нет – без приглашения собирается огромное число евреев – мужчин, женщин, родных, соседей, – принаряженных, одухотворенных...

Высокую честь внести ребенка в помещение, где будет сделано обрезание, оказывают родному брату молодого отца – Соломону Гейне. Дядюшка новорожденного, смолоду величавый, приземистый, широкоплечий, на вытянутых руках гордо вносит младенца, завернутого в белоснежный, отутюженный конверт с голубыми лентами... Соломон сегодня счастлив вдвойне – накануне его молоденькая жена сообщила, что ждет ребенка, и будущий отец уверен – брит-мила вскоре будет и в его доме... Он ошибся – жена родит ему двух девочек – старшую Амалию и младшую Терезу... Запомним эти имена – и дядюшке Соломону, и двум кузинам суждена едва ли не главная роль в судьбе поэта, но пока нам даже неведомо его имя. Новорожденного кладут на высокое кресло – просторное, с подлокотниками мягкими. "Это – кресло Элиягу", – произносит моэль, огромный седобородый красавец, по-настоящему благочестивый, знающий технику обрезания. В кресло садится раввин, бережно берет ребенка на руки, и моэль после короткого благословения в наступившей тишине обрезает крайнюю плоть... Момент волнующий, некоторые женщины плачут, у меня замирает сердце, мальчик захлебывается в крике... Моэль приподнимает бокал, наполненный до краев красным вином, произносит: "Творящий плод виноградной лозы...", несколько капель вина со своего мизинца вливает в ротик всхлипывающему младенцу... Тот мгновенно стихает, и тогда из уст моэля мы впервые слышим имя мальчика - отчетливо и гордо оно звучит на иврите: *Хаим Бен Шимшон Гейне*... Ему еще предстоит стать *Генрихом Гейне*, но в тот день – 29 кислева – он стал полноправным евреем.

Начальные годы жизни мальчика – Хаймеле, еще в благополучной и религиозной семье – в полном соответствии с Галахой: в три – первый раз стригут, кудри, кружась, опадают на пол, остаются лишь золотистые локоны на висках (пейсы), с осени – отдают в хедер – частную еврейскую школу, где мальчик начинает изучать Священное Писание и читать на древнееврейском. Таблицу с алфавитом смазывают медом, ребенок повторяет за меламедом буквы с первой до последней, затем произносит их в обратном

порядке, после чего на каждой буковке слизывает капельки меда – так он должен почувствовать сладость слов Торы.

Но мы, еврейские мальчишки советского розлива, такого были лишены напрочь. Если сегодня меня спросят, что я хотел бы изменить в своей судьбе, отвечу: чтобы в три года меня отдали в хедер!

Но для Хаймеле Гейне традиционное еврейское воспитание оборвалось – резко, грубо, бесповоротно. Отец, неудачливый продавец вельвета, разорился, воспитание взяла в руки мать – женщина своевольная и якобы просвещенная: ей ближе взгляды Жан-Жака Руссо, чем ТАНАХ. Однажды Хаймеле прибежал из хедера в слезах, с красными распухшими ушами – ему не повезло с первым учителем, тот оказался человеком не слишком благочестивым и позволял себе наказывать детей, подтягивая за уши... Мать словно этого и ждала – вопреки увещеваниям отца и дяди Соломона мальчик был определен в школу при монастыре францисканцев, затем, одиннадцатилетний, – во французский лицей. Именно там к нему, остриженному наголо, и прилипло, несмываемое, как смола, ненавистное имечко – Гарри...

А в Германии, в Дюссельдорфе, в родительском доме – все реже слышны отцовские молитвы, мать забывает зажигать субботние свечи, у всех на устах настойчиво и назойливо, точнее – упоенно повторяется единственное имя – Наполеон... Идеи Великой Французской революции ошеломили или разворошили даже педантичную Германию. И Гарри, в толпе учеников французского лицея, однажды разглядел легендарного императора, проезжавшего через Дюссельдорф, возможно, по пути в Россию. Восхищенному мальчишке почудилось – улыбающийся Наполеон из окошка кареты приветствовал именно его. Этот взмах руки – не забывается...

А в канун праздника Песах 1810 года приезжает из Гамбурга дядя Соломон – его встретили настороженно – к тому времени дядюшка уже был известным финансовым магнатом, а дюссельдорфская родня задыхалась в безденежье... Но Соломон невозмутимо и ненавязчиво взял приготовление к празднику в свои руки – сам закупил на рынке свежую рыбу и нафаршировал ее, послал брата Самсона за мацой и приправами, вдохновенно и безукоризненно провел традиционный вечерний седер. Гарри послушно и увлеченно вместе с другими детьми задавал вопросы...

Наутро дядя сказал племяннику:

– Дорогой Хаим, тебе в этом году тринадцать лет – надо готовиться к бар-мицве!..

– Он теперь у нас – Гарри, – подправила мать.

– Тринадцать лет – важная дата в жизни еврея, – Соломон пропустил мимо ушей реплику невестки. – В этот день новая святая душа вселяется в

него и обязывает, с одной стороны, исполнять заповеди Торы, а с другой – принимать наказания за их невыполнение.

Чего-чего, а наказаний щедро и досыта досталось великому поэту.

Но все первые заповеди тринадцатилетнему – выучить соответствующие благословения и отрывок из недельной главы – Гарри выполнил, хотя и с грехом пополам – древнееврейский уже выветрился. Все годы, века, тысячелетия в этот день 22 кислева евреи читают главу "Вешав" – историю Иосифа и его братьев. Нашу историю... Рассказ Торы, из года в год, с заново осмысливаемыми подробностями, разворачивается перед нами и не оставляет равнодушными. И тринадцатилетний Гарри увлекся лаконичной повестью о караване исмаэльтян, о яме, в которую братья бросили Иосифа, о тюрьме, о фараоне, о голоде... Но самым страшным показалось Гарри – об отчуждении, о жестокости, о глубине, нет, не ямы, а падения, о силе раскаяния, о радости прощения, и о том, что никогда не поздно... На всю свою жизнь – долгую, мучительную, трагическую – Гейне запомнил из *той* недельной главы: никогда не поздно вернуться в семью и снова стать братьями...

Бар-мицву, тринадцатый день рождения, отмечали 22 кислева, или 13 декабря 1810 года, да, в той дюссельдорфской синагоге, где мы встречались с Поэтом семнадцать лет спустя, откуда он вышел после молитвы бочком и спотыкаясь на ходу... В ту субботу отмечали свое совершеннолетие и два ровесника Гарри – соученики по хедеру – из давнего малолетства, светлого, истаявшего... Они его узнали, радостно приветствовали:

– Хаим, Хаим отыскался! – обнялись, словно с братом, разлученным, потерявшимся.

Их вызвали к свитку Торы раньше – и Гарри был ошарашен и потрясен – свой текст его бывшие соученики выговаривали четко и наизусть, увлеченно, возвышенно, нараспев, раскачиваясь в молитве, как взрослые религиозные евреи, в едином порыве со всей молящейся общиной... А Гарри произносил слова медленно, заикаясь, мучительно вспоминая зазубренные строки.

Это унижение, обиду, прежде всего – на себя, он – гордый, самолюбивый, своенравный – воспринял как трагедию, еле сдержал слезы и даже сердечные поздравления раввина и других молящихся – не услышал. Так началось отчуждение. Дома – за праздничной трапезой – отец обнял со слезами, мать – сухо, сдержанно, словно зная что-то свое, дядя Соломон расцеловал, а двоюродная сестра Амалия – на миг прижала к себе, и он отшатнулся, обожженный девичьим, не сестринским прикосновением. Так началось отчуждение, едва ли не на всю жизнь.

...Словно головня в кострище тлеющем, словно тень от кручи нависшей, отчуждение или отдаление от своего народа долго и навязчиво преследует молодого Гейне, – разминувшись в одночасье с еврейскими религиозными сверстниками, он и раздражен их устойчивым укладом, и раздосадован своим бессильем быть как они. Особенно сидят у него в печенках собратья, преуспевающие в торговле, в банковских операциях, в которых он оказался бесталанным. Но – каждому свое. Зато он пишет стихи, их нарасхват печатают газеты, и именно Генриха Гейне именуют немецким Байроном. Он легко и непринужденно вписывается в университетскую среду, и его уже в толпе не отличить от немецких сверстников.

Три германских университета могут и сегодня гордиться своим великим студентом; мне не ведомо – есть ли хотя бы доски мемориальные, но в 23 музеях нынешней Германии есть гейневские экспозиции.

Боннский – в нем на лекциях Августа Шлегеля по истории литературы Генрих знакомится с творчеством Шекспира и Байрона.

Геттингенский – хотя поэт продержался там лишь четырнадцать месяцев: кто-то из завистливых арийских сокурсников, поэтов неудачливых, выкрикнул ему в злобе: "Этот еврейчик!.."

Генрих, не отличавшийся дюжей силой, прилюдно влепил ему хлесткую пощечину и вызвал на дуэль. До шпаг, однако, дело не дошло, а от обидчика – "этого еврейчика" – университетское начальство поспешило избавиться.

Отчего-то вспомнил Виктора Астафьева, советского прозаика, – он нас иначе не именовал, как "еврейчатами", но на дуэль его не вызывали. Увы, со многими обидами мы смирились в галуте, но вселенская ненависть к нам не убавилась.

В Берлинском университете Гейне слушает лекции самого Гегеля. "Мы диалектику учили не по Гегелю..." В 1825 году Гейне заканчивает учебу и получает звание или статус доктора юридических наук третьей степени. Пришла пора поступать на службу: что поэзия – не кормилица, осознали даже великие, особенно в молодости. Впрочем, наш Гейне до последнего вздоха бедствовал.

Одна из тяжелых, мрачных, несмываемых страниц в судьбе Гейне – 28 июня 1825 года, намеренно не использую еврейское исчисление, в городе Гейлигенштадте он принимает лютеранство в тайной или наивной надежде получить доступ к государственной службе после получения университетского диплома, но к вожделенной должности допущен не был. Не пытаюсь комментировать – из песни слова не выбросишь! В стихах к этой теме Гейне не возвращается, а в письмах, дневниках – исповедуется.

Мы, евреи, с болью неизбывной, с печалью нескрываемой, а порой и с гневом невольным относимся к своим соплеменникам, изменившим вере предков. Так было издревле, так и в наше время. Но если Борис Пастернак – большинство из "русской" еврейской интеллигенции, даже уже в Израиле, скажу так, молятся на него благоговейно и ностальгически, хотя великий русский поэт все годы *бежал* от своего еврейства, не любил его, стыдился его (см. письма сестре Жозефине, страницы "Доктора Живаго"), то для Гейне вероотступничество стало на всю жизнь источником угрызений совести и огорчения, раскаяния, самобичевания. "Желаю всем ренегатам настроения, подобного моему..." – едва ли не в вечер дня крещения написал он своему приятелю. Не доискался я в архивах подробностей того горестного дня, но вот отрывки из писем близкому другу Мозеру: "Счел бы ниже своего достоинства и пятном для своей чести, если бы позволил себе креститься для того только, чтобы получить должность в Пруссии..." И несколькими днями позже: "Мне было бы очень больно, если бы мое крещение могло представиться тебе в благородном свете... Уверяю тебя, если бы законы позволяли красть серебряные ложки, я бы не крестился..." К этой теме, тяжелой и горькой, Гейне возвращается многократно, и нам еще предстоит вместе с автором *перечитать* его откровения исповедальные...

ЖЕНЩИНЫ ГЕЙНЕ

Каюсь: заглавие заимствовано или подхвачено у самого Гейне – его эссеистическая композиция "Женщины Шекспира" – одно из удивительных и глубоких философских исследований творчества великого английского драматурга. Но я посчитал необходимым упомянуть об этом не из-за заголовочного сходства, а по обнаруженной причинной связи гейневской оценки главного героя драмы "Венецианский купец" – еврея Шейлока и своих нынешних текстов.

В отличие от большинства шекспироведов, Гейне выделяет или оттеняет противопоставление еврея и эллина – двух культурно-исторических типов, антиподов, – извечная история столкновения первородства с избранностью, кровных братьев – Эсава и нашего праотца Яакова, в кратком рассказе переданная в Торе, но истолкованная в подробностях, сокрытых и аллегорических, в мидрашах. Шекспиру, при всей его гениальности, не дано знать эти толкования – на его театральных подмостках, в динамике и драматизме сцен его сочинения – бытовое столкновение иудея и христианина, но великий Гейне разглядел, точно и пророчески: презрение к нам, евреям, смешивается с тайной или явной завистью, оборачивается в неистощимый исток ненависти.

Так сложилось исторически: ненависть в душе, словно пламя, вырывается наружу, обретает и накапливает зло и силу из окружающей действительности, и мы, избранники Б-га, превращаемся в гонимых, и нет числа преследователям: один народ или народы уничтожают другой народ. Шекспир и не предполагал такого обобщения, Гейне пророчески разглядел: "Греки – лишь красивые юноши... Евреи же всегда были мужи, могучие, непреклонные мужи, не только в древности, но и после тринадцати веков преследования и горя..." Так мог написать только еврей, человек, не чурающийся гордости происхождения.

Но вернемся к "Женщинам Гейне". В основе любовной лирики всех времен и народов – любовные драмы, хрестоматийные строки – о любви к женщине, о любви неразделенной, к женщине, одновременно живой, реальной, не вымышленной, но и к воплощению Б-жественного начала на земле. Страшусь утверждать – но без драм неразделенной или отвергнутой любви мировая поэзия была бы убогой, по-нищенски скудной, опустошенной, и лишь подчеркивала бы наготу и босоту человечества. Но силой Б-жественного провидения – пустота не была допущена, и мы имеем то, что имеем, – лучшие образцы любовной лирики. К ним по праву – по накалу и чистоте чувств, по красоте образов и отточенности строк – принадлежит и любовная лирика великого Гейне.

Не намерен составлять реестр или компоновать литературную энциклопедию женщин Гейне, его возлюбленных, менее всего – рыться в белье поэта. Он не делал секрета из их имен, сам изредка обозначал разделы и циклы: "Серафима" – "В тихий лес, погрузившийся в грезы...", "Анжелика" – "Взыскан я улыбкой Б-га...", "Катарина" – "Не мог я петь и грустью странной...", "Китти" – "То счастье, что меня еще лобзало...", и другие – "Диана", "Кларисса", "Эмма"... Но что удивляет, потрясает, восхищает: имя главной женщины в его трагической судьбе, словно за семью печатями, неприкосновенно и сокрыто – читатель, самый дотошный, не отыщет его ни в посвящениях к стихам, ни в исповедальной прозе поэта, но именно ей, его Женщине, мы обязаны шедеврами лирики Гейне.

Амалия Гейне – кузина, старшая дочь его дядюшки Соломона, помните, несколькими страницами ранее, сцена на бар-мицве: "дядя Соломон расцеловал, а двоюродная сестра Амалия – на миг прижала к себе, и он отшатнулся, обожженный девичьим, не сестринским прикосновением". Остается досадовать или локти кусать – привез я из Дюссельдорфа добрый десяток копий музейных экспонатных портретов, но среди них не обнаружил Амалию... Да и сам поэт, безнадежно в нее влюбленный – от юности до прибли-

жающейся старости, – не посчитал необходимым оставить в строках своих ее внешние приметы, лишь короткие, словно под вспышками молнии, разобщенные штрихи. "Я волнами локонов нежно обвит...", или "в ресницах жемчуг слез...", или "как мрамор, холодно чело под прядями волос..." Даже за несколько месяцев до конца, трагического и неотвратимого, когда Амалия посещает его в парижской "матрацной могиле", он, едва захлопнулись за ней дверные створки, диктует, захлебываясь слезами невидимыми: "И ты сочувствия полна! / Ты, что всегда передо мною / стояла статуей немою, / как дивный мрамор, холодна!"

Да так ли важен словесный портрет любимой?! У душевного слома поэта свои причины или истоки – психологические. Амалия, влюбившая в себя двоюродного брата и сама увлекшаяся юношеской страстью незадачливого кузена, не могла и предположить глубину фатальных, трагических последствий чистого отроческого чувства. Юношеский недуг – влюбленность поражает большинство, любовь, настоящая и единственная, – удел избранных. Стихотворения, обозначенные поэтом "Страдания юности" и вошедшие в один из его ярких поэтических сборников "Книгу песен", – только ей, Амалии.

Претендующая на подлинность, пространная и странная горестная легенда о любви Гейне к Амалии, неразделенной или безответной, – после моих долгих и мучительных поисков и раздумий представилась вымыслом, выговоренным или выжатым библиографами неисчислимыми из его поэтического наследия, – айсберговым, верхушечным, видимым безоружным взглядом, – и я усомнился... в традициях комментаторских.

Безоблачно и радужно вначале. Она блистает красотой и чистотой – поэт эпитет лестный прибавляет – неземной. Так кроток взор ее лучистый, словно в печали ночи возник серп лунный и младой... Бутоны щечек алых сравниться могут лишь с пламенем весенних роз, а робкая улыбка, как жемчуга, манит магнитом... В душе возлюбленной он разглядел алмаз сокрытый и чистейший. Поверим Гейне – был алмаз...

По вечерам, разрумяненные и растерянные, взявшись за руки, словно страшась потерять друг друга, они бродят по Гамбургу, удивительному, утопающему в зелени и грохочущему, распластавшему свои крылатые улицы у трех башен над устьем реки... и едва ли кто-либо был счастливей наших двоих. Однажды, в августовские сумерки прошлого года, я разглядел издали и исподтишка, или привиделось: в глубине парка, под липами, старыми и разлапистыми, они целовались – робко и неумело прикоснулись друг к другу и отшатнулись. Вдруг я услышал – над ратушей шумно и нараспев пробило

одиннадцать, Амалия и Генрих медленно, словно обреченно, бредут в центр Гамбурга, где в неширокой глубине ухоженной усадьбы, в четырехэтажном особняке светятся высокие оконные проемы. Отец Соломон, известный гамбургский финансист, заполночь работает в кабинете, ему – пока! – не до сердечных дел дочери, матери ничего не следует объяснять: сияющие и счастливые глаза дочери – лучший рассказчик, а младшая сестренка, стремительная и дерзкая Тереза допытывается: "Вы – жених и невеста? Да? Генрих такой милый..."

А милый Генрих, прислонившись к газовому фонарю у сиреневой беседочной заросли, смотрит вверх на зашторенные окна – в одном из них загорается свет, в окне распахнутом колышутся тяжелые шторы, вначале появляется девичья головка в золотистых локонах, затем крохотная ручка выпархивает из пеньюарной белизны, тянется к Генриху с воздушным поцелуем и, помедлив, исчезает в глубине спальни. Однажды – исчезнет навсегда...

По строгим религиозным нравам своего народа молодой паре не рекомендуется, а точнее – воспрещается до свадебной хупы оставаться наедине друг с другом, но его сильные мужские руки с каждым свиданием настойчивее тянутся к девичьим чарам, а тонкое и гнущееся тело Амалии чутко откликается на его ласки, и маленькие округлые грудки, прижимаясь сквозь рубашечную ткань, обжигают его грудь, пронизывают сердце. Жениться? Желание естественное, человеческое, при реальном трезвом осмыслении обрело для молодого Гейне очертания фантастические – ему ли, неудачливому приказчику бакалейной лавки или новоявленному главе крохотной собственной конторы "Гейне и К°", уже дышащей на ладан, стать зятем могущественного финансового магната Соломона Гейне, хотя и родного дядюшки? Даже чаяния почтенной матушки о блестящем будущем своего первенца растаяли, словно льды к исходу рейнского паводка, и родительница обратила свой взор к юридическим факультетам. В грядущую славу поэта ни она, ни многочисленная родня не верили. Во взаимности любви Амалии он не сомневался, но что он даст молоденькой возлюбленной, к слову, и взбалмошной, и избалованной под родительской крышей? И ему было отказано – мягко, вежливо, по-родственному: "Милый Генрих, Амалия тебя не любит..."

Неисчислимые истории или драмы отвергнутой любви оттого и вошли в сокровищницу мировой поэзии и классической прозы, что почерпнуты из народной жизни; могу ошибиться, но будь Гейне только заурядным бакалейщиком или даже денежным воротилой, он по-иному воспринял бы отказ возлюбленной. Вспомним, как лаконичен Пушкин: "Но он не сделался поэтом, / не умер, не сошел с ума..." Тем не менее сердце Гейне, скажем так, до

гробовой доски не смирилось с потерей милой Амалии, ее одну он любил, при не сокрытом сонмище возлюбленных и сожительниц, соблазнительниц и пассий, последнее слово мне особенно по нраву...

Несоразмерно огромна оплаченная поэтом цена, понятно, не в денежных знаках или в ценных бумагах, откуда им взяться у вечного должника, – надиктованных небесами шедевров, и соизмерима ли она с трагедией отвергнутой любви, искалечившей ему судьбу или жизнь, – у каждого человека она одна-единственная...

В истории и подробностях увлечения Гейне второй своей кузиной – Терезой, младшей сестрой Амалии, все было повторено, словно под копирку или на сложных профилях одной и той же модели. Они встретились в июне 1823 года – Гейне, к тем дням уже известный поэт, вновь возвращается в Гамбург... "Когда на дороге, случайно, / мне встретилась милой родня, / и мать, и отец, и сестрица / любезно узнали меня..." "Милая" – это Амалия, а "сестрица" – Тереза – увы, уже давно на выданье, но в женихах переборчивая.

"В сестрице есть с милою сходство: / улыбку ее узнаю, / и те же глаза, что сгубили / и юность, и душу мою..." Поэт предельно немногословен, нежданное рандеву не предполагает продолжения.

Но иные планы у двадцатилетней Терезы, дерзкой и влюбчивой – ей откровенно нравится двадцатишестилетний Генрих – статный, розовощекий, "как денди лондонский одет". Она отыскивает его в одном из гамбургских салонов, едва ли не за руку оттаскивает от толпы молодых поклонниц и... все повторяется. Гуляние под гамбургской луной по тем же уединенным уголкам, что и с Амалией, поцелуи под теми же тенистыми липами. Но, закрывая глаза, еще плачущие по Амалии, лаская и прижимая Терезу, словно во сне радужном, он видит Амалию. "В душу ей до дна проникнуть / неужель не стало силы? / Но ведь ты в делах подобных / не осел же, друг мой милый?" – иронизирует над собой поэт, но уже поздно – вновь навалилась, словно лихорадка горячечная, любовь или влюбленность, на бедную голову поэта. Терезе сложно разобраться в своих чувствах, и она торопится к Амалии, к тому времени – жене преуспевающего купца Фридлендера, матери крохотной дочурки.

– Я тебе плохая советчица! – резко прерывает она признания Терезы, – нашему семейству только твоей любви к Генриху недостает, – ни ему, ни тебе она ни к чему!

– Мне кажется, мы... любим друг друга!

– Это ваши подробности, извини за откровенность, – мне они неинтересны...

– Так уж неинтересны! – шепчет Тереза. – Да ты, ты, ты... ревнуешь... Если бы не наш папочка, нарожала бы Генриху деточек, он бы и стихи забросил.

– Прекратим разговор, – Амалия краснеет и обнимает сестру, – мигрень мне с ночи досаждает.

Она долго стоит у окна, смотрит вслед Терезе, слышит перестук ее каблучков по аллейным кирпичикам, и лишь когда та вскакивает в карету, подходит к зеркалам – привести себя в порядок к приходу супруга.

"Милый Генрих, Тереза тебя не любит!" – вновь отказано.

В глубине комодных ящиков Амалии, под топкими стопками отутюженного женского белья хранятся книги поэта, – в каждую новую публикацию она вчитывается, ненасытно и увлеченно поглощает строки, горячие, страстные, словно обугленные, словно напоенные кровью певца, – его напевы уже давно на устах немецкой молодежи. "В глухую ночь, в блаженном сне, / сошла любимая ко мне; / Волшебной силой колдовской, / ко мне явилась, в мой покой..." – узнает и не узнает себя Амалия. И впрямь, колдовская сила у Генриха, – когда-то, не по своей воле, она выскользнула из его объятий, но ныне, верно, до конца дней ее, он, колдун или волшебник, самовольно и дерзко врывается в ее сны и покои. Когда они встречались, когда любили друг друга – молодые и чистые, добрые и неискушенные, – она считала его стихи юношеской шалостью, была далека от поэзии, а ныне, перечитав вдоль и поперек все, сочиненное *ее* Генрихом, она неожиданно для себя потянулась не просто к рифмованным строчкам, а ощутила непостижимую глубину и очарование этого ошеломляющего чуда, именуемого стихами. "Над страшною высотою / девушка дивной красы / одеждой горит золотою, / играет златом косы..." Ужели это она – легендарная Лорелея? Кто-то из подруг подсказал: "Прочти "Справочник для путешествующих по Рейну" Алоиза Шрейбера: "В стародавние времена в сумеречный час и при свете луны на скале Лурлей показывалась девушка, которая пела голосом столь прелестным, что она пленяла всех, кто слушал ее. Многие проплывавшие мимо разбивались о подводные камни или же погибали в водовороте, так как переставали следить за ходом своего судна и небесный голос певицы как бы отторгал их от жизни..." Ужели это она – легендарная Лорелея?.. Откуда, из каких глубин истерзанного сердца извлекает Гейне бесконечную мощь своей поэзии – Генрих, которого она знала таким нежным, порой – беспомощным и ранимым?..

– Ревнуешь! – укорила и безошибочно распознала зоркая сестрица Тереза.

Понятно, ревнует, прежде всего к самой себе – реальной или вымышленной поэтом красоте... И к неисчислимым его пассиям – Амалия задыхается

во гневе от одного перечисления ненавистных их имен – словно пчелы, слетевшиеся на мед, облепили *ее* Генриха. Да как он посмел вослед за признанием в любви ей, Амалии, неразборчиво и на весь белый свет посвящать каким-то дульцинеям свои стихи?!

Когда Амалия узнала о страшной и неизлечимой болезни Гейне, о его едкой и печальной самоиронии – провести остаток жизни в "матрацной могиле", она засобиралась в Париж. Долго, тщательно, привередливо перебирала свой гардероб, отвергла, и в салонах гамбургских высокой французской моды закупила несколько комплектов. В свои пятьдесят она была еще хороша: тонкое, гладкое, без излишней косметики, смуглое иудейское лицо, некогда золотистые локоны подкрашены и уложены под широкополой белоснежной шляпкой, голубая шелковая кофта с рюшечным светлым воротником и темно-синяя длиннополая юбка, затянута в талии, сжатой жестким корсетом. Вот и словесный портрет, не привезенный мной из Дюссельдорфа.

В Париже легковому извозчику вручила записку с адресом: avenue Matignon, 3. Дверь отворила высокая молоденькая француженка, Камилла.

– Генрих не сможет вас принять, он болен!

– Могу! Могу! Могу! – услышала Амалия хриплый крик Генриха, знакомый, словно они расстались накануне.

– Ты? – выдохнул поэт – и не пошевелился.

Он сидел в своей постели, укутанный в темный бархатный халат, запахнутый снизу до горла, обмотанного шарфом, правая рука опирается в стопку книг на журнальном столике, а левая, парализованная, неподвижно покоится на колене. Худощавое лицо в глубоких морщинах, словно в шрамах, курчавая борода, обвислые усы, взлохмаченные редкие волосы – припорошены сединой. Провалившиеся, словно в пропасть, глаза... На улице Амалия его бы не узнала.

Но ее потрясло иное: рядом с ее Генрихом, доверчиво и бережно прислонясь спиной к его левому плечу, полулежала женщина, очевидно, жена, Матильда, – о ней Амалия уже наслышана. В левой приподнятой руке – распахнутый журнал, в правой, вытянутой, на блюдце – фарфоровая чашечка кофе. Матильда и не обернулась в сторону гостьи. Но Амалии тонкий профиль жены поэта, высокий лоб, обнаженный стянутыми в узел смолисто-черными волосами и прикрытый белой косынкой, да и весь ее облик показался неправдоподобно красивым. Удивительное спокойствие, созданное контрастом светлого профиля женщины и сплошным темным фоном обители. Да и та, молоденькая француженка, красива. Завел себе гарем... гойский! – мелькнула мысль и исчезла.

А спустя час после ухода Амалии, когда Матильда поспешила за вечерними газетами, Генрих подозвал Камиллу и продиктовал – на одном дыхании, захлебываясь невидимыми слезами: "И ты, сочувствия полна! / Ты, что всегда передо мною / стояла статуей немою, / как дивный мрамор, холодна!.." Камилла записывала, гневно стиснув зубы...

В тот вечер, мой последний – в Париже, прощаясь с ним, – ужели навсегда? – забрел я на площадь Вогезов. Среди густой зелени деревьев и симметричных стриженых газонов – конная статуя Людовика XIII, а у узорчатой металлической ограды – под гигантским разлапистым каштаном, опушенным свечением белых свечей, – на скамейке плачущая женщина. Одинокая, всхлипывающая, миловидная и молодая еврейка – да, она была нашего племени, и слезы лишь оттеняли ее библейские черты, неслучайные, несмываемые, – она не вписывалась, не воспринималась в неумолчном гуде парижского вечернего веселья, и что-то дрогнуло в моей груди.

– Вам помочь?

Она промолчала, мельком глянула на меня, точнее, сквозь меня, в бездне или в бездолье ее непомерно огромных, распахнутых черных глаз, залитых горечью и печалью, ничего не изменилось, и я, извинившись, присел на краешек скамьи.

– Мне уже нечем помочь! Спасибо! – ответила женщина на идиш, хотя спрашивал я на иврите.

Вначале мы говорили ни о чем, затем, вдруг, о нашем Иерусалиме, откуда меня ненадолго и ненароком занесло в Париж и где незнакомка мечтает побывать.

– В Иерусалим нам следует приезжать навсегда! – обронил я, и женщина пожала плечами. Она неспешно оттаивала, но лишь внешне, скомканным носовым платком тщательно высушила слезы, несколькими неуловимыми движениями навела порядок в своих одеждах, белоснежная широкополая шляпка лишь подчеркивала или уточняла красоту ее современного стиля.

– Еще раз – спасибо! Вы смогли мне помочь! – она быстро поднялась и ушла, словно растворилась под арками парковых аллей.

Кого-то мне напомнила эта парижская незнакомка с нежным идишским выговором, отчего мне в дар поднесли эту нежданную мгновенную встречу? Не здесь ли – на площади Вогезов, под опушенным белым свечением гигантским каштаном, одиноко и опечаленно плакала Амалия, навсегда прощаясь с умирающим Гейне? И было ли *тогда* кому подойти и предложить помочь? "Пускай она поплачет, ей ничего не значит..." – писал уже другой поэт о другой женщине.

Женщины Гейне! Разные и непохожие, они украшали и калечили жизнь поэта, но именно им мы обязаны его высокими и вдохновенными, страстными и трагическими шедеврами. Тем более удивительно: не обнаружены строки, мною, по крайней мере, в поэтическом наследии Гейне – ни о Камилле Сельден, ни о жене Матильде. Камилла – молоденькая француженка из далекого захолустья, она заглазно, лишь по стихам влюбилась в поэта, отыскала его парижскую квартиру, дерзко открыла не только дверь, но и сердце Гейне. Последняя страсть умирающего поэта. Даже Матильда, гордая и ревнивая жена, приняла Камиллу под семейной крышей. Помните: "Завел себе гарем... гойский!" – возмутилась Амалия, но лишь на миг – она бы сама навсегда осталась под этой крышей, если бы ее допустили. У великого нашего поэта – царя Давида, когда он состарился, тоже была возлюбленная, молоденькая и красивая, звали ее Авишаг, и ухаживала она за царем, и прислуживала ему, и лежала на груди его до дня последнего, когда почил он с отцами своими. Но это уже – о другом поэте.

Но ежели не в стихах – отыскалось в дневниковых строках, – звонкой привычке к рифме и ритму, словно невзначай, изменил Гейне с годами хорошей и крепкой прозой: "Я мертвец, томящийся жаждой по самым огненным наслаждениям, какие доставляет жизнь... Это ужасно!" Это – Камилле! Она и жена Матильда – дружно и рядышком, годами и сутками напролет – до вздоха последнего чутко и безропотно облегчали страдания поэта. Преклоняюсь перед их мужеством, нет – перед их великой любовью! Они и закрыли ему глаза. Но до этого – о многом Гейне написать предстоит, а нам *перечитать* написанное...

ПАРИЖСКИЕ ВИДЕНИЯ

Когда-нибудь я опишу Париж – лишь соберу, по крохам и по горстям, следы иль отголоски впечатлений, рассыпанные в щедрости безмерной и в кожушках души, и в средоточье сердца, – а пока – Лувр, словно луч, как дальнее созвездье, в свеченьи печальном полыхает...

Сквозь пирамиду из полос стекольных, как из шатровых тканей, над вестибюлем буферным, подземным – я шел, послушно и ошеломленно, в толпе разноязычной, зычной, многоликой, среди собраний редкостных полотен в рамах золоченых и статуй мраморных... Но чудилось – по залам Возрожденья, по палубочной шаткости паркета – не мы, не мы минуем в одночасье в фривольных одеяниях двухтысячного года, мы – лишь статисты или экспонаты для обозренья ренессансным населеньем Лувра, должно быть, им – мы не без интереса, к примеру, мой иудейский профиль...

В музее античности, в одном из нешироких залов, в столпотворенье репейной толпы, над уплотненьем сближенных голов, плеч и непомерных бюстов, пытаюсь разглядеть или уловить, как взор богини, взгляд Венеры Милосской. Хотя и двухметровой высоты, она едва видна, расхватанная сотней объективов в назойливом мельканье вспышек. И вдруг, нежданно, по велению гидов или по воле свыше, прибой толпы послушно отступает и растекается по тропкам вестибюлей, и предо мной, со мной наедине – прекрасный обнаженный торс Венеры выходит из одежд, спустившихся до бедер. И не паросский белый мрамор на розовом изломе постамента – живая достоверная Венера из волн морских внезапно возникает в стыдливой утонченной форме, в порыве непринужденного движенья – не позволить тяжелым и намокшим одеяньям коварно или непокорно соскользнуть с округлых бедер. Но скульптором, великим Праксителем, еще до новой эры, ужели за грехи, обеих рук богиня лишена – и правая отсечена в предплечье, и напрочь – левая. Другая бы – в слезах горючих изошла, но Венера Милосская, в девичестве далеком – Афродита, лишь взгляд любви к нам, смертным, обращает и увещает – жизнь прекрасна. Поди – не согласись!

Не знаю, сколько там стоял, любуясь и в раздумьях. Когда открыл глаза – у постамента, на светло-отшлифованном паркете, ничком и руки распластав, как крылья, лежал мужчина – черная жилетка поверх измятой кремовой сорочки или блузы, как парус, вздыбилась, коричневые брюки, задравшись, по щиколотки ноги обнажили и скосы стоптанные каблуков. Спина в безмолвном плаче сотрясалась...

В блаженном и сверкающем Париже, в запрудных залах сказочного Лувра, в смешении народов и экскурсий – откуда взяться ныне бедолаге, чем подсобить печали несчастливца? Не различая слов, не опознав язык, я слушал, словно исповедь чужую иль покаянье – бессвязных фраз костровые осколки, как искры, – такая страсть в могучем монологе, как в молитве, способна камень растревожить. Почудилось, но явно – Венера из Милоса чуть приподняла мраморные плечи, и складки губ точеных шевельнулись, и в улыбке чуткой, как молния, внезапно зубки девичьи сверкнули – Венера что-то выдохнула, да я не разобрал. Но слышал...

Мужчина встал, но долгое его вставанье мне вывернуло душу – он сел вначале, вытянул в бессилье, как судорогой сведенные ноги, на ощупь палку отыскал, и как на костыль опершись, негнущееся тело привычно перебросил на колени, а затем уже, кряхтя, как старец, а ему на вид едва за сорок, поднялся во весь рост. Но нет, не слезы – по смуглому лицу, высокий лоб, глазницы впалые и щеки омывая, и в стриженой бородке растворяясь, за ворот распахнутой сорочки или блузы сочился пот, густой, как дождь.

Сказала мне служительница зала, француженка в рыжих завитушках:

– Как на свиданье, он изредка, раз в год, не чаще, приходит к нам – к Венере Милосской, и загодя звонит – мы для него ко сроку зал освобождаем...

– Кто он? – спросил я в страхе провидения.

– Еврей какой-то, – мадам припоминала, но с трудом, – по слухам... Генрих Гейне...

Мои парижские видения истолковал мне сам поэт, но в прозе исповедальной: "Я никого не предал, даже своих языческих богов, от которых я, правда, отвернулся, однако расставшись с ними дружески и любовно. Это было в мае 1848 года, в день, когда я в последний раз вышел из дому и простился с милыми кумирами, которым поклонялся во времена моего счастья. Лишь с трудом удалось мне доплестись до Лувра, я чуть не упал от слабости, войдя в благородный зал, где стоит на своем постаменте вечно благородная богиня красоты, наша матерь божья из Милоса. Я долго лежал у ее ног и плакал так горестно, что слезами моими тронулся даже камень. И богиня глядела на меня с высоты сочувственно, но так безнадежно, как будто хотела сказать: "Разве ты не видишь, что у меня нет рук и я не могу тебе помочь?!"

В те страшные дни, когда Гейне, после тщательного консилиума, был поставлен окончательный диагноз, жестокий приговор – прогрессирующий паралич, поэт отчаялся и в его текстах послышались мне нотки неверия в возможность писать. Но судьба отпустит ему еще восемь лет для творчества, и Гейне не упустит ни одного дня из этого срока, именно в те отмеренные или дарованные свыше годы или мгновения поэт обнаружит свою связь со своим народом и вернется к Всевышнему. Я *перечту* того Гейне с особым волнением и настороженностью. Но пока, 30 сентября 1851 года, когда писались эти строки, Генрих Гейне, прощаясь с читателем, находит в себе грустный, но спасительный юмор: "...Я не стану продолжать, ибо впадаю в плаксивый тон, который, пожалуй, может стать еще более плаксивым, когда я подумаю о том, что должен ныне расстаться с тобой, дорогой читатель. Нечто вроде умиления овладевает мной при мысли, ибо расстаюсь с тобой неохотно. Автор привыкает к своей публике, точно она разумное существо. Да и ты как будто огорчен тем, что я должен проститься с тобою: ты растроган, мой дорогой читатель, и драгоценные перлы катятся из твоих слезных мешков. Но успокойся, мы свидимся в лучшем мире, где я к тому же рассчитываю написать для тебя книги получше. Я исхожу из предположения, что там поправится и мое здоровье... А теперь будь здоров, и если я тебе что-нибудь должен, пришли мне счет..."

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Натолкнувшись однажды на трехсловную метафору в прозе Гейне: "пришли мне счет" – обращение к реальному или вымышленному читателю, – я восхитился и огорчился одновременно. Прежде всего – о прозе поэта. Не только пушкинское: "Года к суровой прозе клонят...", в прозе Гейне – и дерзкий, назревший отказ от звонкой, наработанной привычки к созвучьям и ритму, но в его нерифмованных текстах открылись внезапно, возможно, и для самого поэта, яркие и неистребимые особенности чисто еврейского дарования, – нет, не печальный юмор, а язвительность бичующего остроумия, глубина прозрения, мастерское владение словом сформировали тот неповторимый стиль, – узнаваем, высок и именуем – прозой Гейне. Именно так написаны его дневники и "Мемуары", и "Романсеро", и "Лютеция" – парижские статьи о политике и искусстве, о жизни народа.

В "Романсеро" Генрих Гейне пытается подвести итоги своей судьбы, прежде всего – творческой, в предвидении приближающегося конца он ощущает не только естественный страх перед смертью, но и боль, тоску, печаль по ненаписанному. Смерть каждого человека, тем более – великого, наводит на размышления. Особенно если она внезапна, непредвидима, не как уход из жизни наших праотцев – Авраама, Ицхака, Яакова: они ушли "насыщенные годами". Ситуации роковых дуэлей Пушкина и Лермонтова по сей день волнуют любителей русской словесности, о приближающейся смерти Гейне задолго знали его родные и близкие, и друзья, да он и сам от ее настырной тени отбивался с присущим ему сарказмом, но не только к самому себе. Великий Александр Сергеевич, применив глагол "клонят" в сочетании с "суровой прозой", предполагал и его второе прочтение – близиться к вечеру, к концу, к развязке. Гейне на свое приближение к развязке, развернувшееся в десятилетнюю дистанцию, откликается прежде всего взлетами творчества, сквозь боли и муки, но изредка или исподволь в основные тексты вплетает он и мысли о близком финале. Но вот о чем я подумал, отчего восхитила и потрясла меня эта метафора: "пришли мне счет". Услышал я в ней: милые мои, вы непременно пришлете свои счета, а я-то вправе предъявить *свой* счет судьбе? Или без вопросительного знака...

Всю его жизнь, горестную и трагическую, в Гейне медленно и методично убивали – еврея и поэта, влюбленного и любящего, отца и семьянина, верующего и вольнодумца, честного публициста и яркого сатирика. Не судья – я, да и кто дал мне право судить? Но, *перечитывая* Гейне, намерился я разобраться, кто есть кто, – так и составил "список":

И отец Шимшон, не выполнивший основную заповедь мужчины – научить сына Торе и профессии...

И мать Бетти, "забывавшая" зажигать субботние свечи, выхватившая, словно из пламени пожара, малолетнего Хаимку из хедера и отдавшая его в лицей...

И Амалия – единственная его любовь – отвергла любовь Поэта, по своей или чужой воле. К чужой воле мы еще вернемся... Вновь обращусь к Пушкину. Недавно прочел у В.Розанова: "Пушкин был виновен перед Гончаровой и потому, что не понял глубокого индивидуализма семьи, без чего она есть квартира, но не есть "дом" в лучах религии и поэзии. "Святой дом" – вот чего до очевидности не выходило у них" (В.Розанов. Мысли о литературе. М., 1989, стр. 260). О таком "святом доме" с Амалией в лучах религии и поэзии мечтал Гейне, но Амалия отвергла или разрушила мечту.

И издатель Юлиус Кампе – он принудил Гейне заключить с ним кабальный договор – исключительные права издателя на все сочинения поэта.

И Карл Маркс – не пожелавший разглядеть в Гейне великого Поэта, его бродячему "призраку коммунизма" востребовался лишь барабанщик.

И Максимилиан, беспечный и дурашливый младший брат, практикующий в Петербурге врач – в феврале 1847 года он специально примчался в Париж и собственноручно сжег единственный экземпляр четырехтомной рукописи Гейне "Мемуары" – плод напряженного семилетнего труда. Девяносто лет спустя в костровом пламени нацистской ненависти сгорели тысячи книг Гейне, но чтобы родной брат, еврей, якобы интеллигент, давший клятву Гиппократа, развалившись в кресле в одной из комфортабельных парижских гостиниц, методично и равнодушно, словно листочки с дерева, отрывал по одной странице рукописи больного брата и швырял их в пламя камина? Непостижимо. Отчего такая ненависть к "Мемуарам"? Сверхосторожная и щепетильная родня, дознавшись случайно, что их прославленный, но бедный братец пишет воспоминания, перепугалась насмерть – а не поведает ли он миру о семействе Гейне, в деталях и подробностях и с присущим ему сарказмом. Воспользовавшись тяжелым материальным положением Гейне, выкупили у него рукопись за мизерную ежегодную ренту-пенсию. И сожгли. И угомонились. До читателя дошли лишь страницы о детстве поэта... "Сказка жизни", как именовал свои мемуары Гейне, была уничтожена, и пропало одно из удивительных и увлекательных мемуарных сочинений XIX века! А я еще спрашиваю себя – имею ли право судить?!

Увы, могу "список" пополнить... Но есть один человек, разговор о котором должен идти по большому счету, исходя из самых строгих и высоких требований - по гамбургскому счету... Эпитет *гамбургский* в сочетании со

словом *счет* вспомнился мне именно в Гамбурге летом прошлого года, когда за краткий, словно спринтерский отрезок, срок пытался высмотреть, выходить или выбегать по пространству этого немецкого мегаполиса, раскинувшего, словно крылья, свои ухоженные парковые улицы по холмам и вдоль каналов приморского, точнее, припортового побережья... В молодости, как в женщин, я влюблялся в города, или наоборот, благо непоседливая работа предоставляла мне такую возможность. С годами воспламеняюсь реже, привередливей, скупее в желаниях, круг пристрастий суживается, как шагреневая кожа. Но августовский Гамбург душа восприняла в мгновение ока, хотя, справедливости ради, и отмежевывалась от недавнего, трагического. Если такое возможно – отмежеваться...

Объяснение нежданному отклику души нашел без раздумий – по этим улицам взлетающим, по площадям и тропинкам парков и набережных бродил сам Гейне. Много строений осталось и с его поры, но современный облик города, его зданий и сооружений, высотных, в цветном бетоне, отороченном металлом, в зеркальном отблеске витрин – к месту и не помеха старине. В Дюссельдорфе больше помнят Гейне... Во время специальной экскурсии на русском языке рассказывают в подробностях о его дяде Соломоне, реже – о самом поэте. До сих пор в Гамбурге есть больница, построенная еврейским магнатом Соломоном Гейне для бедняков. Такое не забывается и в поколениях.

Обегал я и магазины, понятно, книжные – такое издательское изобилие в красочном оформлении и высокой печати едва ли встречал. Да и посетителей любых возрастов – не протолкаться: рассматривают, перелистывают – стоя, прислонившись к дверным косякам и колоннам, сидя в креслах, либо взобравшись по лесенкам, приставленным к стеллажам. Большая часть литературы – на немецком и о Германии – история и современность, проза и поэзия, искусство, альбомы. На переводную – не натолкнулся. Нет, увидел Псалмы Давида на немецком, но не удивился: христианский люд, при всей своей многовековой ненависти к нам, евреям, почитает и читает псалмы нашего великого поэта. А книги Генриха Гейне или о нем – не обнаружил, назойливо, путая немецкий с идишем, пытал продавцов – как на подбор, рослых и приветливых юношей и девиц со взбитыми, словно сливки, русыми локонами.

Опаздывая на электричку Гамбург – Дюссельдорф, вприпрыжку и не оглядываясь бежал по широкой и прямой улице – от изумрудно-зеленой ратуши к Центральному железнодорожному вокзалу. Торопился – восхищенный нежданным свиданием с городом Гейне – Гамбургом и печалясь от необходимости расставания. Едва ли свидимся... Вдруг, словно кто-то окликнул,

остановился как вкопанный. Если забросила судьба в Гамбург, не пора ли вернуться к нашему Гейне и к его дядюшке Соломону, – давно мы с ним не встречались, а зря.

Долгое время – по капле и по крупице, по слову и предложению, по синтаксису и интонации – собираю я диалог, достоверный или вымышленный, кто как поймет, между двумя финансистами того времени – самим Ротшильдом и Соломоном Гейне. Разговор услышал я и записал в кабинете гамбургского магната: Соломону доложили, и он едва успел распахнуть дверь перед высоким гостем. Ротшильд вошел, стремительно и широко ступая, – по его модному отутюженному сюртуку, свежей накрахмаленной сорочке, гладко выбритым щекам, веселому блеску глаз – не скажешь, что человек только-только завершил утомительный путь в карете – от Парижа до Гамбурга. Они обнялись, и Соломон направился к угловому сейфу, где хранились документы.

– Оставьте, Соломон, я к вам не по нашим гешефтам, благодаря вашей дотошности они всегда в порядке...

– Так чем обязан? – Соломон разволновался, но его улыбка извечная, добрая, тонкая – не сошла с губ, – в послезавтрашний вечер наступает Песах, и мы с женой будем рады видеть вас на первом седере.

– Почту за честь, – откликнулся Ротшильд, его холеные пальцы уже ловко раскручивали тяжелую сигару, – друзья мне рассказывали, что первый седер вы, Соломон, проводите вдохновенно.

– Я вас слушаю.

– Третьего дня в фойе одного из парижских театров раскланялся со мной Александр Дюма и напросился в гости...

– Кто это?

– Дорогой Соломон, вы – счастливый человек, если не знаете великих мира сего. Дюма – его историческими романами зачитывается Париж и весь мир. Да и плодовит весьма: доверь он мне финансирование своих изданий – я забросил бы напрочь биржу.

– Не имею чести знать. Читаю лишь Священное Писание да деловые бумаги.

– Супруга моя пришла в восторг – сам Дюма... Правда, она не знала, чем потчевать гойского гостя, и остановилась на еврейской кухне.

– Похвально.

– После нескольких коньячных доз и бокалов шампанского, когда мы остались вдвоем, Дюма сказал...

– ...что любит евреев, что Бонапарт дружил с раввинами...

– Откуда вы знаете, дорогой Соломон? Именно так он и выразился.

– Милый Ротшильд, не забывайте, я прожил долгую жизнь и, увы, среди гоев.

– "Но, – добавил Дюма, – вы, евреи, восхищаете меня и своей взаимной выручкой, дружбой, преданностью, ваши утренние молитвы начинаются со слов любви к ближнему. Но есть у меня большой друг – поэт Генрих Гейне, со временем его имя будет среди великих, и он, смертельно больной, бедствует"... Так мне сказал Дюма.

– Генрих – старший сын моего покойного брата Шимшона. На первом седере я вас представлю его вдове... – Соломон медленно подбирает слова, его улыбка еще теплится, но румянец сбежал со щек, и они словно сливаются с его белой манишкой. – Если вы, милый Ротшильд, намерены, не скажу – вмешиваться, – вдаваться в подробности семейства Гейне, а это наша негласная тайна, могу поделиться: Генрих – тяжкая ноша нашего рода, он принес много горя – и своей матери, и всем нам.

– Но Генрих – родная кровь, еврей, – гость пытается вставить слово.

– Он принял лютеранство, его безбожные статьи – позор для всех нас, евреев. Гамбург негодует, мои клиенты не желают со мной иметь дело.

– Дорогой Соломон, не следует так волноваться... Кто из нас по молодости не творил глупостей! Да и обстоятельства могли подтолкнуть. Мои парижские друзья, евреи, говорят: мы гордимся Гейне, только его гений задарма гоям достался.

– Не люблю громких слов, – Соломон пытается расстегнуть золотую брошь на черном галстуке-бабочке, сдавливающем горло. – Я на Генриха не держу зла, любил его, как родного сына. Вот на этих руках я поднес его моэлю в день брит-милы. Я его научил словам Торы – в день его бар-мицвы. Все пошло прахом... И после всех его деяний – продолжаю помогать. Ежегодно он получает от меня четыре тысячи восемьсот франков. Понимаю, это крохи, более – не могу. В моем завещании...

– Б-г с вами, дорогой Соломон, живите до ста двадцати!

– Не получится, милый Ротшильд. Так о чем я?.. Да, в завещании, – Соломон семенит к сейфу, приносит бумаги, – читайте, шестая строка: Генрих Гейне – восемьдесят тысяч франков! (Так было в завещании, но когда спустя три года Соломон умер и Гейне получил официальное сообщение, в нем значилось – восемь тысяч, четвертый ноль словно рейнская волна смыла.)

– В моем доме зачитываются любовными стихами Генриха, – меняет тему Ротшильд, – эти прекрасные и трогательные куплеты распевает вся Германия, говорят – они посвящены одной женщине, но она отвергла его любовь. Сама или по чужой воле, вы не знаете, дорогой Соломон?

– Да, да, да, и я благодарен Генриху за его благородство – он не назвал ее имя в своих книгах. Эта женщина – моя старшая дочь Амалия.

– Амалия?! – теперь разволновался уже Ротшильд, зажег новую сигару, и она вздрагивала в его руке.

– Они дружили с отрочества, я не обращал внимания – дети, брат и сестра. И когда предупредила жена – пропустил мимо ушей. Но когда Генрих сделал предложение – сказал "нет!" В моем доме "нет" воспринимают без возражений. Не знаю да и не желаю знать, что между ними было. Амалия несколько месяцев не выходила из комнаты. Со мной не разговаривала, у меня болело сердце да и сейчас болит...

– Но отчего – нет?

– А вы, милый Ротшильд, отдадите родную дочь за беспечного прощелыгу, рифмоплета и неудачливого коммерсанта?

– Хас вэ халила! – отчего-то вспомнил Ротшильд древнееврейский.

– А за гоя, даже если со временем он станет этим, как его... вторым Дюма?

– Но ведь они любили друг друга!

– А, любовь! Она вспыхивает, как солома, проходит, и словно пожар пожирает окрестности. На днях мы беседовали с Амалией. Она сказала: "Папа, ты искалечил мою жизнь. Я люблю Генриха, если бы он позвал меня – улетела бы к нему. Но не зовет... И когда придет моя очередь выбирать судьбу дочери, я поступлю, как ты".

– Так сказала ваша дочь?

Такой вот разговор – по *гамбургскому* счету...

Ротшильд на первый седер не остался, но я там был, четыре бокала вина выпил, задавал вопросы Соломону. В Париже Ротшильд отыскал Генриха Гейне, предложил денег, но поэт из гордости отказался. Тогда Ротшильд заинтересовал его операциями на бирже, Генрих увлекся, но и эта страсть была без взаимности – Гейне прогорел. "Одна, но пламенная страсть", как сказал другой поэт в другой стране, была у нашего Гейне – он писал так, как никто другой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вынесенное в название этой главки русское слово, по неоспоримому ожеговскому определению, образовано от глагола *возвратить*, то же, что и *вернуть*, имеющего несколько смыслов или понятий: отдать взятое, полученное ранее или получить обратно потерянное, или заставить, или дать возмож-

ность появиться вновь, или обратиться к чему-нибудь вновь. Привожу в подробностях значение слова *возвращение* оттого, что, по определению соблюдающих Галаху переводчиков, оно является русским эквивалентом ивритского слова *тшува*, означающего – раскаяние, возвращение грешника ко Всевышнему. Главное в тшуве – твердое решение не повторять совершенного греха и включает в себя также сожаление о происшедшем и молитву перед Всевышним, в которой человек исповедуется в грехе и просит прощения за него. И еще одно дополнение, но не лингвистическое: тшуву искренне раскаявшийся еврей может произнести даже за несколько дней или мгновений до приобщения к отцам, и тогда она ему "засчитывается" небесами. Но лучше раньше...

Естественно, речь веду о Гейне. О его уходе от традиций еврейского народа, о противоречиях и разладе с религиозной родней, о принятии им лютеранства, о богохульных декларациях, о неприятии иудаизма и единого Б-га написаны тома исследований, и комментаторы, не смущаясь, смакуют каждую подробность. А о его возвращении, или тшуве – намеренное гробовое молчание, хотя Гейне сам посчитал необходимым объясниться безоговорочно, причем, подчеркну, не в салонной беседе или, как мы, шепотком на кухне, а единственно возможным способом, доступным честному профессионалу, – на типографских оттисках газет, на страницах своих книг, тиражируемых и поныне на языках большинства народов планеты. Гейне смотрел вперед, ему не без интереса и наше мнение. А мы, в советском галуте пропитанные до мозга костей безбожьем, скромно именуемым атеизмом, уже-ли мы вправе сегодня, уже на Земле Обетованной, оставаться безучастными к опыту тшувы, или возвращения Генриха Гейне? Он из своего далека остерегает, упреждает, докрикивается. Нам бы только услышать...

Но какова бы ни была личная судьба поэта, по каким бы трагическим стечениям обстоятельств он ни оказался отвергнутым или отброшенным от своего народа, он не мог или не имел права не вынырнуть на самую высокую волну прозрения или провидения. Были тому внешние причины или предпосылки? Естественно, это была вся его жизнь, трагическая и беспощадная в ежедневных потрясениях и подробностях. Так неисчислимые вешние потоки переполняют запруду и когда-то глухая плотина непременно прорвется, обрушится.

Но не следует забывать – Гейне был поэтом, его литературные шедевры возникли не на пустом месте, он, как и мы – великую русскую классику, впитал, словно с молоком матери, наследие мировой поэзии – Шекспира и Байрона, Гете и Шиллера, Данте и Петрарку, и богатейший многонациональ-

ный фольклор. Мне неведомо, когда, в какой год произошла "встреча" Генриха Гейне с поэтами "золотого века еврейской литературы", да и прочел ли он их на иврите или, как тогда говорили, на древнееврейском, или в переводах. Пока не отыскал ответ на вопрос – владел ли Гейне ивритом в такой степени, чтобы прочесть и постичь творчество своих предшественников - в оригинале? Вспомним, как Генрих "спотыкался", когда в день бар-мицвы читал отрывки из Торы. Но в последней поэтической книге "Романсеро", вышедшей из печати в октябре 1851 года, в разделе "Еврейские мелодии" Генрих Гейне воспел великое "золотое созвездие" еврейской поэзии – Иегуду Галеви, Соломона ибн-Гвироля и Моисея ибн-Эзру. Великий еврейский поэт Иегуда Галеви буквально потряс Гейне – даже спустя шестьсот лет, их разделявших, вобравших крестовые походы, изгнание евреев из Испании, христианские антисемитские бесчинства в Европе, он разглядел или услышал в великом собрате – еврея и современника, именно в такой последовательности... В своих "Еврейских мелодиях" Гейне попытался, правда, на свой лад, приобщиться к великой еврейской поэзии, которая до той поры была ему не знакома, но не чужда. Поэзия Галеви стала для Гейне наглядным уроком или упреком – национально-еврейские религиозные мотивы чередуются или сплетаются с чисто человеческими. Чарующая красота еврейской женщины, воспетая Иегудой Галеви, любовь к ней, даже отвергнутая, была для Гейне откровением. И в его лаконичной и искренней оценке Иегуды Галеви, брата по крови и поэзии: "Его поцеловал Бог" – слышится мне белая зависть.

Не от этой ли встречи – одновременно и нежданной, и словно свыше запрограммированной – с поэзией Иегуды Галеви началось возвращение, или тшува Генриха Гейне? Так, по крайней мере, мне видится из нынешнего Иерусалима.

Я не намерен по-своему истолковывать написанное в последние годы жизни Гейне – скрупулезно, бережливо, в печали и радости, в меру отпущенных сил и дара, *перечитывая* Гейне, в его публицистике, дневниках, мемуарах, письмах я отобрал и собрал воедино сказанное им о своем возвращении, или тшуве. Не все и отыскал. Заточенный в своей парижской "матрацной могиле", он посчитал *это* необходимым вышептать или выбормотать, продиктовать или выкричать:

"Я сожалею, что юношеское мое легкомыслие натворило столько бедствия... Стихотворения, хотя бы отдаленно заключавшие в себе колкости против господа Бога, я с боязливым рвением предал огню... Лучше пусть горят стихи, чем стихотворец..."

"Да, я пошел на мировую с Создателем, как и с созданием, к величайшей досаде моих просвещенных друзей, которые упрекали меня в этом отступничестве, в возвращении назад, к старым суевериям, как им будет угодно окрестить мое возвращение к Богу..."

"Высокий собор служителей атеизма предал меня анафеме, и находятся фанатичные попы неверия, которые с радостью предали бы меня пытке, чтобы вынудить у меня признания во всех моих ересях... К счастью, они не располагают другими орудиями пытки, кроме собственных писаний. Но я готов и без пытки признаться во всем. Да, я возвратился к Богу, подобно блудному сыну, после того как долгое время пас свиней у гегельянцев. Были ли то беды, что пригнали меня обратно? Были ли то несчастья, что пригнали меня обратно? Быть может, менее ничтожные причины... тоска по небесной родине напала на меня и гнала через леса и ущелья, по самым головокружительным тропинкам диалектики..."

"Я отказался от гегелевского Бога или, вернее, от гегелианского безбожья и на место его поставил догмат о действительном личном Боге, Сущем..."

"Дела евреев в сущности не известны миру. Думают, что знают их, потому что видят их бороды, – как в средние века, так и теперь они странствующая тайна. Она раскроется, эта тайна, в день, о котором говорил пророк, когда будет один пастырь и одно стадо, и их праведный, понесший муку за благо человечества, получит признание..."

"Если бы теперь не было евреев, люди бы, узнав, где он – ездили, чтобы пожать ему руку..."

"Моше-рабейну, Моисей – великий художник, который взял убогий росток и создал из него... великий, вечный, святой народ – способный служить прототипом всему человечеству..."

Скажу уже от себя: все - по воле небес, верю или надеюсь, что эти обжигающие, искренние строки, выдохнутые из огромного, истерзанного сердца поэта, ему "засчитаны" как тшува, или возвращение...

НЕ СКАЖУТ КАДИШ НАДО МНОЙ...

"Давно уже сняли с меня мерку для гроба, да и для некролога тоже, но умираю я так медленно, что это становится прямо-таки несносным... для меня и для моих друзей... Но терпение! Всему приходит конец. Когда-нибудь утром вы найдете закрытым балаганчик, в котором вас так часто посещали кукольные комедии моего юмора..."

Гейне умер 17 февраля 1856 года, без пятнадцати четыре утра, в своей парижской квартире – по авеню Матиньон, 3.

Ему не было и шестидесяти.

"В расцвете сил", написали бы в современном некрологе.

"В матрацной могиле" – задолго до смерти обозначил свою предпоследнюю обитель сам поэт, но это была лишь могила тела – прогрессирующий паралич, но не могила духа. Чего-чего, а духа – внутренней, моральной силы, уверенности, способности или стремления творить, противостоять унынию или надвигающемуся концу – Гейне было не занимать.

Еще утром 16 февраля, вперемежку с рвотами, обмороками, судорогами, поэт диктует, а к вечеру близкие услышали его настойчивые хрипы: "Бумагу, карандаш..." Гейне еще намеревался писать, следовательно, жить, нам не дано узнать последние строки, вспыхнувшие в его умирающем сознании. Так в огромном угасшем кострище еще изредка вспыхивает побегами пламени обуглившийся ствол рухнувшего дерева.

Читаю о предсмертной воле поэта – похоронить *без* религиозных обрядов, на могиле не произносить речей. Желание – неслыханное для верующего, для лютеранина. Нашел единственное толкование, для меня – неоспоримое: Гейне в душе, в ее тайных или явных хранилищах, всегда оставался евреем, и если неосуществимо быть похороненным по ритуалам родного народа, то пусть без религиозных обрядов, точнее – без христианских. И воля была исполнена.

20 февраля порывистый ветер с Атлантики раскачивал над Парижем тяжелые низкие тучи, дождь, домешенный снегом, загонял под крыши одиночных прохожих – понурая траурная процессия, человек сто мужчин и женщин, медленно двигалась к Монмартрскому кладбищу. За заколоченным гробом шли близкие и друзья поэта: жена Матильда Гейне (Мира), Камилла Сельден – его последняя возлюбленная, писатель Теофиль Готье, знаменитый Александр Дюма, немецкие и французские литераторы, несколько политических эмигрантов. Среди провожающих не было ни Амалии, ни любимой сестры Шарлотты, ни родных братьев – Густава и Максимилиана, – или им забыли сообщить, или они не посчитали нужным проститься.

С присущей ему неистощимой самоиронией Гейне предсказывал: "Монмартр будет моей квартирой с видом на вечность..." – его похоронили на высоком холме, откуда открывается вид на Париж. Из дюссельдорфского музея привез я редкое фото – надгробие поэта на Монмартрском кладбище: на вознесенном постаменте бюстовый скульптурный портрет Гейне из белого мрамора – гордая красивая голова, непривычно ухоженные кудри, коротко стриженная борода, долгий взгляд открытых, опущенных долу глаз, – нет, не

на Париж, а на черный мрамор подножья, словно мрачные мысли не отпускают и в том мире. Как я понял из музейного немецкого текста, надгробие установлено в 1901 году по проекту Альфреда Керра. И на нем лишь два слова – ГЕНРИХ ГЕЙНЕ.

Еще об одной – посмертной трагедии Поэта: рядом с последней обителью его, на фотографии отчетливо видны – под боком, впритирку – многочисленные погребения с символами христианского культа. Кресты, кресты, кресты. Увы, Гейне – не редкостное исключение среди евреев: тысячи тысяч наших предков, и моих дедов и бабушек, и мама, и папа, благословенна их память, до срока мытарятся на чужбине, на не своих погостах, в смерзшихся комьях чернозема, в недобром окружении христианских погребений. До срока – ибо по заверению наших пророков, с приходом Машиаха все евреи, в том числе и умершие, будут возвращены на Землю Обетованную. Непостижимо, но ведь все, совершаемое по воле Всевышнего, по Его замыслу - непостижимо для нашего сознания.

В течение полутораста лет после смерти поэта его почитатели, любящие и искренние, в различных точках планеты устанавливают его скульптурные портреты – изваяния из мрамора и металла, хотя, к слову, не в традиции нашего народа – изображение человеческих фигур на памятниках. О парижском надгробии я уже рассказал. На одной из площадей Нью-Йорка – "Фонтан Лорелея" с барельефом изящной чеканки. В Дюссельдорфе, на зеленой ухоженной лужайке, рядом с Генрих Гейне-Институтом отыскали мы с другом Гейне-Монумент, установленный в 1981 году по проекту художника Берта Геррешайма (1935), произведение искусства, но модернистского или сюрреалистического толка. Монумент сооружен к 17 февраля – 125-летию со дня смерти Гейне. Значит, помнят и любят. На бетонном основании – трехметровая запрокинутая бронзовая голова поэта, голый череп, несимметрично огромный, выпукло изогнутый нос, провалившиеся глубокие глазницы с закрытыми глазами, длинные волосы бороды окутывают нижнюю часть лица и опускаются на фундамент. От левой части черепа напрочь отсечено ухо, отброшенное, словно взрывом, на несколько метров от основания, но, по замыслу, неотъемлемая часть монумента. Как и крохотный барабан и две палочки. Еще одно поползновение современников осмыслить раздирасмый противоречиями образ поэта, но, подчеркну, не без любви к нему.

История памятника Гейне в Гамбурге, словно слепок с его горестной судьбы, могла бы стать отдельной увлекательной и трагической повестью. В Гамбурге молодой Гейне познал и радость первого глубокого чувства, и отчаяние отвергнутой любви, и громкую славу, а во время страшного пожара – погибли его рукописи, доверенные матери...

Статуя больного поэта работы датского скульптора Гассельриса украшала широкую площадку перед замком Ахиллейна на острове Корфу в Средиземном море, пока владелицей замка была австрийская императрица Елизавета, почитавшая творчество Гейне. Своим гостям она читала его любимые стихи. То ли по нагрянувшей бедности Елизаветы, то ли по иным причинам поместье купил Вильгельм II, не пожелавший, чтобы перед его глазами маячил этот "еврей-насмешник", но задаром его не отдал. Памятник купил Юлиус Кампе, издатель Гейне, и решил подарить его Гамбургу. После долгих проволочек – городские власти отказывались увековечить великого земляка – памятник Гейне был установлен в одном из рабочих районов: лучшего места для антисемитски настроенного окружения было не подыскать. Гейне, хотя и в металлической отливке, многократно оскорбляли, оскверняли непристойными надписями. Отчего-то я подумал, и не без горести: как же откликался на бесчинства своих товарищей вождь немецкого пролетариата Эрнст Тельман? И однажды ночью, тайком статую переволокли и установили в парке старинного района Альтона. Но и там к ней добирались "любители" поэзии Гейне.

В 1926 году скульптор Хуго Ледерер создал новый памятник – несколько лет он возвышался поблизости от местожительства семейства Гейне, но в 1933 году, с приходом нацистов и он был осквернен и разрушен. Именно вокруг него всю ночь полыхали огромные костры – в них немецкая молодежь, остервенело, со свистом, пританцовывая, швыряла книги великого поэта. Словно его самого сжигали заживо. Помните, в Дюссельдорфе мне пытался пояснить немец-старик: "Ведь Гейне был юде..." Великий их (?) поэт был и великим Юде. Лишь в 1982 году, чуть-чуть не поспев к 125-летию со дня смерти Генриха Гейне, в Гамбурге на ратушной площади установили новый памятник – по замыслу скульптора Вальдемара Отто – точное воспроизведение того, созданного Хуго Ледерером. Уже завершая свои записи о Гейне, я получил письмо от родной сестренки: в современном Гамбурге, во дворе одного из издательств, увлеченно исследующих творчество своего великого земляка, обнаружила она памятник Гейне, по версии, тот, от австрийской императрицы Елизаветы, подаренный городу в 20-х годах. Но пока это лишь гипотеза. Как и великий поэт, его копии скульптурные, в камне или в металле, обречены на ожесточенную ненависть!..

А на ратушной площади, над головами туристов и прохожих, разглядел я высокую, слегка сутулую фигуру поэта, в длиннополом темном пальто гамбургского покроя, в охватывающих голени сапогах – левой рукой он задумчиво и печально подпирал поникшую голову, из своего далека всматривался

в нас, его почитателей двухтысячного года. Какими мы ему виделись? Чем-то напоминал он мне скульптуру другого поэта, любившего свою родину "странной" любовью, – прощаясь навсегда с Москвой, пришел я и к нему, к его невысокому постаменту на Садовом кольце, у шумного истока улицы Ново-Басманной.

Последние несколько месяцев, не отрываясь от письменного стола, от клавишного пульта компьютера, – пишу о Гейне, думаю о Гейне, сутками напролет беседую с Гейне, точнее, *перечитывая* Гейне, утверждаюсь в главном: великий поэт был и великим евреем, если по молодости и утратил свои корни, то к излету жизни вернулся к своему народу. Однако погрешил я против истины, сказав – не отрываясь. На исходе пятницы, когда жена и невестка произносят благословения и зажигают субботние свечи, и их чистое и яркое свечение щедро наполняет и нашу обретенную израильскую обитель, и наши души, истосковавшиеся в галуте по вечным традициям своего народа, я поспешно и послушно прерываю свое клавишное постукивание. И так – до исхода субботы. Смею надеяться – Генрих Гейне не попрекнет меня в невнимании к нему, в суточном перерыве наших откровенных долгих бесед, – он сам любил этот великий седьмой день недели, когда к евреям не во сне, а наяву нисходит отдых плоти, высокое, ни с чем не сравнимое одухотворение – шабес, возникший последним, но задуманный Всевышним первым. Да и несколько прохладных субботних глотков плода виноградной лозы ему явно по сердцу – на восьмой день своей жизни он его отведал впервые, как и мы все. "Разве ты не читал стихотворение "Принцесса Шаббат" из моих "Еврейских мелодий?" – спросил он меня однажды: "Но потом, как вдохновленный, / возглашает громогласно: / лехо доуди микрас калле! / о гряди, жених желанный, / ждет тебя твоя невеста – / та, которая откроет / для тебя счастливый лик!.." Как говорим мы в молитве, вдохновенно и в миньяне непременно: выйди, друг мой, навстречу невесте, мы вместе с тобой встретим Субботу!..

Так сошлось – нынче, когда пишу эту главу, пауза в моем общении с Гейне увеличилась вдвое – вслед за субботой наступал день Девятого ава. Предание гласит: разрушение Первого Храма в девятый день месяца ава, на исходе субботнего дня да и "субботнего" года. И как две тысячи четыреста пятнадцать лет тому назад, в этом году наступление дня Девятого ава совпало с исходом субботы. Не следует напоминать читателю о суточном посте, трауре и глубокой сосредоточенности евреев в этот день. Он и без меня знает и соблюдает. Поведаю лишь об одном событии, которому был свидетелем... Вечером, когда наступило Девятое ава и уже прочли вечернюю молитву и книгу "Эйха", – к Яффским воротам Старого города, с трех

сторон Иерусалима – от улицы Яффо, от Хевронского шоссе, от гостиницы "Хилтон", наскоро припарковав машины или выплескиваясь из автобусов, стекаются тысячи и тысячи евреев. Людской поток, стремительный и возвышенный, печальный, разноголосый, сквозь еврейские и арабские кварталы движется к Стене Плача. Мужчины и женщины, молодые и старики, подростки и дети, малыши в колясках или на плечах отцов. Большинство - в черных шляпах и кипах, черных и многоцветных, вязаных. Отмечаю: у некоторых через плечо автоматы – узнаю своих земляков, поселенцев. Общий настрой – скорбь и приподнятость одновременно: еврейская душа соткана из печали и радости. Неожиданно в теснину каменного квартала врываются возбужденные громкие голоса – стайка молодежи что-то скандирует на иврите. Вслушиваемся: еврейский народ жив, еврейский народ жив... жив... народ... еврейский!.. Спасибо, мальчики, да разве мы сомневались?!

На огромной площади перед Стеной Плача – не протолкаться, не протиснуться. Медленно пробираюсь по пространству перед самой Стеной – на раскаленных за день, истертых веками камнях, на перевернутых стульях, на низких пластиковых табуретках, на коврах или подушках сидят мужчины. Не заглядывал, верно, так и на стороне женской. Сосредоточившись в кружки, кто по книгам, кто по памяти, скорбно, вполголоса, нараспев, отчетливо и чутко выговаривая слова, раскачиваясь, как в ежедневных молитвах, бородатые мужи и розовощекие отроки, и мальчишки пейсатенькие, читают священный текст книги "Эйха" – "Плач Иеремии" – как все тысячи лет в *этот* день. У некоторых – слезы. Прибиваюсь к одному из кружков, проглатываю накативший в горло ком, повторяю со всеми последние два стиха-пасука:

"Обрати нас к Тебе, Г-поди, и мы обратимся; обнови дни наши, как было прежде. Неужели Ты совершенно презрел нас, даже до крайности на нас прогневался?.."

В сплошном людском море – трудно не затеряться, не раствориться, но – и во сне не снилось – ощущаю свою сопричастность к скорбному и возвышенному настрою своего народа. И еще отмечаю: но мне за что, за что дарован мне Иерусалим? Из тысяч однокровников моих, мир озаривших душами своими, благодаря усилью их молитв, лишь я один с семьей в Иерусалиме. Это я недавно и нежданно начал приобщаться, еще только пытаюсь возвратиться, а они в далеком и страшном галуте, веруя и не отчаиваясь, многократно, из года в год в день Девятого ава повторяли сокровенные и обжигающие строки из книги "Эйха"... И в тот полуночный час печальный, у Котеля, я вспомнил вдруг преданье или миф о Иегуде Галеви. И нам сегодня – горестно и странно, и страшно, и тревожно от будничной возможности ожо-

га – притронуться, как к ране обнаженной, незаживающей, – к Стене Плача, а каково тогда ему, великому Иегуде Галеви – по преданию, в слезах и с благоговеньем успел он прикоснуться к святым камням, успел и выдохнуть дрожащими губами, как молитву, свою элегию: "Сион, неужто ты не спросишь о судьбах узников своих..." – и в тот же миг убит был – внезапно, сзади, исподтишка фанатиком-арабом, и кровавое пятно, по плитам стародавним растекаясь, напоминало долго и свежо о гибели поэта. Точь-в-точь в том месте, где стою сегодня. А Генрих Гейне, жадно и ненасытно вчитываясь в стихи своего великого предтечи, поэта и ортодоксального еврея, и о легенде его трагической гибели был наслышан, если уже я доискался. И сегодня – в день Девятого ава, незримо и недоступно моему взору, где-то они рядом с нами протискиваются к Стене Плача – два великих еврея-стихотворца, без которых немыслима наша поэзия.

Наш еврейский народ, великий и гонимый в веках, осознает свое непрестанное бытие в человеческой истории и бережет как зеницу ока в своей биографии или послужном списке незабываемые явления, и гордится именами, яркими и недюжинными. И Генрих Гейне – в первом ряду. Не сразу и мне случилось постичь. Что греха таить – многие, скажу так, крайне националистические евреи, по сей день не желают закрывать глаза на "измену" Генриха Гейне. Но есть и обратная сторона медали – теснейшую связь Гейне с еврейством охотно и с нескрываемой ненавистью выпячивают антисемиты всех времен и народов, в том числе и немецкие, избравшие его мишенью и в прямом смысле, сжигая, словно на кострах инквизиции, его книги, оскверняя памятники. Необходимо объясниться.

Никогда Генрих Гейне не был истинно немецким поэтом, таким, как, к примеру, Пушкин – русским. Да, он писал по-немецки, в силу жизненных обстоятельств проник в глубины современного ему немецкого общества, его политической и духовной (?) жизни, но, искренне переживая за судьбу Германии, особенно во времена потрясений-революций французских, Гейне осмысливал сугубо немецкие события мерой общечеловеческой. "Трещина мира прошла через мое сердце..." – написал Гейне, а немецкий поэт, будь у него дар Гейне, сказал бы: "трещина Германии". Тема отдельного исследования – влияние Гейне как немецкого поэта, на мировую поэзию. "Люблю отчизну я, но странною любовью..." – так мог выдохнуть лишь великий русский поэт Лермонтов, к слову, *один* в русской поэзии страданиями еврейского народа опечаленный. Даже ставшие народными песни на стихи Гейне, в первую очередь его "Лорелея" – менее всего воплощение немецкого национального духа и характера. И этого не могут ему простить антисемиты всех времен. В

этом я с ними "согласен", но лишь из своей любви к *нашему* Генриху Гейне. Нет у меня и тени сомнения в искренности любви к поэту достойной части истинно немецкой интеллигенции – и его современников, и все последующие годы – до нынешних времен. Благоговейно и восторженно, с нежностью и трепетом непритворным, порой и со слезами на глазах, читают его стихи, распевают песни на его слова, кропотливо и дотошно собирают его наследие и исследуют его. Полыхающие пожарища из его книг, осквернение его памятников воспринимали со стыдом и болью – для них, немцев, это темное пятно, и ныне – несмываемое. Осознаю – Генрих Гейне и *их* великий поэт, писал-то он по-немецки, а мы, многие, прочли его, увы, в переводах. Но трагедия Гейне – *наша* трагедия. Когда близкий друг Гейне – Александр Вейль, человек глубоко религиозный, случайно натолкнулся на его строки: "Keinen Kadish wird man Zagen... An meinen Sterbetagen..." – он заплакал. Мне неведомо, сказал ли он что-либо поэту... Но уверен, многие мои однокровники, как и я, присоединятся к его словам: "Евреи могут произнести торжественный кадиш по своему поэту, одному из многих великих борцов за человечность, которых евреи дали миру, но единственному – после библейских – великому поэту, которого еврейство дало мировой литературе..."

Смею надеяться – мои нынешние размышления прочтут в Израиле и непременно услышат в них, произнесут вслед за мной, наедине или стоя в миньяне, торжественный кадиш по *нашему* Генриху Гейне. Смею надеяться. Почту за честь...

Стелла Подлубная

КАЛЕЙДОСКОП С ОПТИЧЕСКИМ ПРИЦЕЛОМ

1

Ночами обнажается душа
в порыве полоумного стриптиза.
Упала маскировочная риза,
послышалось шуршанье барыша.
Вот взглядом плотоядным и хмельным
настырно призывает к откровенью.
И метроном болваном заводным
"лабает" онемевшему мгновенью.
Когда в солено-раненую грудь
клюв месяца залетного вонзится,
душа моя, ты только не забудь,
куда несет пархатый твой возница.
Она пронзает звездные бураны
и бережно зализывает раны.

2

И бережно зализывает раны
душа, презрев искусство десмургии.
Слова ее отрывисты и бранны,
а там – рукой подать до ностальгии.
И память разрисовывает вехи:

и нежность жал приписывает осам,
и кружевом становятся доспехи,
тепло лучей даровано торосам.
И каждый, кто открыл учебник, – "физик",
и каждый, кто мечтал когда-то, – "лирик".
Устав от расточительных коллизий,
душа себе слагает панигирик.
В зигзаге от волнений до нирваны
ее движенья танцевально-странны.

3

Ее движенья танцевально-странны...
Свирель судьбы поет душе гавот.
А у судьбы замашечки пираньи:
чуть зазевался – сердце прожует.
Оно еще не стало рудиментом,
как старенький червяк-аппендицит.
Но цвет души зависит от клиента,
судьба же может быть как антрацит.
Как их единоборство мне знакомо!
И, ежели природа нам не врет,
зла сила отступает (слава Ому!),
когда сопротивление растет.
Победных фейерверков антраша
смущают, неритмичностью греша.

4

Смущают, неритмичностью греша,
движения эпохи в пляске Витта.
То рвутся к власти урки-кореша,
а то и перекормленная свита.
Лояльностью пропитаны дела,
бравурному подыгрывая маршу.
И в раже "инородные тела"
отправят прохлаждаться на "парашу".
– Пора предел проверить бытием! –

Джордано Бруно вдалбливал бы внуку,
У сказочки из детства взяв внаем
Дюймовочки наскальную науку:
претят душе "ученые кроты",
пусть крестные пути ее круты.

5

Пусть крестные пути ее круты,
бредет душа без жалоб на одышку.
Бельмом луны вершина слепоты
ее поймала, словно на мормышку.
И так уж у людей заведено,
что звуки колыбельной – без аккордов.
Кудель моих дорог веретено
свивает постепенно в шнур бикфордов.
На финише воронку Бог предрек,
но близкие порой бывают глухи.
Покуда на бегущий огонек
слетаются "обиженные мухи",
душа отогревает всех золою,
но раненная словом, как стрелою.

6

Но раненная словом, как стрелою,
душа в тиши не ищет утешенья,
а потерпев утопиекрушенье,
становится язвительной и злою.
Должна на пике жизненного тура
диагноз ставить аутоскопия.
Найдет слова – вот вам литература,
а не найдет – так... психотерапия.
Расцвел иммунитет к фальшивым фразам,
во что бы ложь сусально не рядилась,
наивную любовь прикончил разум –
душа сдается Господу на милость.
Ночною одинокою порою
карабкается с верой к аналою.

7

Карабкается с верой к аналою
душа, от напряжения дурея.
Под нимбом, что вращается юлою,
увидела тщедушного еврея.
– Вам далеко, дружок мой, до могилы,
ведь тридцать семь – не возраст для "пинта".
Вот для души напев "Хава Нагилы",
а для желудка – хумус, тхина, пита,
а для молитв назойливых, мой странник,
вот вам из звезд сверкающая сфера,
магендавид – колючий шестигранник –
то якорь бедолаги Агасфера.
Стряхните грусть и путы суеты,
чтоб с Лекарем поговорить на "ты".

8

Чтоб с Лекарем поговорить на "ты",
настроюсь я на горькое леченье.
Дотошно, не стесняясь наготы,
бубню про день до умопомраченья,
чтоб указал, где устье и исток,
личина, личность, воля или клетка.
"Хай" или "хайль", "братан" или "браток"
подскажет трезвой логики таблетка.
И Лекарь суматошные года
в историю (болезни) запихает.
Бредет душа неведомо куда,
где смерть смердит и жизнь благоухает,
с пилюльными мотивами во рту,
в страданьях набирая высоту.

9

В страданьях набирая высоту,
взлетая от рождения до смерти,

инстинктами, присущими скоту,
душа не ограничится, поверьте.
Ее добудут Бог и Сатана
из некоего сумрачного лона.
Не в роскоши рождается она,
а в камерах О'Генри и Вийона.
Со временем утрачивалась прыть,
и тягости давили ей на плечи...
Я пробовала душу излечить,
но... начисто расшаливалась печень.
Кнут немощи грядущей гонит люто
до облачного Божьего приюта.

10

До облачного Божьего приюта
домчал бы вмиг "Голландец" мой летучий
да незадача: липнут к борту тучи,
холодной лавой выросли до юта.
Какого же рожна им было надо?
Нет, корчат в небе пакостные рожи.
И в кучевом скопленьи этих гадов
смеется над собой Веселый Роджер.
Тут облачные страшные драконы
тоскливыми дождями истекают.
За горизонтом праведней законы,
но душу в рай бесплатно не пускают.
За пользованье призрачной каютой
расплатится соленою валютой.

11

Расплатится соленою валютой
душа, не экономя капитал.
За толику покоя и уюта –
и пот, и кровь – процент не так уж мал.
Как смело утверждал астролог Глоба,
в руке судьбы игрив калейдоскоп.

Подобострастно стелется у гроба
спасительной соломы мокрый сноп.
Калейдоскоп с оптическим прицелом
осколками расстреливает день.
Цель праведника – светочная целла,
а критика – вот эта дребедень.
Душа, примкнув безропотно к гурту,
пересечет предельную черту.

12

Пересечет предельную черту
моя любовь. Когда ты в Лете сгинешь,
подарком замаячит скорбный финиш,
окручивая лентой паспарту.
И сколько ни гони любовь взашей,
она вцепилась хваткою паучьей,
но Черная Вдова любовью учит,
как цель вдруг превращается в мишень.
Из двух проекций сотканный эпюр
нас интригует нежностью нехитро.
Но после, зеленея от купюр,
лет к сорока сгорает весь, до фильтра.
Оставив на виске паленый след,
на краткий сон покинет белый свет.

13

На краткий сон покинет белый свет
душа, ворвавшись в святость негатива,
под ангельское пение мотива,
хотя и там пернатых этих нет.
Они всяк час готовы, как чекист,
осуществлять сбор перьев из подушек.
Как не подать, увидев этих "душек",
ведь каждый бородат и так речист.
Но их интересует лишь нектар.
Порханья – театральные, не боле.

А в жизнь мою въедается Тартар:
сплошное поглощенье пуда соли.
С дороги всех "хранителей", в кювет,
чтоб поутру разбиться... о рассвет.

14

Чтоб поутру разбиться... о рассвет,
я ночь крошу на острые осколки,
как черепки. У вечности на полке
скрывается от ветхости завет:
"Не выставлять волнения души
средь прочих экспонатов на витрину,
позывы откровения глуши,
пока не получил удара в спину!"
Стою с калейдоскопом на посту,
мирок притихший меряю саженью.
Доверив сокровенное листу,
едва ли доведется стать мишенью:
на нем, бразды приличия круша,
ночами обнажается душа.

15

Ночами обнажается душа
и бережно зализывает раны.
Ее движения танцевально-странны,
смущают, неритмичностью греша.
Пусть крестные пути ее круты,
но раненная словом, как стрелою,
карабкается с верой к аналою,
чтоб с Лекарем поговорить на "ты".
В страданьях набирая высоту
до облачного Божьего приюта,
расплатится соленою валютой,
пересечет предельную черту.
На краткий сон покинет белый свет,
чтоб поутру разбиться... о рассвет.

Марк Азов

В УЩЕЛЬЕ ПРОХЛАДНОМ

Ущелье называется Прохладное. Оно прячется в горных отрогах на краю пустыни Кара-Кум. Если сравнивать с пустыней, здесь, пожалуй, прохладнее.

Нас тут семнадцать гавриков, курсантов военного училища в Ашхабаде. Наша миссия называется командировка, а если проще – заготовка дров для пищеблока.

В котлах варится желтая водичка – "суп рататуй". Училище поспешно снабжает фронт свежеиспеченными лейтенантами. За шесть месяцев гаврик превращается в ваньку взводного (имя, овеянное бессмертным юмором и загробной славой). На обычном топливе пустыни – саксауле и кизяках, коровьих блинах, много нас не испечешь. Поэтому в ущелье Прохладном мы валим на дрова удивительные деревья с красной слоистой древесиной. Из них, говорят, получаются лучшие в мире карандаши.

Это тяжелые толстопузые стволы в полтора-два обхвата, это странные горизонтальные деревья: они торчат из отвесных склонов, как пушки из бортов фрегатов, они стелются в воздухе, тужась хотя бы голову задрать в небо, как положено порядочному дереву. По такому стволу не карабкаются, а ходят пешком, как по мостику. Спиленное, оно само, кувыркаясь, летит вниз к штабелям.

Но легко сказать – спиленное... Попробуй спилить это хитрое дерево. Оно, сволочь, не наше исконное добродушное бревно, которое само скажет куда ляжет. Толстенные стволы перевиты и перекручены, как канаты, волокна внутри дерева схлестываются одеревеневшими потоками, расставляя ловушки для пилы. Пила поначалу весело поет в мягкой аппетитной древесине, потом дерево ахнет, скрипнет, навалится на пилу – заклинит... Железо стонет, мы материмся, врубаемся топорами в красный древесный воск, вбиваем клинья, стараясь хоть как-то выручить нашу пилу. И вот снова топчемся

вокруг очередной извилистой гадины, гадая, с какой стороны ее пилить. И опять убеждаемся, что бог в этих местах не творил природу, а просто мусорил: ни смысла, ни дисциплины – изощренная бесконечность выкидывает свои коленца.

Да мы и сами сплелись с пестротой окружающего: мы уже не зеленый квадрат взвода в строю. Колючие заросли, камень и кора оборвали на нас обмундирование: мы ходим голыми, как в баню, только солдатский ремень на теле, и за ремнем – топор.

Я убедился, что не бывает двух одинаковых голых. К тому же мы обросли бородами – и наш повар, бывший артист, Крайнов придал бородам художественный смысл. Как мы рыдали от смеха, когда из-под бритвы Крайнова выходил первобытный голый интеллигент с чеховской бородкой, или солидный купец первой гильдии – не хватало только золотой цепочки через голое пузо!

Был среди нас и отшелушенный от доспехов рыцарь Дон-Кихот, и беломясый дореволюционный дворник, и обнаженный генерал Скобелев с двумя вениками на подбородке, а особенно много, если судить по бородам, всякого рода приват-доцентов, адвокатов и ренегатов каутских.

Всеми этими историческими бородами были украшены люди из различных мест, самых разных довоенных профессий – так нас переплела война. Я уже не говорю о возрастах: один – ровесник моего папаши, другой – совсем еще сопливый пацан.

Иван Крайнов – бывший артист. Засохин – бывший парикмахер с волжского парохода, Алеша Братухин – бывший вор, Нури Галиев – специалист по арабским рукописям.

Некоторые уже побывали на фронте, боевые регалии видны и на голых телах: то уродливо перерубленный мускул, то выпирающие мослы искривленных костей...

И ко всему мы уже привыкли, и ничему не удивлялись: ни карандашным деревьям, ни безлюдью этого странного места, ни собственной наготе, ни живучести своих искалеченных тел, ни даже тому, что здесь мы выливали из нор, ловили и жрали настоящих дикобразов...

Да, мы жрали дикобразов, делали из их колючек ручки для письма, а рядом с нашей кухней, в десяти шагах, проходила государственная граница с Ираном. Полоска вспаханной пограничниками земли, а дальше загадочная Персия, куда можно было переплюнуть окурок. И мы, когда надо по нужде, садились пятками к границе и этому тоже не удивлялись.

А удивлял нас только курсант Эпштейн.

Он заплутал среди нас, как в складках своей необъятной гимнастерки. Он стеснялся ходить голым и этим уже выделялся. Из вороха обмундирования свешивались ножки со сползающими пружиной обмотками (сапог Эпштейну не хватило, достались английские ботинки "улыбка Черчилля", второй фронт против нас, сбивавшие ноги в кровь).

Борода у него еще не росла, только рыжий кошачий пушок озарял его розовый кукиш-мордочку. Задники огромных ботинок, чапая, били, казалось, по отвисшей мотне штанов.

И если бы не уши, как у летучей мыши, то накрылся бы наш Эпштейн пилоткой до самых пяток.

Кто-то для смеха присвоил ему звание ефрейтора (поскольку Эпштейн был редактором стенгазеты. Редактор-ефрейтор, как показалось начальству, все-таки солидней, чем рядовой), но это его окончательно добило, потому что ефрейтор – ни то ни се: не командир, не солдат, а герой солдатских анекдотов. К тому же Эпштейн в ефрейторы никак не годился.

Ефрейтор, по определению начальства, отличный боец, а Эпштейн мог по приказу старшины часами искать под кроватями потерянный мулек от штыка, не зная, что мулек – это дырка, которую потерять невозможно. А однажды поутру Эпштейн явился на построение в одной обмотке, и вся королевская рать не могла бы сыскать вторую, потому что он обе обмотки умудрился незаметно для себя намотать на одну ногу.

Зато он имел незаконченное высшее образование: учился около семестра не то истории, не то литературе. Потому теордисциплины вроде устава гарнизонной службы глотал на лету. Когда следовал вопрос на засыпку: что делает часовой, если на штыке сидит воробей, – отвечал не задумываясь: "Производит три выстрела: два предупредительных вверх, третий – непосредственно в воробья".

Но что он действительно умел, так это давать советы.

И не было случая, чтобы по его совету пилу не заклинило. Правда, и сам он трудился с упорством обезьяны, которая хочет стать человеком: пила у него танцевала, гнулась и пела, как в цирке, и, наконец, заклинивалась... И тогда сам Эпштейн танцевал вокруг дерева, лупя топором то мимо ствола, то по несчастной пиле, то обухом по горбу напарника.

А ведь, кроме Эпштейна, у нас был план, задание... Лейтенант каждый вечер замерял складометры уложенных в штабель стволов. И, понятно, никто не хотел браться за пилу, если с другого конца к пиле был прикреплен Эпштейн.

Наш лейтенант Куркин, по прозвищу Туз Малиновый, страстный любитель фуражек и баб, применял к нему всю доступную педагогику: часами гонял "бегом", "ложись" и "по-пластунски". Не помогало. Студентик был способен на любое вредительство: то начинал маршировать с правой ноги, то его руки двигались противоестественным образом (у людей нога вперед – рука назад, а у Эпштейна руки, как пришитые к бедрам: куда рука, туда и нога).

Чему их там учили в университете, если Эпштейну не давалась элементарная логика: по команде "равняйсь" правое ухо должно быть выше левого...

Кончилось тем, что по команде Туза Малинового Эпштейн бегом и по-пластунски вдруг, ни с того ни с сего, удрал за границу.

Напрасно Туз Малиновый орал "отставить" – Эпштейна растрогали только слезы лейтенанта, когда тот умолял его вернуться во избежание, конечно, международного конфликта.

И правда. Туз Малиновый принял беглеца, как блудного сына, – назначил помощником повара.

Вряд ли наш повар Крайнов нуждался в помощнике, но зато Эпштейн отныне никому не мешал работать.

Да и повар-артист был доволен. С вечера он завалился спать, снабдив помощника подробной инструкцией:

– Нальешь воды в котел. Вскипятишь котел, выскоблишь-вымоешь, нальешь другую. Опять вскипятишь. Бросишь концентрат и сиди помешивай. Сварится – разбудишь меня, я сниму пробу.

Полночи Эпштейн мыл котел. А потом запнулся...

Как эту самую грязную воду вылить из котла? Ведь котел намертво вмазан в глину...

Рядом, правда, висел черпак. Крайнов вычерпывал воду черпаком и вымакивал тряпочкой. Эпштейн до этой истины не дошел.

Зато, как Архимед, изобрел рычаг. Рычагом вывернул котел из глины и опрокинул кверху донышком. Вода вытекла, но и печь развалилась. Сложить за ночь новую печь Эпштейну не позволило высшее образование.

Он поплакал-поплакал, уселся на донышко котла и до утра потом сочинял пессимистические стихи.

Когда утром обнаружилось, что жрать не будем, кинулись ловить Эпштейна... Но тут вмешался Егоров. Он сунул Эпштейну пилу и увел с собой. Егоров рискнул работать с ним в паре. На что надеялся Егоров, работая с Эпштейном?.. Он надеялся на себя.

Егоров никогда не был артистом, вором, парикмахером или специалистом по арабским рукописям: он был крепильщиком в шахте. Там он, конечно, только то и делал, что пилил, пилил кругляши, пока не угодил на фронт, дослужился до старшины, был ранен, охромел так, что ходил подпрыгивая, как козел, попал в тыл учиться на лейтенанта, и вот снова пилил...

И он первым сообразил, что связываться с подлыми стволами хитрых деревьев себе дороже, лучше пилить только ветки.

А кому лейтенант Туз Малиновый позволит пилить только ветки?.. Ясно, Эпштейну, который ни на что другое не способен.

И вот Егоров говорит Эпштейну:

– Будем делать армянские памятники.

И они пилили, оставляя за собой голые пирамиды стволов с ампутированными ветвями, что, собственно, и называлось армянскими памятниками. А ветки – скопища толстых змей – так выгибались и горбились, что штабель складывался пустой внутри. Но ведь Туз Малиновый замерял штабель не внутри, а снаружи. И Егоров да Эпштейн шутя-играючи давали норму. Одним словом, устроили себе курорт.

Так они сидели на дереве: Эпштейн – мордочка в рыжем кошачьем венчике – чуть повыше, Егоров - борода Емельки Пугачева в роли царя Петра Третьего – пониже, – и пилили очередную коленчатую ветку.

Над ними возвышались горы – древние богатыри в розовеющих шлемах, и под снежными усами одного из богатырей посверкивал золотой зуб. И больше ничего не напоминало этим двум жителям Русского поля, что они в родной стране, хотя до границы еще оставалось целых десять шагов. Тем более в России до самой Волги еще перекатывалась война. А здесь – азиатский ленивый покой, безлюдье, безвременье и гуляют дикобразы.

Пила то и дело выскальзывала из обезьяньей ладошки Эпштейна, но он этого не замечал, а Егоров как будто тоже: их отвлекал от дела третий товарищ по фамилии Евпатий Коловрат.

Эпштейн своими словами пересказывал Егорову довольно-таки увлекательное содержание древней русской повести о нашествии Батыя на Рязань.

Кое-что из этой повести Егоров знал лучше Эпштейна: он неоднократно бывал в Рязани, хорошо запомнил вокзал и ларек "Продукты". Но ему как-то не приходило в голову, что не с Запада, а с Востока, то есть считай отсюда, из глубоко тыловой Азии, навалятся на Рязань татаро-монгольские захватчики. Как-то само собой разумелось, что война приходит из культурных мест, из Европы. Но вот Эпштейн рассказывает, и Егоров видит, как перепахана белизна снегов под Рязанью огромными жерновами колес, как лохматые,

будто собаки, кони купаются в гнойной жиже и на бревенчатой городской стене мечется баба с дитем, хотя она и княгиня, Евпраксия...

Криком кричат немазаные колеса, кружат летучие мыши пожара, падают, треща, ворота, баба, хотя и княгиня, кутает зачем-то (долго ли застудить) дитя в полу шубы и с вскриком слетает со стены, чтобы, ударившись внизу о землю, "заразися до смерти"...

Почему "заразися"? Ведь не от болезни померла княгиня с дитем... Но церковь, построенную на этом месте, назвали Николы Заразского, а потом, переврали в Зарайского. И "заразися", оказывается, "поразить себя"... А может, чего-то путает Эпштейн. Откуда ему, рыженькому, все это знать?.. Тем более в Рязани живых свидетелей не оставили: на пленных и раненых навалили помост из бревен. Конечно, это Егоров понимает, – сосновых бревен. Сосна прямая, как свеча, пахнущая скипидаром, сладкая, легкая и добрая, какой теперь представляется вся довоенная жизнь... И этот сосновый помост, как плот на воду, плюхнули на живых людей... Какая, к черту, легкая, сладкая, довоенная сосна, когда хан Батый с пузатыми своими начальниками гуляют по шевелящемуся плоту, распивая кумыс!..

И все это пока мужик с бородой, как у Егорова, но почему-то боярин с поповским именем Евпатий, мотался по другим городам, по кабинетам каких-то князей, выпрашивая подкрепления, рвал на себе кольчугу.

Подкрепления не давали: каждый князь знал только свой район, а под помостом уже не кричали, и бревна не шевелились.

Егоров материл князей, выдергивая со злостью пилу из руки Эпштейна, а Евпатий давно уже махнул рукой на князей и записал себе тысячу добровольцев. Нашлись-таки добрые люди, которые не боялись войны, тем более какая в те времена была война: топором по башке мало кого достанут. Им бы парочку исправных пулеметов, тогда бы тут не было ни Батыя, ни орды, ни трехсотлетнего татарского ига.

А пока Евпатий (надо же такое поповское имя), а с ним и Егоров и тысяча добровольцев проходят сквозь бывшую Рязань. Тут уже ни монголов, пошли дальше, ни вокзала, ни ларька – одни трубы, черные трубы, как деревья с ампутированными ветками – "армянские памятники".

Ополчение проходит Рязань и идет догонять Батыя. Их всего одна тысяча активных штыков, вернее, топоров, а у Батыя тьмы и тьмы, а каждая тьма – десять тысяч голов, так что дело гиблое...

Но Эпштейн знает продолжение, у него, Эпштейна, все рассчитано: татарам пригрезится, будто это рязанские мертвяки-удавленники выползли из-под соснового помоста, чтобы догнать, впиться в горло, высосать из гадов все до кровинки – и такая тут начнется паника, что только подавай...

И мнится Эпштейну картинка в декадентском модерне начала XX столетия: летящие белые призраки в крылатых шлемах, простертые над ажурной вьюгой белые кони валькирий, и под мертвенно-белым Евпатием "конь блед".

А Егорову нравится тишина, и то, что по-новогоднему спускаются снежные хлопья, медленно, как на парашютах, и поле немерянное, не отрезанное никакими горами от белого света. Даже не верится, что ты почти дома, в европейской части РСФСР, которая до самой Волги пока под немцем. Можно смело хрустеть снегом, можно курить, не пряча огонька в рукав: авиации у хана Батыя нет и не предвидится в ближайшие столетия. Можно свернуть здоровую цигарку, прямо трубу, чтобы хватило покурить всем мертвецам, благо ожили. Вот они: Женя – помкомвзвода, убитый под Рославлем, и лейтенант-цыган, прошитый очередью днем позже, и двое радистов, накрытых прямым попаданием в ямке, и Шурка-санинструктор, которая подорвалась на мине, так что страшно смотреть, и даже брат Паша, возможно, совсем не убитый, а пропавший без вести...

Егоров свертывает цигарку из газеты "Правда Востока" и дает потянуть Эпштейну больше чем "сорок", почти пятьдесят процентов цигарки, и они не пилят, пока Эпштейн курит один за всех, кто не дожил до этого дня...

Потом они снова берутся за пилу, и Эпштейн продолжает живописать, как проснулся татарский лагерь и замер в страхе, когда в небе, со стороны Рязани открылась рана, истекающая густо-вишневой кровью, и черные тени рязанских удавленников хлынули из нее, и татары, деревенея от суеверного ужаса, покатились в снег, и опустели седла, и зарыдали лошади, и забились люди под рухнувшими шатрами, потому что русские рубили столбы, и заиграли замашные топорики, и один бессмертный покойник гнал перед собой тысячу, а двое – тьму!..

Но тут Эпштейн сказал, что хан Батый малость расчухался и приказал выставить против Евпатия артиллерию. Оказывается, у татар были такие деревянные машины, которые кидались камнями. И когда полетели в них каменные глыбы, Егоров понял, что и двум смертям бывать, и стало ему обидно. До того обидно, что надоела ему повесть о нашествии Батыя на Рязань. А возможно, ничего этого в жизни не было, включая и Коловрата с поповским именем Евпатий...

А каменные глыбы рушились, как порода в шахте. Вдруг что-то оглушительно треснуло и хлестнуло Егорова почему-то не по голове, не по горбу, а по "казенной части", и Егоров почувствовал, что висит в воздухе... А повисев несколько считанных мгновений, он трахнулся о землю все тем же многострадальным местом...

Эпштейн поначалу этого не заметил. Он, сидя на своей вткс, описывал рукой дуговые траектории, по которым летели снаряды стенобитных машин. Одной рукой он не справился – стал описывать другой, и вдруг обнаружил, что под ним нет ни Егорова, ни даже ветки, на которой тот сидел. Правда, исчезновение ветки его не удивило: в конце концов, для того они и пилили ветку, чтобы она упала. Но как получилось, что Егоров пилил ветку, на которой сидел? Должно быть, он намеревался со временем пересесть, но... Но слишком увлекся судьбой Евпатия Коловрата. И вот он уже поднялся со склона и спускает остатки штанов.

Эпштейн слезает с дерева.

– Не больно? – спрашивает он.

Вместо ответа Егоров поворачивается спиной и, пальцами доставая землю, подставляет Эпштейну молочно-матовый зад таких богатырских размеров, что тощему Эпштейну и не снилось.

– Там где-то застрял сучок, – меланхолически цедит Егоров, разглядывая Эпштейна промеж своих ног.

– Не вижу, – говорит Эпштейн: он считает неудобным особенно присматриваться.

– А ты обуй глаза, – сердится Егоров, – слепая курица! Ближе смотри, внутря заглядай.

"Заглядать внутря", тем более для Эпштейна, неэстетично, но все же он достает железную коробочку с очками, запрягает свои уши и, наконец, извлекает откуда следует довольно большую трухлявую палочку. Он держит ее двумя пальцами, отставив розовый мизинчик, а лицом активно выражает полнейшее пренебрежение к происходящему.

А вокруг уже, конечно, полный цирк: густая лошадиная ржа. Бывший вор с чеховской бородкой кажет золотую фиксу, блеет парикмахер, тряся бородой Дон-Кихота, даже абсолютно голый специалист по арабским рукописям озаряется девичьей улыбкой.

А все купцы, дворники, генералы Скобелевы, адвокаты, приват-доценты и ренегаты каутские буквально катаются по земле.

Повар-артист Иван Крайнов поднимает руку, как на римском форуме, и произносит речь в стихах (он может говорить в рифму хоть два часа подряд). Поэт торжественно предрекает, куда пойдет каждый, кто свяжется с Эпштейном. Куда пойдет каждый, кто свяжется с Эпштейном, и без стихов ясно. Но, судя по стихам Крайнова, путь туда пролегает через многострадальную Европу, которую поэт приплел не ради славы, а ради рифмы...

...Егоров подходит к Эпштейну. Сейчас он ему даст... Но он только протягивает Эпштейну пилу, а о нас говорит:

– Можешь на них положить. Кто они есть?.. Корифеи.

Корифеи на языке лейтенанта Туза Малинового – люди необразованные, серые, не способные даже собрать затвор.

И Егоров с Эпштейном снова сидят на ветках.

– Ну, – говорит Егоров, – рассказывай, что было дальше.

Егорова убили в Польше на реке Царев. Ночью трассирующий шмель сбил его со штурмового мостика...

А Эпштейн уже в Восточной Пруссии сослепу полез на минное поле, которое кто-то заботливо огородил проволокой, специально, чтоб никто не полез. Эпштейн же долго упрямо лез и лез через проволоку. Зачем? Что он там забыл на минном поле? Об этом уже некому рассказать...

Елена Минкина

В СЛЕДУЮЩЕМ КРУГЕ

"Стихи растут как звезды и как розы, / Как красота, ненужная в семье..." – писала М.Цветаева, объясняя свой естественный, природный дар. "А я пишу от боли... Вокруг меня много людей, живых и уже мертвых, – я их всех помню... И хочется успеть сказать обо всех, чтобы остались..." – это уже источник творческой силы чисто еврейский. Так писал о мудрецах Касриловки Шолом-Алейхем, так сросся со своей ушедшей Польшей Ицхак Башевис-Зингер и успевший по живым следам запечатлеть ее Бруно Шульц, расстрелянный вместе со своими героями в 1942 году на улицах Дрогобыча... Так сбивчиво, задыхаясь от переполняющих ее уходящих людских волн, говорит новая еврейская писательница Елена Минкина.

Злата Зарецкая

– В следующем круге, – говорит Севан, – в следующем круге я буду птичкой! Я буду порхать с ветки на ветку, петь песни, клевать зернышки, и все! Никаких детей, мужей, родителей, ничего, только песни и зернышки.

Она расхаживает между монитором и реанимационной тележкой, чуть пританцовывая и дирижируя себе пустым двадцатиграммовым шприцем. Это же надо иметь такие ноги в сорок лет!

– Сорок два, – говорит Севан, – уже полгода, как сорок два. Отделение открылось в июле, ровно двадцать лет назад, наш выпуск без конкурса шел, почти все – отличницы. Представь, престижное отделение, новая больница. Одни мониторы чего стоили! Даже мама гордилась и хвасталась соседям.

С мамой мне не слишком повезло. Хотя, конечно, нехорошо так говорить. Она у меня, кстати, из России, представляешь, вот только не помню, как город назывался. Мама требовала абсолютного послушания и очень любила порядок. Я один раз деньги потеряла, за танцевальный кружок. Конечно, это был совсем простенький кружок, уж какие у нас были танцы тридцать

лет назад, но меня учительница очень хвалила. Всегда ставила первой, правда, может быть, и из-за роста. Я ведь и тогда самая длинная была. И вот я потеряла оплату за месяц. По теперешним ценам шекелей пятьдесят, не смертельно, но приличные деньги, конечно. А мама сказала: "Ну что ж, раз потеряла, месяц ходить не будешь". Помню, еще соседка наш разговор слышала. Соседка у нас смешная была, толстая, как подушка, но добрая. Она мне эти деньги пыталась потихоньку в карман сунуть, но я не взяла, мамы побоялась. А на танцы больше так и не пошла, не знала, что учительнице сказать. А, невелика потеря. В моей-то жизни!

Тем более я вскоре влюбилась. Был у нас в классе мальчик, длинный-предлинный и носатый немножко, но мне очень симпатичным казался. И вот вижу, он на меня смотрит так задумчиво день, два, а потом и говорит: "Хочешь быть моей хаверой?"* Наверное, потому меня и выбрал, что я сама длинная была, ему под стать. Домой я его, конечно, не приглашала, другие времена были, а ходили мы на берег моря, в старую беседку. И он все пытался меня обнимать, даже кофточку расстегнул раз, только, поверишь, ему это так же не нужно было, как и мне. Просто положено, раз хавера, наверное, мальчишки друг другу хвалились. Так и закончился наш роман, к облегчению для обеих сторон.

А настоящий роман у меня начался в армии. Знаешь, с армией – это неплохо придумано. Сразу такая свобода начинается. Хотя и там, конечно, и послушание, и порядок, но не так, как под маминым присмотром, да с девчонок и меньше спрашивают.

Я, конечно, сразу заметила, что Эли на меня смотрит, кто ж этого не замечает, но еще недели две виду не показывала, а потом не выдержала, сама подошла. Такой он мне родной оказался, и все было хорошо, и что обнимает, и что кофточку расстегивает. А ты знаешь, где вся наша любовь проходила? В машине! У его отца "форд" был, старенький такой, горбатый, но мы его любили, как родной дом. Нас на выходные каждые две недели отпускали, и мы брали этот "форд" и ехали на берег моря. Ха, опять на море! А где тут у нас еще спрячешься, все – как на тарелке, и все друг друга знают. Конечно, не самое удобное занятие – любовь в машине да еще при нашем росте, Эли вообще был метр девяносто, но как-то приспособились, даже очень здорово получалось! Ты думаешь, я бессовестная, да? Нет, просто радостно вспоминать, какие мы молодые были, красивые. Вот я смотрю современные фильмы про любовь и все думаю, нет, у нас лучше было.

На медсестру я сразу после армии учиться пошла. До сих пор жалею, что никуда путешествовать не поехала, пропущенный кусок молодости! Представ-

* *Хавера – подруга, girl-friend.*

ляешь, махнуть куда-нибудь в Индию или в Австралию, без забот, без детей. Не очень было принято, не то что сейчас. А специальность мне нравилась – и с людьми, и не засидишься на одном месте, и платят прилично. А Эли поступил в колледж младших инженеров. Мы про женитьбу еще не думали, но просто надоедало каждый раз расставаться, да и в машине зимой холодно, а летом – духотища, не продохнуть. Сейчас молодежи намного проще, вон моя дочка уже полгода у своего хавера живет, очень с его мамой подружилась, представляешь! Вот так двадцать лет ее расти, а она потом мне только про его маму и рассказывает, какая она хорошая да внимательная. Я, правда, тоже очень со свекровью дружила. До сих пор раз в месяц к ней езжу.

Одним словом, мы бы, может, еще и подождали с женитьбой, но тут собралась замуж моя двоюродная сестра, маминой сестры дочка. И началась эпопея! Целый день только и разговоры, какой жених да какое платье шить, да какой зал заказывать, чтобы все родственники умерли от восторга. Точно как сейчас, только тогда других развлечений намного меньше было, по телевизору только две программы. Надоело мне на это смотреть, да и хулиганка я была порядочная, двадцать один год, что ты хочешь! Я и говорю Эли: "Что если нам тоже пожениться?" А он и рад стараться – давай, говорит, только раньше их. Побежали мы в раббанут и подали документы на двадцать второе мая. А у сестры моей на двадцать третье свадьба была назначена, еще полгода назад. Что дальше было, лучше не рассказывать! Мама мне всю жизнь простить не могла. А если разобраться, ничего плохого не случилось, просто две свадьбы подряд. Ей даже лучше, на платье сэкономила.

Мы решили в киббуце поселиться, Эли и сам из киббуца, да и откуда нам денег было взять на свой дом. К маме моей после той свадьбы лучше было не приближаться. Да, я тебе про отца совсем не рассказываю! Отца я очень любила, он такой веселый был и красивый, самый красивый из всех знакомых. Сейчас смотрю на него, и сердце обрывается, что жизнь может сделать с человеком!

Элинор ровно через год родилась, нам как раз по двадцать два исполнилось. Мы же с Эли одного года и даже одного дня, такое вот совпадение, неужели я не рассказывала?

Эли, конечно, ждал мальчика. Они все думают, что хотят мальчика, а когда через три года мальчик родился, он и скрыть не мог, что дочку больше любит, все ей позволял. А уж когда тинокет* наша появилась, тут окончательно стало ясно, кто его сердце завоевал. Ох и мамзера**, до сих пор из

* *Тинокет – малышка, младенец.*

** *Мамзер – незаконнорожденный ребенок, в переносном смысле – хитрец, пройдоха.*

всех веревки вьет! Вот тут особенно моя специальность пригодилась! Кто еще может себе позволить детей растить без всякой няни. А я три ночи в неделю брала дежурствами, а остальное время дома, и душа моя спокойна. И когда мне из полиции позвонили и сказали про аварию, ничего в моей душе не шевельнулось, вот ведь странно.

Я, помню, все думала, какие вещи собрать, родителям позвонила, чтобы отец за мной заехал, а мама осталась детей сторожить. И в дороге ничего я не чувствовала. Отец более догадливый оказался, все молчал, а перед самой больницей говорит: "Как бы большой беды не было, доченька". И только когда меня сразу к заведующему реанимацией повели, вот тут я и поняла, не зря десять лет сестрой отработала. Заведующий этот в глаза мне старался не смотреть. Ваш муж, говорит, в крайне тяжелом состоянии. Я только и спросила: "Он уже умер?" Тогда он так посмотрел на меня: "Да, – говорит, – на месте скончался, к нам доставлен без признаков жизни".

Я только сказала: "Проведите, я должна его видеть. И все меня оставьте". Он на каталке лежал. Голова набок повернута так неестественно, и один глаз приоткрыт. Я веки приподняла – зрачки разные, видно, удар сразу на голову пришелся. Понимаешь, мне очень важно было это увидеть, я тогда поняла – все, нет его больше. И еще подумала – вот сейчас раннее утро, значит, это последний наш с ним день*.

Сначала все мне хотелось киббуц оставить, но куда же деваться с тремя детьми, там у них и школа, и вся жизнь. Отец часто приезжал, сядет молча на кухне или мастерит что-то, и мне вроде легче. А соседок я отвадила быстро, не нужно мне было чужих слез да причитаний.

В это время у нас в киббуце еще одни похороны случились. Женщина умерла от рака, совсем еще молодая, двое детей остались. Но я почти не была с ними знакома, я же пришлая. Тут как раз Пурим наступил. Все веселятся, праздник, карнавалы, и поехала я своим детям костюмы покупать. Элинор уже десять исполнилось, Шаю – семь, даже малышке купила костюм медведя, хоть она и мало что понимала. Вот я иду прямо к школе с этими масками и шарами, а Элинор как закричит: "Мама, мамочка моя!", видно, и не ждала уже никакой радости. И вдруг смотрю, у одного мальчика глаза стали, как у раненого котенка, и я вдруг догадалась, что это той женщины сын.

– Ну что ж, – говорю, – пойдем с нами костюмы готовить, видишь, сколько бумаги цветной, на всех хватит.

---

* *По еврейской традиции покойника хоронят в день его смерти.*

Он и пошел, как привязанный. А часа через два за мальчиком этим отец пришел. Я его раньше видела, конечно, здоровенный такой, невозможно не заметить, но что мне до него было, да он и старше на восемь лет, и имя такое смешное Эзра, как у моего дедушки, одним словом, другое поколение. Сел он у меня в кухне, ровно на то место, где отец мой сидит, да так и промолчал до позднего вечера.

Костюмы неплохие получились, Элинор вовсе первый приз получила, но, я думаю, учительница ей подыграла, сирота все-таки. И мальчику тому дали первый приз, прямо хоть плачь от этих призов. А на следующий вечер иду я домой, я тогда и дневные смены стала брать, только чтобы в квартире одной не сидеть, а во дворе тот самый папаша, только теперь уже с двумя детьми, девочка у него была ровесница моего Шая, такое вот совпадение.

Какие пересуды были, лучше не вспоминать, но находились люди, что и сочувствовали, все-таки пятеро детей. Самое страшное, что родители мои Эзру не приняли. "Как же ты можешь, – говорят, – еще года не прошло!" Их больше беспокоило, что люди скажут, а может, они Эли жалели, кто знает. А меня знаешь кто пожалел? – Свекровь! Живи, говорит, деточка, да детей береги, ты ж еще молодая.

Но все это ерунда по сравнению с тем, что происходило у меня дома. Представляешь, пятеро детей, и все горем травмированные, и все ревнуют, как сумасшедшие. Старшие еще ничего, они и в школе дружили, а вот Шай с Эзриной дочкой просто жить никому не давали. И главное, умом я ее больше жалею, она девочка очень славная, добрая такая, а душа за своего паршивца болит. Он еще вскоре вытянулся, такой стал длинный да нескладный, сил нет смотреть. И Эзра его не любил, хоть и старался виду не показывать, видно, чувствовал в нем чужого мужика. Он-то сам больше всех ревновал, и к детям, и к родителям, и к соседям, а больше всего к покойному Эли. Не поверишь, до сих пор в день гибели Эли мы с ним ссоримся, а потом неделю не разговариваем.

Но самое смешное началось, когда малышка подросла. Она очень рано писать научилась, и вот стала мне излагать свои пожелания в письменной, так сказать, форме. Я с работы прихожу, а у меня на подушке письмо:

"Купить Лее красный карандаш, носки и писающую собачку". Это игрушка такая, наливаешь в рот плюшевой собачке воду, а она потом заднюю лапку поднимает и этой водой "писает". Сколько это замечательное изобретение стоит, лучше не говорить! А у меня двое старшеклассников, только успеваешь поворачиваться, экскурсии одни чего стоят, у Эзриной дочки месячные начались, значит, и лифчик надо покупать, и одежду другую, самый ранимый возраст для девочки, Шай каждый месяц из ботинок вырастает.

Одним словом, чего мне в жизни не хватает, так это писающей собачки! А на следующий день прихожу – стоит собачка и писает на полированную полку. Это Элинор купила, она тогда как раз деньги копила на права.

Но самое тяжелое случилось раньше, вскоре после Элиной гибели. Маму парализовало. Она после климакса сильно располнела, давление стало подскакивать. Сколько я ни боролась, но разве она послушает с ее-то характером, "химию зря глотать"! Отцу всего шестьдесят лет было, красивый мужик, высокий, только борода седая, мог бы еще пожить. Но он решил маму дома держать, никуда не определять, ни в больницу, ни в дневной приют. Решить-то легко, а она ведь все под себя, да и с головой у нее неважно стало, то кричит, то капризничает, как ребенок. И пришлось мне каждые выходные к ним ездить, стирать, памперсы менять. Отец опустился, растолстел, ничего его в жизни не интересует, ни я, ни внуки. Нет, ты скажи, сколько молодых людей у нас в одно мгновение погибает, а она все тянет. Сердце, видно, крепкое.

Ты, наверное, думаешь, какая я жестокая. Я и сама знаю, но детей жалко. Каждые выходные я их бросаю. Уж не говоря про Эзру. Знаешь, он меня на руках носит. Этакую дылду! Конечно, когда дети не видят.

Вот так и летит время, не оглянуться, не вздохнуть. Элинор уже из армии вернулась, скоро и сын Эзры заканчивает. Я только и мечтаю, чтоб наши из Ливана вышли, пока Шая не призвали. Да, ты поверишь, у моей малышки через месяц бат-мицва*! И ты думаешь, геверет** не составила список пожеланий? Вот, пожалуйста:

"Платье, как у Элинор, туфли (новые!!!), двадцать пять шаров и розовые занавески с оборками".

Я сначала рассердилась, а потом думаю, сколько там ткани нужно на эти занавески. А то будет обижаться, как я на свою маму. Вчера после ночи и сшила. Мне бы отдохнуть, спина не разгибается, мы как раз толстяка из пятой палаты переводили, чуть пуп не надорвали, а я сижу себе, оборки пришиваю. Розового цвета! Нет, знаешь, что я тебе скажу, в следующем круге я буду птичкой!

---

* *Традиционный у евреев день совершеннолетия девочки – 12 лет.*

** *Госпожа, барыня.*

Анна Маршик

СИНИЙ, КАК ТРАВА...

Я тогда очень любила. Это было густое чувство. Такое густое, что, погрузившись в него, было трудно пошевелить рукой или ногой. Даже вздохнуть полной грудью без всхлипа, не прерывисто было тяжело...

– Юлька, пожалей меня, – говорила мама устало и проводила тонкой рукой по лбу.

Аккуратные, но без маникюра ногти и два любимых кольца, надетых скорее по привычке.

– Бедная мамочка, – с охотой откликалась я и укладывала голову на ее кукольное плечико. Неужели оно было таким всегда?

Я помню, как она уносила меня в дом после прогулки. А я протестующе орала, вцепившись в это самое плечо, и оно казалось мне таким... непреодолимым...

– Ты же видишь, как сейчас тяжело, – говорила она, перебирая мои волосы. – Ты же умница.

И я протестующе застывала, и, откликнувшись на это, замирала над моей головой мамина рука.

– Юля! – говорила она на этот раз голосом учителя математики. – Ты же умная девочка. Ты не можешь не понимать. Тебе это не надо, Юля! – кричала мама мне вслед.

А я уходила в свою комнату. Я уходила от нее в себя.

Надо – не надо. Кто у меня спрашивал. Я вовсе не собиралась его любить. Он пришел в мою жизнь и стал необходимостью. Без него я бы скукожилась, как высушенная на солнце груша. Потому что без его любви... ну, это уже была бы не я.

– Горский еврей? – поджав губы, переспросил отец и, прежде чем я успела ответить, вынес вердикт: – Ни-ко-гда.

Наверное, так бы и случилось. Он умеет держать слово, мой папа. Но в это время в нашем доме поселились старость, раздражение и предчувствие беды...

Как-то поздно вечером позвонили дедушкины соседи. Мама говорила с ними минут двадцать. А потом молча оделась, собрала кое-какие вещи... И только после этого разбудила отца. Они уехали. А утром она позвонила мне и неестественно-спокойным голосом сказала: "Убери как следует в свободной комнате. Дедушка приедет с нами. Одному ему больше нельзя..."

Свободную комнату. Таковой можно было считать только кабинет отца. Я пожала плечами, вымыла там пол и застелила диван свежей постелью.

Они приехали через час.

Придерживая деда за плечи, мама ввела его в квартиру.

– Ну все, папа, приехали. Сейчас ты сможешь лечь поспать, – говорила она. И голос был неестественный и громкий.

– Не кричите, – капризно сморщившись, сказал дед. – Я хорошо слышу.

Это отстраненное "не кричите" настолько выбило меня из колеи, что я, открыв рот, надолго замолчала. Как чужой – "не кричите"...

Отец открыл перед ними дверь в кабинет и отвернул уголок пледа, чтобы удобней было укрыть.

– Сейчас, сейчас, – приговаривала мама, безуспешно пытаясь развязать шнурки на дедовых туфлях. Она торопилась, у нее не получалось. Отец нетерпеливо цокнул языком и присел рядом:

– Отойди, я сам.

Он не стал развязывать, просто два раза чикнул скальпелем по узлам.

Мама вздрогнула, как будто скальпель прошелся по ее рукам.

Я вышла из комнаты, отец вслед за мной.

– Когда в следующий раз будешь стелить *эту* постель, хорошие простыни оставь, пожалуйста, нам.

Зазвонил телефон, и я кинулась к нему, забыв о том, что слова отца задели меня как-то неприятно... Но это был не тот звонок, которого я ждала.

– Мам, это тебя.

Уже в своей комнате я поймала себя на том, что не могу побороть в себе что-то неприятное. Как будто яблочная кожура свернулась острым клинышком и вонзилась в десну между зубами.

"Что же это такое?" – напряженно стараясь поймать шустрое ощущение, думала я с закрытыми глазами.

А потом мама, выглянув из кабинета, попросила отца:

– Яша, дай, пожалуйста, таз!

И я все вспомнила. Что-то про постель... Ага! Отец говорил об этом так, как будто мне придется стелить ее не один раз. Значит, дед остается в кабинете.

Я оглядела свою комнату и поплотнее закрыла дверь. Ну, в кабинете - это не здесь. Лежала на тахте, подложив под щеку фотографию Давида и думала о платье, которое он купил мне для встречи с будущей свекровью. Дорогое, бледно-сиреневое, закрытое. Я такие не носила.

– Видишь? Еще ничего нет, а ты уже должна себя перекраивать, – критически разглядывая платье, выговаривала мне мама.

Я знаю, что ей нравятся такие фасоны, но теперь она в этом не признается.

– Ну мне же не трудно надеть его один раз, – пожав плечами, возразила я. – Нужно уметь налаживать отношения с будущей семьей.

– Это налаживание отношений? – отмахнулась мама. – Просто способ тебя согнуть. Вынудить на унизительную лесть! И вообще!..

Она приложила к себе платье и подошла к зеркалу.

– Вот ты говоришь "один раз", а в семье не бывает ничего одноразового.

Я подошла к ней и поцеловала в кончик носа.

– Мамочка, тебе очень идет это платье.

А потом опять был звонок и я бежала к телефону, и, клокоча где-то у самого горла, меня обгоняло мое собственное сердце...

Изменившаяся жизнь моих родителей не задевала меня. Нетрудно ведь зайти в аптеку по дороге из университета или забрать из оптики отремонтированные очки. А постель *ему* я больше не стелила. Теперь стопки с его пододеяльниками и простынями лежали на одном из стеллажей вместо книг.

– Отнеси все это в корзину, – просила мама, указывая на белый холмик у дивана, а я брезгливо выгибала губы и, спрятав руки за спину, капризно тянула:

– Ну-у-у...

– Оставь ее, – спешил мне на помощь отец. – Я сделаю то, что нужно.

И перед тем как взять белье в руки, тщательно закатывал рукава рубашки.

Дед не давал папе повода себя любить и, случалось, поддевал его даже сквозь затянувшее сознание бельмо.

– Он фальшивит! Фальшивит! – визгливо вскрикивал дед, стоило отцу прикоснуться к клавишам моего органа.

Это выходило не специально. У него был абсолютный слух, а отец научился играть, уже будучи взрослым. Чтобы покорить мою маму.

– Пап, ведь ты тоже не подходил дедушке и бабушке в зятья. Ну ты-то можешь меня понять? – ластилась я к нему.

– Именно поэтому, – целуя меня в лоб, рассеянно говорил он.

– Ну папа!

– Именно поэтому, – повторял он, поднимаясь с дивана, и лицо его становилось таким угластым, что, казалось, нельзя провести по щеке ладонью, не поранившись...

– И заметь, в данном случае и ты не подходишь им, и он не подходит нам... Таты – это другой мир, в котором тебе не место!

Я знала, что не стоит возражать отцу, просто уходила к себе в комнату, падала на тахту и, прижавшись щекой к фотографии Давида, вспоминала слова моей сведущей подружки: "Не знаю, как у татов, но у осетин нет синего цвета и зеленого... есть только зеленый. И они говорят: "Зеленый, как трава" или "Зеленый, как небо". Так и различают. "Зеленый, как его глаза", – думаю я, а потом начинаю сомневаться: "зеленый, как трава", или, может быть, все-таки синий...

Рано утром нас всех разбудил телефонный звонок. Я дернулась было по привычке, но потом подумала, что вряд ли Давид мог мне звонить так рано. Он старался не раздражать моих родителей. "К чему им нервничать? В какое время тебе обычно подруги звонят? Часов в шесть вечера? Отлично! Ну вот и я буду так звонить... Люблю тебя. Пока..."

В общем, это было не наше время, и я с удовольствием натянула на себя одеяло.

А мама в гостиной взволнованно кричала в трубку:

– Да, дорогая, спасибо! Да, мы его поздравили. Что? Поздравили, говорю. Валенька! Ты меня слышишь? Папа не дома, он у меня... Да... у меня...

Последние слова смялись в глухие рыдания. А я (теперь самой страшно своего туподушия), слыша эти рыдания, спокойно и сладко дремала.

Мама потом вошла ко мне в комнату и, всхлипнув, присела на мою постель.

– Звонила Валя, – сдавленно сказала она.

Я подвинулась, и мама легла рядом, притянув мою голову к себе.

– У деда был день рождения... позавчера... Валя нервничает. Она звонила к нему домой, никого не нашла... Юлька, а ведь я даже не вспомнила. Думала только о том, как бы пригласить на дом того молоденького врача... Он был такой доброжелательный и серьезный...

Мама что-то спрашивала, говорила, а я, прижавшись к ней, спала. И мне снились глаза Давида, его крупные, красивые губы и небо, синее, как трава... или трава, зеленая, как небо.

Звонок, еще звонок. Моя жизнь была похожа на некрасивое ожерелье. Суровая нитка ожидания, на которую нанизаны стеклярусные бусины звонков.

На тот раз звонили в дверь, и я открывать не пошла. Но стоило маме щелкнуть замком, как я поняла, что все-таки стоит выйти. У мамы и покойной бабушки был такой характерный, один на двоих громкий вздох. Он выражал и удивление, и испуг, и радость.

Мама, видимо, вздохнула, как только заглянула в глазок.

Когда я вошла в прихожую, она растеряно обнимала беленькую старушку. А когда старушка подняла лицо от маминого плеча, пришла моя очередь растеряться.

– Валенька?

Она улыбнулась мне так, что я сразу вспомнила, как в далеком "непомнюкогда" широко раскрывала рот, а Валенька протягивала мне ложку свежего, прозрачно-желтого варенья, в которой маленьким айсбергом дрейфовал кусочек белого хлеба...

– Это ты, Валенька?

Она улыбнулась еще шире и, оставив маму, пошла ко мне, вытянув руки:

– Я, детонька, я.

Валенька была низенькая, и мы с мамой удивленно переглянулись поверх ее головы.

– Откуда ты? Почему не позвонила? Мы бы тебя встретили.

Мама подняла аккуратный бежевый чемодан и посмотрела на Валеньку с грустной нежностью.

– Господи! Как ты нас вообще нашла?

– А спрашивала, детонька, – ласково ответила старушка. – Язык до Киева доведет...

Она взяла из маминых рук чемодан.

– На каком автобусе добираться из аэропорта, мне подсказала одна женщина, такая приятная, тоже по-русски говорит... А потом я к одному старичку подошла... С ним мы по-немецки... Детонька, – обратилась Валя к маме, перебив саму себя. – Детка, в какой он комнате? Пошли туда...

Мама осторожно приоткрыла дверь в кабинет и заглянула в щелку. А Валенька не стала заглядывать, мягко отстранила маму и вошла. Уже из комнаты я услышала:

– И чемодан, детка, чемодан неси сюда...

Она не сказала, на сколько приехала, а мама не спрашивала.

– Если бы не Валя, мне пришлось бы что-то решать с работой, – сказала она отцу, по-детски ковыряя пуговицу на его рубашке.

А я ничего не сказала. Я ждала звонка, после которого должна была выскочить из дома и бежать по лестнице, на ходу застегивая жакет.

Давид ждал меня на набережной. И в руках у него была большая сумка, в которой лежал старый вязаный плед. Очень теплый. Его мы стелили на скамейку и сидели, прижавшись друг к другу, как замерзшие попугаи-неразлучники...

– Как бомжи какие-то, – прижимая меня к себе, ворчал Давид. – Можно подумать, у нас ничего нет...

– Ты так говоришь, – улыбалась я и проводила пальцем по его тонкому носу, – как будто в действительности у нас что-нибудь есть.

Давид кипятился:

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ни-че-го, – по слогам тянула я и целовала его в губы.

В действительности у нас не было даже общих друзей, в доме которых мы могли бы провести время.

– Ничего, – печально вздыхал он.

А я терлась о его плечо и говорила детским голосом:

– Давидуш... Зато море...

– Да, – соглашался он. – Зато море.

И, подойдя к темной полосе мокрого песка, бросал в клочковатую волну разбитую ракушку...

А дома был запах стирки. И Валенька ходила по коридору. То со стопкой белья, то с тарелкой протертого супа... Она умудрялась быть бесшумной и почти невидимой. Но папа, слишком долго строивший свой домашний мир, ее не принимал.

– Я хочу вернуться в свой дом, в свою жизнь, – сдерживая голос и эмоции, ворчал он, закрывая за собой и мамой дверь спальни. – Это моя, наша квартира... и тут должна жить только одна семья.

Дверь была новой и закрывалась плотно. Я не слышала, что отвечала мама. Наверное, оправдывалась. В то время она чувствовала себя виноватой почти всегда. Теперь я не понимаю, как так сложилось, но с Валенькой я почти не разговаривала. А ведь было время, когда мы с ней были большие друзья. У меня до сих пор хранятся вырезки из журнала "Работница", рецепты, косметические советы, а главное, куклы. Бумажные женщины и одежда для них, закреплявшаяся на бледных покатых плечах. Все это – вырезаннос, аккуратно запакованное в самодельный конверт, – Валенька высылала мне каждый месяц в течение многих лет. Родители выписывали только толстые журналы. Они читали их взахлеб, за обедом, в туалете и лежа в ванне... Но ведь для ребенка ничего интересного в таких журналах нет...

– Приятного аппетита, – сказала Валенька нам с отцом, вытащила из духовки печеные яблоки, положила два в синенькую эмалированную мисочку и ушла.

Отец гонял по тарелке зернышко кукурузы...

– Слушай, а эта... Валенька, каким боком она деду родня?

"Как они похожи, – думала я, лежа на своей тахте, по обыкновению положив под щеку фотографию Давида. – Как все-таки похожи папа и Давид".

Сейчас мне смешно становится от того, какой мудрой и проницательной чувствовала я себя тогда.

Но папа и Давид действительно были похожи. Например, они оба не верили, что человека можно крепко любить, если он не кровная родня. Ну, исключение – муж или жена...

– Я не хочу никакой помощницы по дому! – отбивался отец. – Мы с Юлькой тебе всегда помогаем... Не нужен нам в доме чужой человек!

– Помогаете вы мне, как же! – возмущалась мама. – Весь дом на мне, и все тяну я одна! Найдем хорошую, с рекомендациями женщину...

– Все эти истории про преданных домработниц... – морщась, отмахивался отец. – Драматургия... Ерунда!

– Я не широкий человек. Могу родителей любить, брата... и тебя, – говорил Давид.

Именно в такой последовательности. И меня это не обижало. Может, потому, что я умела разглядеть что-то в его глазах... зеленых, как небо... или синих, как трава?..

– Мам, а бабушка не ревновала к деда к Валеньке? – забравшись в ванну и подав ей мочалку, спросила я.

– Нет, конечно, – беспечно ответила мама, и крепко, но нежно провела мочалкой по моей спине. – С чего ты взяла?

Я передернула плечами, пенные струйки поползли по спине и стало щекотно.

– Ну, они вместе работали... Ты же видела фотографии в бабушкином альбоме?

– А что фотографии? - спросила мама и, как маленькой, велела: – На потолок смотри, а то пена в глаза...

– Там много групповых... – зажмурившись, сказала я. – Все неотличимые друг от друга... в белых шапочках и халатах. А в центре хирург Болотин со своими знаменитыми усами и по правую руку его медсестра...

– В жизни деда, - будто размышляя вслух, проговорила мама, – было только две страсти – его работа и его семья...

– Ну, а Валенька – это его работа... Ай, не лей на меня... горячая вода!

– Валенька – друг семьи, – твердо сказала мама. – И другом была всегда... Юлька, не брызгайся! Я и так мокрая вся!

– Да, но ведь можно быть другом семьи и... – я кивнула на дверь и перешла на шепот. – Но ведь она все бросила и прилетела...

– Валенька не один раз могла воспользоваться случаем, – возразила мама и расстелила на полу полотенце. – Становись сюда... Ты ведь знаешь, бабушка была при смерти, когда меня родила... Кто ее выходил? Кто меня нянчил? Кто деда, от горя обезумевшего, поддержал? Она, она и только она.

– Ма, что ты на меня так смотришь? – смущенно поводя плечами, спросила я.

– Красивая, – подавая мне мохнатый халат, сказала мама и сжала губы так, чтобы скорбь заплескалась в уголках. – С такими данными ты могла рассчитывать на любого мужчину! Любого! А ты... Ну что, что ты в нем нашла?

– Юлька, – тихонько отозвал меня в сторонку отец. – Что еще за ящик с землей эта... Валенька в дом принесла?

– Так травка же, – погладив маму по щеке, пояснила она. – Он траву любит. Все говорил: "Больным полезно, чтобы рядом была трава". Да ты зайди, детонька, посмотри. В больнице перед нашим отделением такой был ухоженный газон... такая густая трава...

– Газон? – растерянно улыбнулась мама и тут же сникла, натолкнувшись на тусклый взгляд отца.

А Валенька ничего этого не замечала. Дед проснулся, и нужно было дать ему лекарство. Темно-коричневые пузырьки, мельничка для таблеток, поильник, мензурка из толстого стекла... Привычная ей обстановка, привычные для нее дела...

– Послушай, это уже ни в какие рамки не вписывается, – раздраженно журчал отец. – Я понимаю, ситуация тяжелая, она тебе дорога, но сколько можно? Там вообще есть какая-нибудь семья?

Я не должна была слышать этот разговор, потому что отец замолчал и мама тренированно улыбнулась, когда я вошла. В детстве я таких ситуаций стеснялась. Но к тому времени, вероятно, уже переросла, потому что довольно резко спросила:

– Это я не вписываюсь ни в какие рамки, папа?

Мама вздохнула, будто собиралась что-то сказать, но передумала. Отец надулся и отвел глаза...

А я, уже не чувствуя себя столь уверенно, добавила:

– И ты, папа, отлично знаешь, что не *там*, а *у него* есть семья...

Мама резко поднялась со стула и вышла из комнаты. Она была такая... обыкновенная в своем голубом халате, а вечерняя питательная маска не скрывала несчастного выражения лица...

На кухне за столом сидела Валенька. Перед ней стояла швейная машинка (и где она ее раздобыла?), а вокруг, заломившись острыми складками, какая-то белая ткань...

– Что это ты? – привалившись к косяку, спросила я.

– Чехлы на мебель шью, – приласкав меня взглядом, сказала она. – Дедушка чистоте большое внимание уделяет. А на белом любая помарочка видна...

Я мешать не стала. Тихонько к себе ушла. "Дедушка уделяет большое внимание чистоте"! Дедушка не помнит, как его зовут. Господи! Сумасшедший дом! Им тут всем помощь нужна!

Перед сном я не стала мыться. Мои губы, щеки, волосы хранили его прикосновения... Все это запросто могла уничтожить вода... Интересно, а какой же на том языке будет вода? Синей, как небо, или зеленой, как трава?..

– Пусть даже не мечтает? Не добьется! Мразь! Ничтожество! Уркаган! – этот визг разбудил нас глубокой ночью. Мне показалось, что кричит какая-то птица. Но я не вскочила, замерла под одеялом, как заяц в высокой траве.

А мама уже бежала в спальню деда, теряя на ходу шлепанцы.

– Что там случилось? – это требовательный голос отца. И тут же Валенька, успокаивает маму:

– Ничего, детонька, ничего. Ложись спать... Я сама...

Сажусь в постели, укутавшись в одеяло и начинаю впитывать домашние звуки. Против желания, все в себя.

– Ну успокойся, прошу тебя!

Это у двери в ванную стоит мама.

– Я понимаю, это тяжело, неудобно, но... ведь это... Он не тебе кричал... Господи, открой! Слышишь?

Мама легонько стучала в безразличную дверь.

Я знала, что, запершись в ванной, отец переваливается с пятки на носок, знала, что смотрит на себя в зеркало, прищурив серые глаза и закусив нижнюю губу. У него были красивые, крупно вылепленные губы, тогда мне казалось, что форма их безупречна...

– Такой он у вас красивый лежит, – заглянув в белую дедову комнату, сказала маме соседка.

Я тоже заглянула туда... Белые чехлы на кресле, стульях, даже на раскладушке, стоящей в дальнем углу. И ящик у окна. Стоит так, чтобы видно было с дивана. И в ящике трава.

На самого деда я смотреть не стала. Знала, что у него тонкая шея, сборчатая, как сползший чулок, и белая щетина, как изморозь, на коричневых щеках... Я с неприязнью взглянула на эту тетку. Всегда знала, что она неискренняя, но чтобы кощунственно так...

Но думать об этом было некогда. Так далеко от нашего дома набережная. И там, со своей большой сумкой, ждет меня Давид...

Подходя к нему, я всегда внимательно вглядывалась в эту сумку, стоящую у его ног. И робкая надежда выглядывала из засады... А что если сумка набита его рубашками, футболками, джинсами? Что если из кармашка выглядывает прозрачный пластиковый футляр с зубной щеткой? Что если он в одну руку возьмет сумку, а другой обнимет меня?..

– Пойдем, – скажет Давид.

А я удивленно, восхищенно и доверчиво загляну ему в глаза:

– Давидуш, куда?

А он беззаботно махнет рукой и скажет:

– А хоть к посредникам квартиру искать... хоть еще куда...

И я бы, честное слово, пошла.

Но сумка у его ног стояла скукожившись. И бока у нее были впалые, как у голодной дворняги... Только верный старый плед на дне. Как всегда.

– Подожди, я должна его покормить. Валенька в аптеку ушла.

Голос у мамы был растерянный. Она помешивала протертый суп в тарелке и старалась оттянуть свое появление в дедовой комнате.

Папа тщательно мыл посуду. Я сняла туфли и тихонько так к себе прошла...

– Алюминиевая ложка? Кто *этим* ест? – раздался высокий и до странности начальственный голос деда. – Это вредно! Это знают даже плебеи! Вы хуже плебеев...

– Папа!

Я услышала, как тяжело брякнулась на пол тяжелая мельхиоровая ложка, которой он ел много лет.

– Дедушка любил посуду, – рассматривая приготовленные мне в приданое сервизы и наборы, говорила мама. – Знал в ней толк и всегда выбирал сам...

– Шарлатаны забираются высоко, но никогда до самой верхушки...

Дед не то всхлипнул, не то хихикнул.

– Он яблоко со стола ворует! Яблоко со стола!

– Ну, хватит, – забрав у мамы тарелку и опустив в нее другую ложку, сказал отец. – Тебе его не накормить, давай я...

Ей не хотелось выходить, отец начал аккуратно кормить деда с ложечки. А тот между звонкими глотками кричал о плебеях, которые отращивают на мизинце длинный ноготь, которые едят со сковородки или с ножа... И мама не смогла остаться в его комнате. Заплакала и ушла.

Я не знаю, как долго это продолжалось. Голодное, по-детски жадное чавканье деда и твердые зрачки отца.

Я очнулась, когда загустевшее напряжение вспорола светлая полоса.

Валенька вернулась. Вошла в комнату, вытирая руки, остановилась перед отцом и мягко так у него тарелку отобрала:

– Большое спасибо, теперь я сама...

Он тихонько вышел, попятившись. А Валенька заняла его место и, ласково приговаривая что-то бессмысленное, кормила бунтующего деда. Было совсем незаметно, что она переволновалась. Только капелька супа на рубашке деда... рука дрогнула, вот она и пролила...

Телефон зазвонил неожиданно, я вздрогнула и не подошла. Через некоторое время отец вынес мне трубку из гостиной и сказал угловатым голосом:

– Юля, это тебя.

В это время Валенька отставила в сторону тарелку и, пригладив деду взмокшие волосы, провела указательным пальцем по его щеке. Не ладонью, как бабушка или медсестра, а указательным пальчиком.

И я вдруг вспомнила групповые фотографии. Все в белых халатах. В центре хирург Болотин, по правую руку его медсестра. Указательным пальчиком, как будто не по дряблой коже, как будто под пальчиком этим молодая, чуть колючая щека...

– Он у вас такой красивый лежит, – сказала наша бестактная соседка...

– Юль, ты? – услышала я в трубке низкий голос Давида и, даже не удивившись, что отец подозвал меня, рассеянно ответила:

– Да...

Его отец уехал по своим делам, и мама, которая была не настолько против, готова принять меня.

– Юлька, обязательно надень то платье, что мы купили, – напутствовал меня мой любимый. – И ни в коем случае не крась глаза... Ты слышишь?

А я вдруг вспомнила круглый стол в бабушкиной гостиной. На столе в вазе лежали фрукты. Отец становится к столу спиной и незаметно берет яблоко. А потом быстро прячет его под рукавом... Он делал так, даже если в комнате никого не было, кроме меня...

– Юлька, ты меня слышишь? Маме не нравятся французские духи... выбери что-то другое... Слышишь? На твой вкус. Выбери сама...

А я не могла забыть яблоки и крупные, красиво вылепленные губы... Их форма еще долго казалась мне безупречной. Интересно, будет ли Давид кормить с ложечки моего одряхлевшего отца? К тому времени у меня будут дети, проблемы, розовые растяжки, как у мамы вдоль выпуклого живота... А Давид будет все еще молод. Потому что мужчина. Он будет проводить совсем мало времени дома. Сумка с пледом будет сопровождать его всегда и везде.

И глаза у него будут все такими же. Зелеными, как небо... или синими, как трава...

– Юлька, тебя это все не интересует? – спросил Давид, подводя под моими мыслями черту. – Мне положить трубку?

И, наблюдая из темной прихожей за светом в комнате деда, за солнцем, лениво играющим в ящике с травой, я ответила: "Да".

Ицхак Керч

НА БАЛКОНЕ ТОЛЬКО ОДНО МЕСТО

Мы сидим в небольшой комнатушке, удачно обустроенной в кухню. Лида что-то стряпает, ее муж, все еще под впечатлением состоявшейся встречи, возбужденно ходит по узкому промежутку между столом и стеной, отделяющей нас от зала. Время от времени он находит взглядом сына, собирающего в зале какой-то пластмассовый робот, и чешет лысину.

– Но этот-то, этот! – восклицает он. – Как он там сказал, а, Лид?

– Который? Там много говорили... – Лида не прерывает своей стряпни и стоит к нам спиной.

Там – это в главной синагоге города, откуда мы только что пришли.

– "И если звук шофара проник вам в сердце и тронул вашу душу..." – последние слова он произносит, поднимая вверх палец.

– Алик, ты бы вот что, – Лида оборачивается к мужу, одновременно выпуская из-под какой- то жаровни пар, отчего ее слова, шипя и звякая, распространяются под потолком. – Скажи Давиду, пусть фагот возьмет в руки. Три дня как не занимался...

– Давидка! – на предупредительный зов отца слышится протяжное "Чего-о?"

– "Тронул ваше сердце", – каков, а? – отвлекается Алик от полученного задания. – "...То вы уже никогда не уедете отсюда..." Вы уже никогда не уедете, если войдет к вам в сердце звук шофара... Вот что его заботит, стервеца, – чтоб мы не уехали. Чтоб мы, не дай бог, арнону не перестали платить, благодаря которой он живет. Не потому я не уеду, что приехал сюда оттого, что здесь мне, – ребром ладони он провел по горлу, – все прежнее житье-бытье, а не уеду оттого, что, видите ли, "звук шофара отзовется в моем сердце". Хотел бы я видеть, у кого он отозвался!

Он замолкает и, обращаясь ко мне, чуть ли не взвизгивает:

– Уеду! Как пить дать... Ни один нормальный мужик этот религиозный диктат не будет терпеть.

Я чувствую, что должен что-то сказать. Я пренебрег поздним часом и откликнулся на зов хозяев, гостеприимно принимающих меня после утомительного дня обучения в ульпане, после несуразного и, по-моему, излишнего в этот день приема в центральной синагоге.

– И этот тоже... – я вспоминаю утомительную лекцию о кашруте, но моя мысль проникает в мозг собеседника и без детальных упоминаний об ораторе.

Лицо Алика сразу вспыхивает торжеством победителя. Он выражает праведный гнев по поводу ограничения его свободы, данной ему от природы, свободы насыщения.

– Алик, – тревожится супруга, уже разбрасывающая по столу тарелки и вилки. – Алик, ты бы Давида заставил бы фагот в руки взять, а? Три дня уже...

– Давид! Ну-ка подбери пару нот на фаготе! – Теперь зов предка не встречает никаких возражений, но, признавая трудности воспитания, он хлопает руками по ляжкам: – Ну, ничего этого человека не трогает! Иди сюда, бездельник!

И тут же лицо его осеняется чередой новых догадок. С ними Алик и обращается к супруге, стоя спиной к дверям.

– Это он сегодня стреножит мое право есть, как мне угодно, а завтра он заглянет ко мне в постель, кашерно ли я трахаюсь... Может, я должен, как он свою суженую, через дырочку в простыне тебя трахать, а?

– Алик! – вскрикивает мать, указывая на заглянувшего в кухню Давида.

– А ты что здесь делаешь? – обернувшееся лицо отца суровеет донельзя.

– Сам звал... – Давид явно доволен услышанным и надеется на продолжение темы.

Я смеюсь. Алик вне себя, он впадает в такой симбиоз праведного пуританского возбуждения и застигнутого со спущенными штанами наставника, что сцена представляет пародийную выкладку знаменитого гоголевского финала. Все же они приходят в себя, и я удаляюсь под обрушившиеся на голову незадачливого родителя упреки супруги, под запоздалые требования всерьез, хоть полчаса перед сном заняться музыкой, и как и что у них вместе со столь поздним насыщением получится – известно, наверно, одному Давиду.

Полгода, отведенные на изучение языка, прошли. Я все так же вывожу собаку моей хозяйки, старого тусклого кобеля, по которому давно тоскует живодерня. Утрами это делать необходимо. Пес уже сидит у двери и смотрит на лежащий на стуле поводок. Бабка была категорически против, чтобы я выпускал ее любимца гулять самостоятельно, и, будь она сейчас дома, я

непременно вытолкнул бы его ногой под зад. Но мы с собакой одни и несчастной старухе, образ которой я нахожу в замутненных и сообразительных глазах доброго пса, я не могу перечить. К тому же смекалистое животное, обнюхивая кустики, тащит меня к порогу, на который в этот час выскакивает чудная Светлана. Вид ее напоминает мне о "Мерседесе", яхте, вилле и другой роскоши, которой я уже давно владею в мечтах. Она этого не знает и думает, что у меня ничего нет.

– Что у тебя есть, кроме "корзины"! – однажды сказала она.

Я и в самом деле ничего не рассказывал, но она нашла работу продавщицей на рынке, и я всегда смогу найти ее там, хотя она и уверена, что это временно. Вот я и веду своего милягу по намеченному маршруту, и раз он спокойно поднимает ногу через каждый второй кустик, значит, мы успеем. На заветном углу я отпускаю пса и он тащит свое веретенообразное тело к ее дому и становится шлагбаумом за четверть минуты до ее появления из темной пасти подъезда. Сегодня она в тонкой умопомрачительной блузке, и мой пес не в силах оторвать от нее взгляда.

– У него нет провожатого поумнее? – язвительно спрашивает она, останавливаемая могучей силой инстинкта.

Я не спешу сдвигать животное с места, а Светлана не спешит его обойти. Замечая это, деликатно надеваю ошейник, присаживаясь перед мордой собаки.

– То-то я смотрю, он к этой архитектуре бежит.

– От тебя к любой архитектуре убежишь, даже если ее вообще нету...

– Как это... Вот дома и там... дома, – вставляю и чувствую: плохо я начинаю день.

– Где ты здесь архитектуру увидел?

– Да, – уныние мое выражает тюремный пейзаж. – В этой стране нет архитектуры.

– А что, есть, что ли?

– По псу – так есть. Твой-то дом он различает.

Улыбнулась.

– За это я его вечером поглажу.

Это уже что-то. Бабку отдали в Дом старости, я один вот уже почти месяц. Не спешу сообщать ей об этом, но на сегодняшний день ничего важнее нет, и я надеюсь обсудить все это у нее на работе благо, мне знакома ее торговая точка. Подтягиваю пса к себе:

– Кажется, старина, тебе положена шикарная ветчина.

Удаляясь, Светлана советует псу ни в коем случае со мной не делиться.

Над моим крыльцом балкон. На балконе появляется старуха, мне ее видно, когда мы возвращаемся домой. Псу, конечно, головы не поднять, да ему и без разницы соседкины проделки, а вот мне придется подбирать бумагу. Клочки летят, качаясь и кружась, а то и без особой раскраски своего полета, просто по прямой, но в этот раз Фейга рвет много листов, припасла, видать, макулатуры. Рвет она все, что найдет в комнате, и особенно успешно делает это в одиночестве. И сейчас ей, видно, никто не мешает, она с каменным лицом под толстенными очками мельчит какую-то бумагу и разбрасывает в стороны руки, так что мне придется хорошо поползать под балконом. А, нет! Выскакивает ее дочка, этакая сорокалетняя толстуха, и то ли укоряет Фейгу, то ли бормочет нескладное, затаскивая мамашу в комнату. Удивительно, но сделать это не так легко, и старуха получает полное удовлетворение, окончательно справляясь с припасенной на сегодня бумагой.

Мне надо в банк. Доставая ключ, замечаю свое четвероногое, смотрящее в закрываемую дверь. Сиди, чучело, где ты только взялся на мою голову! Открываю. "Ну, чего тебе?" Он радуется, распахивает пасть, и, зевая, повизгивает. "Чтоб тебя слышно не было, долгожитель. Ни забот тебе, ни хлопот", – бормочу я.

Вообще-то кое-какие заботы у него все-таки имеются. Сын хозяйки говорил, что если вернется мать на некоторое время домой, то собаку надо завезти, смотреть за псом некому. Пес и впрямь однажды пропал, но где-то через пару недель я обнаружил его, вконец разнесчастного, под балконом бабки Фейги. Та, сидя по своему обыкновению у решетки, указала сверху на путешественника, и на прекрасном языке европейских евреев, чему-то непонятному радуясь, мне все объяснила. Если учесть, что кроме слова "тухес", я ничего не знаю, то разобрал следующее: сын хозяйки погрузил полуслепого пса в свой "Пежо" и, верно, завез далеко, по всей видимости, в рукотворные леса под Хайфой. "Так тебе и надо, тухлая жаровня!" – сдирая грязь с собаки, рычу я на кобеля. Я вспомнил, как хитрая лиса, сын моей хозяйки, имел какие-то мистические претензии к этому псу. В жестоких спорах с мамочкой по поводу пребывания бедного животного у нее в доме сынок терпел поражения. Потому, видимо, и затаил против старого бродяги реваншный час. Все это я рассказывал седому увальню, радуясь его возвращению и поднимая его ухо в сторону не перестающей повествовать с балкона всезнающей соседки. По-моему, он понял, о чем рассказала ненормальная Фейга, потому что подтвердил это благодарным языком.

Направляясь в банк, вспоминаю об Алике, – вижу, как его супруга зовет музыканта подняться со двора. "Поднимешься ты, наконец, или нет, в конце-то концов? Тебя фагот ждет". Слышал, Алик устроился на работу. "Здрасьте! Ну чего, Алик работает?" Она показывает в обратную от себя сторону. Я туда и иду. Кивает. Как лошадь. Давид славный, не в нее. Шкодный, но с удивительно наивной рожей, видать по всему, большой музыкант будет. Мне в банк идти – религиозный район проходить надо. Вот тут-то я его и увидел.

– Ты чего, у датишника устроился работать, что ли? – ахнул я.

Он подпирал стенку в ожидании машины. Из дверей магазина выглянул пейсатый.

– Алекс, иди сюда. – Это с иврита мне переводить не надо.

– Иди, пейсатое отродье! – я ему.

Он только мне руку и успел пожать, да сказал: "Машину разгружать жду" Черт-те что!

В банк я заходил полный надежд. Заметил меня. Смотрю в проем, сейчас появится. Точно.

– Ну, чего?

– Нужно двадцать тысяч.

– Охренел, что ли?

– Смотри, такой взнос.

Уходит к своему окошку. "Займи у кого-нибудь на время". Советчик. Иди, иди, чего смотришь. Ну где я для вступления двадцать тысяч возьму? "А сто рублей не спасут отца русской демократии?" Протискиваюсь без очереди под пенсионерское шипенье. "У меня есть только десять". – "Смотри... Охотников много. Займи у кого-нибудь". – "У кого? Вокруг меня одно старичье". – "Вот у них-то и возьми под проценты, отдашь больше". Я отхожу от его окошка и возмущаюсь по поводу бурчания какого-то старого израильтянина: "Ну что я взял чего-нибудь, что ли?" Он мне на иврите: "Вали, мафия русит, вали отсюда!"

Знакомому хорошо, у него работа в банке. Если бы для работы в банке требовалось двадцать тысяч, кто бы не внес? Наивный чудак, шмыгнул я носом уже на улице. Куда я шел? Кто его знает! Мне не хотелось удаляться от хайфского рынка, где так близко билось сердечко моей русоволосой Светланы. Здесь и только здесь может быть чудо. Чудес вообще-то навалом. Ты назвал ее своей? Ну, как смело! Ну, как ты прозорлив! А что если ты подойдешь к ней и скажешь: "Пойдем ко мне. Я один". Она: "Дурак, что ли? Я же на работе!" – "Да черт с ней, с работой! Пойдем ко мне..." Это смотря какие мысли у нее сейчас. Какие мысли, какие мысли! Конечно же, о муж-

чине. Всякая нормальная женщина каждую минуту думаст о мужчине. Тогда ей и жить легче, даже если на стройке цемент таскать.

– Тебе нужны деньги? – это меня спросил какой-то маленький хозяйчик.

– Не меньше двадцати тысяч, – тут же ответил я.

Тормознул. Чего ему надо? Он сплюнул. Посмотрел на небо. Потом на меня. Потом поманил пальцем и скрылся в магазине. Захожу, а у него там полно китайских, в половину моего роста ваз. Вазы отражают прямой свет. Он сидит в кресле, вокруг него вазы, размалеванные драконами. Железные и красные, синие, желтые. Очень много самых разных ваз.

– Мне надо, – говорит, – перенести их вон туда.

При этих словах он обвел пространство перед собой указательным пальцем, а выставленным большим ткнул, не глядя, себе за спину. Некоторые были тяжеленные, мало удовольствия я получил и от других, поменьше. Но скоротал два часа за этим занятием и прервать его не было никакой возможности. В том, другом помещении, поменьше, стоял только стол. Я даже не обратил на него внимания, и только когда вазы стали заслонять его, я возопил: "Что с ним делать?" Мой коротышка мигом явился, посмотрел на стол и говорит: "Год, как я с ним не работаю. Для похорон он здесь что ли? Гроб класть? Тащи его оттуда, разбери, и ящики поставь там". Мне совсем немного оставалось работать с вазами. Даже когда я принялся за стол, их оставалось совсем несколько. Но меня ждал стол. Amant alterna Camenae. И я подтащил его к выходу, где время от времени появлялась ленивая фигура хозяйчика. В конечном счете, что есть день? День – это освещенная светом и отобранная судьбой часть от всемирного материализма, которую ты употребляешь себе во благо. Этот стол дан мне, чтобы я его уничтожил. И никому нет дела, с чего я начну, ибо он вряд ли будет нужен хозяину. Я вытащил первый ящик, смял бумагу, поставил его в угол. Вытащил второй – и тут в глубине его обнаружил тугую пачку двухсотшекелевых купюр. Это была внушительная пачка, выпирающая из моей ладони. Я глянул на выход, где в дверном проеме стоял хозяин. Поднялся и пошел к нему. "Возьми", – сказал я и протянул хозяину красную увесистую пачку. "Что это? – у него дух перехватило, хотя он и сохранил самообладание. – Здесь тысяч двадцать..." – "В ящике..." – сказал я и пожал плечами. Возвращаясь, подумал, что Светлана здесь, наверное, не одна, или одна, раз она работает. Такая могла бы быть куртизанкой. А она, видишь ли, выбрала рынок и магазин мясных продуктов. Если она пойдет к тебе, решись, черт тебя дери! Ты такой жены не найдешь и кто знает... "Ну, ты там скоро?" Противный голос у него, подумал я, устанавливая последнюю китайскую вазу. Я подошел к нему и локтем

вытер пот. "Все", – сказал я. "Все?" – спросил он, заглядывая в магазин. "Все", – подтвердил я. Он достал пятьдесят шекелей. Протянул мне. Я сунул в карман и пошел прочь. Ноги несли меня на рынок, где в одном из утлых магазинчиков стоит за прилавком Светлана. Там я ее и увидел. Подождал, пока она отпустит двух покупателей.

– Света, пойдем ко мне?

– Дурак, что ли? Как я могу среди работы?

– Ну, придумай чего-нибудь. Скажи, что должна на час домой...

– Да я неделю как работаю. Я же сказала, после работы.

– Вот в Штатах ты всегда могла бы свалить на час.

Говоря это, отхожу от прилавка и прислоняюсь к стене. Отсюда начинаю вещать о поездке в Америку, где у меня полно родственников. Она представляет себя в Голливуде или около него. Она говорит, что смоталась бы отсюда в одно мгновенье, было бы куда. Здесь нет даже трикотажа, а архитектура! И хоть я уже об этом слышал, новые выражения оживили ее застарелые наблюдения.

– Да, – подтверждаю я, – полное отсутствие. От пейсатых житья нет...

Теперь она готова меня слушать более внимательно. Я привожу ей доводы о невозвратности времени и о пустой потере его. Я утомляюсь сам, но все еще вдохновенно лепечу о том, как будет хорошо ей в Америке.

– Знаешь что? – она говорит с отрешенной от мира решимостью. – Иди домой и жди. Я через пять минут буду. Честно. Я хозяину придумаю что-нибудь.

Она и не подозревает, что у меня сейчас в душе. Я не говорю ни слова не потому, что уже и говорить-то нечего, а потому, что слова приобрели вид моря в моей комнате, волны бьются о постель, и ничего, кроме нас с ней в постели, я не вижу, да куда с кровати ступить, если со всех сторон глубоко? Вот так я и примчался к дому с видом все сметающего вокруг моря. Только стоп, капитан! Что это там у моей двери? И чем ближе я подхожу, чем отчетливей вижу опустошающую мои мечты картину. Приехала моя бабка, Сын усаживает ее в постель. "Как не вовремя!" – хочется сказать мне, но я спрашиваю у его жены, хлопочущей на кухне: "Теперь навсегда?" Мы произносим с ней массу приятных для моей хозяйки слов. Я даже успеваю сказать, что мне предложили вступать в кооп, но нужно двадцать тысяч. Я стал с этой минуты питать слабые надежды на их помощь. И вдруг я услышал шум мотора у крыльца. Не очень-то торопясь пошел, но когда увидел уезжавшую машину бабкиного сына с верным моим псом в заднем окне, я побежал за ним. Сначала помедлил, соображая и снимая упавшую на меня

бумагу, а потом побежал. Я, наверное, и звал собаку по имени, тут же придуманному, и топтался пес, повизгивая в окне при виде меня, и догонял я четыре колеса и догнал бы точно, если б не наткнулся на Светлану, свернувшую с угла прямо мне навстречу. "Ну, ты видишь, пса увез, бабка приехала... Ничего не получится..." Вот все, что я выпалил ей. Она поняла сразу. Выставилась на меня, да как скажет: "Козел, кретин! Чего ты приходил? Все вы здесь..." У нее, конечно, были все основания сорваться. Уж слишком глупой была сцена: погоня за машиной, старая собака, выспрашивание времени у хозяина... Но я понял, что значит "все мы здесь". Так оно и есть. Да кому здесь быть нормальными?

– Смотри! – вдруг заорал я, указуя перстом на балкон. – Видишь? Она до сих пор рвет бумагу! А знаешь почему? Потому, что когда ее освободили, она с другими рвала и рвала документы в концлагере. Архитектуры ей не хватает! Трикотажа здесь нет! А знаешь, почему бабкин сын увез собаку? Да потому, что он рассказывал, как случайный пес выдал англичанам весь их отряд с раненным товарищем... А знаешь, почему я вдруг пошел к тебе? Потому что ты была мне дороже тех двадцати тысяч, что мне нужны, чтобы устроиться на работу...

– Чего ты орешь? – вдруг зло и надменно сказала она. – Нет у тебя двадцати тысяч?

И тут достаю я из кармана пятьдесят шекелей и с издевательской улыбочкой произношу:

– Я здесь еще таких денег в руках не держал. Вот сколько у меня на сегодняшний день есть. Вот сколько! Ну, можно тебя трахнуть за эти деньги?..

Она очень даже спокойно взяла их из моих рук и сказала: "Тормозни по свободе". Тут мы стали удаляться друг от друга, и я и не заметил, как она исчезла из виду. Да и сам я побрел по другой стороне. По стороне, дарованной судьбой, так, наверно, потому, что шел я по ней тысячу лет и еще одну тысячу, хоть расстояние и не было большим. Просто передумал я в это время не одну, а невесть какую по счету мысль. И вдруг я уперся в ноги Давида. Давид сидел прямоугольно возле фронтальной стены своего дома, даже не у подъезда, а прямо на уличном солнцепеке, подпирая своей хилой спиной весь большой, предельно высокий дом и тужил щеки, дуя в свой сверкающий фагот. "Чего это ты так стараешься?" – с иронией перетрудившегося на репетиции музыканта спросил я его. Он ответил не сразу. А попробовал еще раз и, коротко издав какой-то невероятный звук, оторвал инструмент ото рта и сказал наконец:

– Хочу подобрать звук шофара.

“КАК ЭТО СТРАННО...”

Суня Векслер

* * *

Как это странно – сочинять стихи,
Ночным кошмаром вскакивать с кровати
И головную боль, как деньги, тратить
На ворохи словесной чепухи.
Нет, это страшно – сочинять стихи.
Нет, это дико – сочинять стихи,
Когда слова похожи на молитву,
А поиск рифм – на яростную битву,
А мысли – на смертельные грехи.
Ей-богу, стыдно сочинять стихи.
Ей-богу, больно сочинять стихи.
Как скарабей, ворочаясь в навозе,
Устало зарифмовываю слезы
Отчаяния, боли, и тоски,
Но продолжаю сочинять стихи...

МУХА

(Вялый опыт абсурда)

Волк добродушно дышит в ухо,
Послушно шевеля хвостом.
В испуге замер шумный дом,
Когда в окно влетела муха
И, угрожающе рыча,

Над нами, вкусными, повисла.
Вдруг, вырвавшись на волю, мысли
Крушить все стали сгоряча.
А день как день – темнел к полудню,
Луна рыдала за окном,
По половицам цокал гном,
Неся себе тарелку студня.
Бутылка красного вина
Бесстыдно торговала телом...
И муха в страхе улетела.
Потом повесилась она...
Хоть это вряд ли. Врут, наверно.

* * *

Ну дайте хоть лоскутик темноты,
Чтоб спрятаться от жалящего света.
А солнце, бойкий детонатор лета,
Жарою злопыхает с высоты.
Ну дайте мне хоть капельку дождя,
Я сберегу ее в своих ладонях.
А солнце, как слеза на небосклоне,
Торчит с упорством вбитого гвоздя.
Ну дайте мне порывы ветерка,
Чтоб шевельнул заснувшие флагштоки.
Но смотрит Б-г своим незрячим оком,
И тоже не шевелится пока.

* * *

Амуры постриглись налысо
И курят марихуану.
Меркурий меняет баксы
И копит свой черный нал.
Пластиковую взрывчатку
Носит с собой Диана,
Лук ее на тусовках
Где-то бесследно пропал.

Фавн забурел окончательно –
Стал он для многих "крышей".
И на развод к нему ходит
Весь суетливый лес.
Ночами читает Ленина
Как истину, данную свыше,
И ежедневно на митинги
Ходит обрюзгший Зевс.

НЕМНОГО О ПОГОДЕ

(Ветер)

Мела метель,
Ах, как она мела!
Как будто убегала от расстрела.
Струна дороги жалобно звенела,
И ужас выдувался из ствола.
И билась в стены загнанно метель,
Так до утра и не сдалась на милость...
Ах, боже мой!
Мне это все приснилось –
То отблеск ветра втек ко мне в постель
Ах, этот ветер!
Тени на стене,
Как клочья снега, мечутся в испуге,
И глухо плачут темных веток дуги
Обрывком фильма ужасов в окне.
И странный и невидимый Армстронг
Арабскую мелодию выводит...
Я тоже померещился природе –
Почти дурной, почти абстрактный сон.

Виктор Зильман (Меламедов)

АККО

Прибоем очертив залива полукруг,
синеет море вровень с небесами.
Оно качает лепестки фелюг
со свернутыми в кокон парусами.
Прикосновенья тридцати веков
витают над тобою, старый Акко!
Ты, как большая грязная собака,
Под солнцем задремал – и был таков.
Он, собственно, и впрямь тебя не выдал,
твой левантийский непоспешный нрав:
от Птолемеев и до Османидов
не меньше десяти хозяев поменяв,
ты сладко дремлешь, навсегда устав.

Повсюду, Акко, твой полдневный сон,
повсюду камня серые заплаты...
И ты не знаешь сам, куда, куда ты
Плывешь среди развалин и времен.
А муэдзин кричит с высокой башни,
зовя к себе свой день позавчерашний...
Гранаты розовеют среди шука,
возьмем-ка пару (только шекель штука).
Оставь их корки здесь, на грязных плитах,
задолго до тебя ногами сбитых...

ОСЕНЬ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ

Памяти Юрия Казакова

Осень в дубовых лесах.
Гулкое, звонкое эхо
(листья уже не помеха).
Осень в дубовых лесах.

Осень в дубовых лесах.
Близится холод предзимья.
Птицы путями своими
в стихших текут небесах.

Преющий опад, трава,
смолкшей природы секреты...
Но изменений приметы
не обратимы в слова.

Краски – как будто скупей,
но глубоко просветлело.
Свет, словно твердое тело, –
среди стволов и ветвей.

Время-лесник – все в бегах,
ставит для памяти знаки.
Лают и лают собаки.
Осень в дубовых лесах.

1991

ВОЗВРАЩЕНЬЕ С ОХОТЫ

По Питеру Брейгелю-старшему

Возвращенье с охоты. Собаки и люди идут.
Свежевыпавший снег. И летящая в воздухе птица.
День немного померк. Но он все еще тут.
И он может еще на десяток минут проясниться.

Утомились стрелки. Но ступают упруго они.
Так не ходят здесь, лишь на охоте, лишь "где-то".
А внизу городок их встеплить уж собрался огни.
А у них за плечами разряжены тяжкие их арбалеты.

От замерзших прудов голоса далеки и чисты.
Возвращенье с охоты. К Вселенной жилища и быта.
В душах – мир и покой. И только ягдташи пусты.
И на свете никто не убит. И ничто на Земле не убито.

1991

ПЕРЕЕЗД

Старушечьи перевозки:
Жизнь, старость – в одной повозке...
Какие-то древние доски...
И праздников прошлых обноски.

Все это – в хромой трехколеске
Старуха увозит с собой
В район недалекий жилой.
Она спозаранку хлопочет,
Порядок и память любя,
Забыть здесь полспички не хочет
И все ж забывает – себя!

Юрий Супоницкий

* * *

Время быстрых решений
В царстве глупых надежд,
Плащ безумных свершений,
Чуть поморщась надев,
На дорогу выходит
И, сощурясь, глядит,
Как убогие боги
Свой выносят вердикт:
Вырезают на картах,
По кишкам ворожат,
Смерть суют в скороварки,
Над плитою брюзжа,
Корча кислые мины,
Тычут в лучший кусок,
Время смотрит им в спины
И плюет на песок.

* * *

Я снова засыпаю без тебя,
и робкий дождь стучит по рыжей крыше
на тонкое стекло неслышно дышит,
надломленную ветку теребя.

И этот дождь, блуждающий во мгле,
шагает по незамкнутому кругу,

и крепко держит Ночь свою за руку,
ступая мягко по сырой земле.

* * *

Пустая площадь, желтый свет Луны
И предрассветный крик случайной птицы,
Как будто жизнь, стремясь не повториться,
Беспечно забывает злые сны,
Как будто Ночь на вороном коне
Уже не мчит по столбовой дороге,
Как будто мне порой внимают боги,
А жизнь моя и вправду снится мне.

Ицхак Боголюбов

ВОЛШЕБНАЯ ИГЛА

Давным-давно, в стародавние годы, жил в Чечерске один бедный портной. Почему он был бедным? Потому, что у него не было денег. К нему деньги как-то не шли. Ну, известное дело: деньги ищут к богатым. Поэтому они становятся еще богаче. А если деньги ушли к богатым, так что же пойдет к бедным? Или ничего, или пара грошей, или крепкий кукиш.

Так вот, жил этот бедный портной, как все портные. Ничего особенного. С утра до вечера сидел он на краешке стола у окна, смотрел через очки на свое шитье, мурлыкал себе под нос какие-то песенки и делал свои стежки на каком-нибудь рукаве или лацкане. Иголка то ныряла в ткань, то высовывала из темноты свой блестящий нос, за который ее тут же ухватывал портной и вытаскивал на свет. Вытаскивал и снова топил ее в мягком мраке сукна.

Звали этого портного Сандер, и была у него довольно большая семейка: человек шесть-семь детей и, конечно, жена, как это водится у всех портных.

Шил он и шил, кое-что зарабатывал, опять шил и опять шил. И оттого, что он так много шил, его любимая иголка настолько отполировалась, что блестела ярче солнечного луча.

Уже был поздний вечер. Сандер положил свое шитье на стол, слез с угла, на котором сидел, потянулся, заодно потрогав руками потолок, и громко зевнул. Потом он сделал несколько шагов по комнате, криво улыбнулся тому, что ноги несли его почему-то из стороны в сторону, и уселся на стоявший у стола стул. Он еще раз улыбнулся тому, как приятно и удобно посидеть на стуле. И вдруг услышал какой-то тонкий писк. Или свист.

Он остановился, забыв прикрыть рот, и прислушался.

"Это, наверное, у меня в ушах звенит от усталости, – подумал он. – Если столько работать – можно не только нажить себе свист в ушах, но и вообще тронуться... А что делать? Не шей – так с голода умрешь, шей – так от смерти умрешь. Умрешь, умрешь... Но люди же живут. И работают".

В это время он снова услышал не то писк, не то тонкий свист, исходивший со стола. Портной внимательно присмотрелся к недошитому сюртуку и увидел, к своему удивлению, что оставленная им иголка шевелится. "Еще этого мне не хватало! – испугался Сандер. – Иголка шевелится. Я, наверное, все-таки рехнулся... Это все от усталости. Надо пойти хоть пройтись по свежему воздуху и хорошо отдохнуть". И он протянул руку к иголке. Но та встала на свой острый нос и отпрянула в сторону... Пораженный портной не знал, что и подумать, что делать... А иголка говорит:

– Не беспокойся, мой дорогой хозяин. Ты здоров, и у тебя не шумит в ушах. Это я кричала, чтобы ты меня услышал. Я хочу тебе кое-что сказать!

– Сказать? Разве иголка может что-то сказать?

– Может! Если хочет! Послушай, Сандер, мы с тобой работаем вместе вот уже почти два года. И ты всегда так бережно, так осторожно и заботливо со мной обходился, что мне с тобой было хорошо. Ты посмотри, как я блещу, какая я гладкая и ухоженная. Правда, за это время, за время работы я стала немного тоньше, но изящество только украшает иголку.

– Конечно, моя дорогая, я так тебя люблю и берегу, я так всегда на тебя надеюсь... И ты никогда меня не подводила.

– Конечно, Сандер. Так вот что я надумала. Я решила немного облегчить твою жизнь, насколько это в моих силах. Вот ты устал от долгой работы. Тебе некогда отдохнуть, ты редко выходишь из дому, твои глаза от шитья давно уже сдали, да вдобавок ко всему ты стал чаще кашлять, хотя и не куришь табака.

– Да... – опустил голову портной. – Но мне же надо кормить семью. Что я могу поделать? Такая у меня судьба.

– Судьба, конечно, у тебя не легкая. Послушай меня, мой заботливый, честный хозяин. Пойди и ляг спать. Ты же видишь, что все уже спят. И тебе надо хорошо отдохнуть. А я уж сама за ночь дошью этот сюртук.

– Ты – сама? А разве ты знаешь сама, как надо шить сюртуки?

– Дорогой Сандер! За два года нашей работы я многое видела и многому научилась. Не беспокойся: я тебя не подведу.

Портной шевельнул бровями, развел руки в стороны, вздохнул и пошел спать. Сначала он никак не мог смириться с тем, что иголка умеет разговаривать. "Мне это, наверное, почудилось, – думал он. – Чтобы иголка сама шила?.. Да... Я, конечно, устаю..."

Потом, закрыв глаза, он стал думать о том, что этот сюртук должен быть сделан по-особому, а откуда иголке это знать? Может быть, она действительно какая-то волшебная, умеет шить сама... Но как она может знать, о каком фасоне он договорился с заказчиком?

Чуть только забрезжил рассвет и соседский петух оповестил всех вокруг о наступлении нового дня, Сандер, не совсем еще открыв глаза, вскочил с постели и прыгнул прямо к своему рабочему столу: он вспомнил вчерашний разговор и хотел немедленно убедиться в том, что он не сошел с ума, что вся эта история с волшебной иголкой – правда...

– Что случилось, Сандер? – крикнула вслед ему проснувшаяся жена.

Но Сандер ничего не ответил: он стоял у стола как окаменелый и неподвижными глазами смотрел на готовый красивый сюртук, лежавший на столе. Потом он приподнял его, поднес поближе к окну и стал внимательно рассматривать швы. Стежки были настолько ровными, одинаковой длины и выстроенными в такие прямые линии, что это казалось ему волшебством: он никогда раньше не видел такой чистой, аккуратной работы... И вдруг спохватился:

– Иголка! Иголочка моя! Где ты?

– Я здесь, Сандер! – услышал он слабенький голосок, исходивший откуда-то со стола.

Портной пригляделся и нашел иголку.

– Родная ты моя, любимая ты моя! – на радостях запричитал он. – Спасибо, спасибо тебе, моя труженица!..

– С кем это ты? – всполошилась жена.

– Ни с кем. Ни с кем... Сегодня я сдаю Шмуэлю сюртук и сегодня же получаю от него целый рубль!

– Ты что, уже до рассвета начал работать? Подожди немного, я хоть завтрак приготовлю... – И жена стала вылезать из-под одеяла.

– Почему – начал? Сюртук уже готов!

– Когда же это ты успел его закончить? Вчера?

И тогда Сандер уселся на край кровати рядом со своей женой и очень подробно и тихо рассказал ей всю историю с волшебной иголкой. Потом протянул руку, из щепоти которой торчала блестящая игла, и торжественно произнес:

– Вот она!

– Дай, дай ее сюда. Я тоже хочу на нее посмотреть...

Сандер не выпускал иглу из руки, и его жена только дотронулась до маленькой головки с ушком и сказала:

– Может быть, наше счастье должно было к нам прийти через иголку. Кто знает...

С тех пор жизнь самого Сандера и всей его семьи заметно изменилась к лучшему. Портной принимал заказ, раскраивал материал, начинал шить и потом оставлял работу на ночь – для своей волшебной иглы. К утру работа

всегда была готова. А о ее качестве и говорить нечего: человеческая рука не могла, казалось, выполнить работу так аккуратно и так красиво.

И пошла гулять слава о прекрасном, да что там – о чудесном портном Сандере! В Чечерске его стали уважать не меньше, чем самого раввина, с ним здоровались все, кто знал его и кто его не знал... И, конечно же, заработки у Сандера стали расти. Детей отдали учиться, в доме всего стало вдоволь, и бывший бедняк приглашал теперь на субботнюю трапезу сразу двух бедняков, а не одного, как было принято у богатых евреев.

Прошло сколько-то времени, и весть о большом мастере дошла до самого царя.

И велел царь привести к нему этого портного. В Чечерск приехал красивый русский офицер с двумя солдатами, все на прекрасных конях, узнали, где живет портной Сандер, и все трое под настороженные взгляды перепуганных евреев явились к нему в дом.

Сначала Сандер по-настоящему испугался визитеров (и какие только мысли не переполняли в это время его голову), но, узнав, что сам царь хочет видеть знаменитого портного, он успокоился и стал готовиться в дальний путь.

– Сандер, – сустилась жена, – не забудь зайти к Афроиму-Буйху! Пусть он хоть раз в жизни по-настоящему приведет в порядок твою бороду: нельзя же с такой свалявшейся метлой являться перед самим царем!

И Сандер, конечно, выкроил время, прибежал в парикмахерскую и с порога закричал:

– Буйх! Где ты?

– Я здесь, что ты орешь? Ты не знаешь, что я всегда здесь? Я жду своих клиентов.

– Как паук своих мух, – пошутил портной. – Быстро! Быстро подстриги мне бороду!

– Что за спешка, Сандер? То тебя не видно годами, то – быстро...

– Я еду к царю, дурень!

Афроим улыбнулся, заложил руки за спину и внимательно посмотрел на возбужденного клиента.

– Не стой так, олух! Мне некогда! Ты не видел, что за мной приехал царский офицер?

– Ты что?!

– Давай скорее, не тяни кота за хвост! Стриги! Только смотри, чтобы было красиво!.. К царю! Дошло до тебя, наконец? У тебя что, череп такой же толстый, как твой живот?

С этими словами портной уселся в кресло напротив зеркала, а засуетившийся парикмахер обвязал его шею пеленкой и взял в руки ножницы.

Надо ли говорить о том, что Афроим старался, как никогда раньше в своей жизни, и о том, как он был горд тем, что стрижет бороду человеку, который скоро предстанет перед самим царем, и о том, что сам царь, как об этом возмечтал Афроим-Буйх, завидя такую красивую бороду, может поинтересоваться тем, кто этот великий парикмахер, который умеет так искусно стричь, а там – иди знай. Может быть... И о том, что Афроим не хотел сначала брать плату за свою работу, и о том, как мчался Сандер по чечерской улице, выставляя вперед свою новую бороду, в которой он теперь больше походил на купца первой гильдии, чем на захолустного портного...

Пришло время, и чечерский портной Сандер предстал перед самим царем. Его ввели в огромный зал с красивым мраморным полом, со стенами и колоннами, отделанными драгоценными камнями. Все вокруг блестело и сверкало. У дальней стены на троне восседал царь. Повелитель всей империи! Подумать только, какой чести удостоился Сандер!

Завидя царя, портной задрожал мелкой дрожью, и, хотя его много раз предупреждали и научали, что он должен сказать, увидя его величество, – бедный Сандер был настолько ошеломлен этим событием, что остановился в полной растерянности и так и остался стоять, как немая кукла на богато разукрашенной сцене.

– Подойди поближе! – услышал он голос царя.

Портной хотел сделать шаг, но ноги его не слушались: он едва шевельнулся.

– Иди, иди! – услышал он чей-то громкий шепот, исходивший откуда-то сзади.

Наконец он сделал два-три шага вперед, низко поклонился, как его научили, и слабым голосом сказал:

– Здравия желаю, ваше величество.

– Не надо так смущаться, портной. Я позвал тебя потому, что мне доложили, будто ты – один из лучших портных в моем царстве, – сказал царь и продолжил: – И мы решили заказать тебе сшить для нас новый сюртук.

– Сюртук, господин царь?

– Сюртук.

– Но, ваше величество... Вам бы лучше надеть красивый фрак, а не сюртук, – неожиданно для себя возразил портной.

Царь криво усмехнулся и сказал:

– Еврей всегда думает, что он знает лучше!.. Ты слышал, что я сказал, или думаешь, что ты пришел сюда со мной спорить?

– Извините, извините, ваше величество! Я ведь хочу как лучше...

– Как лучше, знаю я, – сказал царь. – И запомни это на всю твою оставшуюся жизнь! Чтобы она не оказалась слишком короткой!..

Бедный портной только теперь опомнился и понял, что он говорит не то... Он должен только слушаться и исполнять царскую волю. И ничего больше... Он снова низко поклонился и произнес:

– Конечно, конечно, ваше величество!

– Так вот, сюртук должен быть готов завтра. Не позднее полудня.

– Будет сделано, ваше величество, – и портной внимательно уставился на царя, чтобы запомнить размеры царской фигуры.

Царь, поняв, почему портной так внимательно его разглядывает, встал с трона, выпрямился, потом сделал небольшой шажок вперед, повернулся к портному спиной и снова уселся на свое место.

"Да... У него фигура и рост – ну точно как у нашего кирзнера Иосифа", – пронеслось в голове портного.

В это время кто-то подошел к Сандеру сзади, мягко взял его за локоть и решительно потянул назад. Это значило, что надо было уходить...

Из тронного зала портной вышел твердой походкой, с высоко поднятой головой и великой радостью в сердце оттого, что ему, бедному еврею, так повезло! Он видел своими глазами самого царя! И теперь Сандер уже не жалел о том, что заплатил целый пятак Афроиму-Буйху за стрижку бороды.

Потом портного отвели в специальную комнату, принесли ему всякие хорошие материалы и самые лучшие нитки и иголки.

Приготовился Сандер к работе, помолился в углу и решительно взял в руки ножницы. Он кроил и прикидывал; то он видел перед собой чечерского кирзнера Иосифа, то представлял себе фигуру царя. А однажды вообразил царя голым... Сам себе улыбнулся, почесал в бороде и снова что-то прикинул и что-то выкроил. А потом положил всю свою работу на стол, достал из-за лацкана свою волшебную иглу, поцеловал ее, положил на стол и сказал:

– Ты знаешь, моя дорогая, что надо делать...

К утру сюртук был готов, и об этом доложили царю. Царь велел принести сюртук и привести портного.

Сюртук оказался точно впору, чему его величество очень обрадовался.

За свою работу портной был щедро награжден царской улыбкой и деньгами, и его в богатой карете отправили домой.

А вскоре в одно утро он, проснувшись и подойдя к столу, чтобы убедиться, что работу свою волшебная игла выполнила с обычной аккуратностью, увидел, что работа не только не закончена, но даже и не начата. Он сильно

испугался, холодный пот покрыл его лоб: "Что бы это могло значить?" – подумал он. Потом стал искать свою иглу, но никак не мог ее найти. Он перерыл, а потом осторожно переложил и несколько раз пересмотрел и перещупал каждый кусочек материала, но волшебной иглы нигде не было.

– Неужели украли?! – в страхе воскликнул Сандер. – Неужели кто-то догадался и выследил меня?

И тут он услышал, как когда-то давно, тонкий крик своей иглы, но исходивший на этот раз откуда-то снизу, вроде как из-под стола. Он нагнулся и заглянул под стол.

– Я здесь, Сандер, – услышал он.

– Где, где ты, моя дорогая?

– Я под полом, мастер. Я умерла, упала со стола, провалилась в щель между досками, и там я теперь похоронена...

– Что ты такое говоришь? Как умерла? Я сейчас же взломаю пол и выну тебя оттуда!

– Не делай этого, Сандер. Всему приходит конец. За долгие годы, что мы проработали вместе, за время моих неустанных трудов я износилась, стала очень, очень тоненькой. Если бы я вчера принялась за работу, я сломалась бы после первых же стежков. Уж очень надорвала меня работа над царским сюртуком: ткань была слишком густой и жесткой... Всему приходит конец, мой хозяин. Не печалься. Возьми немного царских денег и купи себе хоть сто дюжин прекрасных иголок...

– Что ты, что ты? – испугался портной. – Ведь ни одна игла даже из целого миллиона иголок не может мне заменить тебя.

Но волшебная игла ничего уже больше не сказала.

Сандеру стало не по себе. Он готов был кричать, плакать, умолять...

– Как же? Как же?.. – запричитал он, но вдруг почувствовал, что кто-то держит его за плечо.

Рядом стояла его жена.

– Я говорю – разденься и ложись в постель.

“СЛЕП ХУДОЖНИК...”

Марк Вейцман

* * *

Памяти Е.Д.Симкина

Слеп художник, погружался в тину,
уходил неведомо куда,
но в уме выстраивал картину –
ту, что не напишет никогда, –
ни властям, ни времени в угоду,
ни – стремясь вскочить на пьедестал,
ощущая полную свободу,
о которой прежде лишь мечтал.

Но когда страдальцу исцеленье
было как знамение дано
и свои больничные виденья
он переносил на полотно,
зрелище, задуманное тонко,
не осуществилось на холсте.
Внутреннее зренье – фотопленка.
Пленку проявляют в темноте.

* * *

Иордан кишит сомами, пожирателями скверны,
этих тварей здесь не ловят, потому как не кошерны.
Вот они и колобродят возле берега часами
и презрительно поводят запорожскими усами.

Лишь рабочий-таиландец, тот, что ест любую живность,
проявляет кой-какую промысловую активность.
Ежедневно ровно в поддень, помышляя об обеде,
он является на ржавом, но "живом" велосипеде.

Нет ни капли в нем смиренья, ни брезгливости, ни страха,
никакого представленья о наличии ТАНАХа.
Бесчешуйчатую рыбку ест в неведенье глубоком,
белозубую улыбку увлажнив томатным соком.

Время делит он на части, а пространство недвижимо.
Зря мы думаем о счастье, что оно недостижимо.

* * *

Холестерин избыточный в крови
от злоупотребления свининой
и полное отсутствие любви
к стране, ни в чем, по сути, не повинной.

Тут злобствуют и врут? А где не врут,
не норовят продаться подороже?
Кумиров сотворяют? – тоже труд,
Неблагодарный – правильно, – а все же...

Ты их, кулик, судить повремени.
И прежде, чем хвалить свое болото,
с нагорий здешних на него взгляни.
Что морщишься? Попахиваст? То-то!

Здесь звук способен свет опережать,
наполнен прах энергией витальной.
Огромен мир, но некуда бежать
с площадки этой экспериментальной.

Михаил Беркович

* * *

"Прошу у солнца нагого
голову мне охладить..."
Елена Аксельрод

Прошу я вечер: "Не клони ко сну!"
Прошу январь: "Не будь таким холодным!"
Прошу: "Не прячьте, облака, луну!
На что-то ж надо выть волкам голодным".

* * *

Я думал, не бывает хуже
Злодейки забубенной – стужи.
Во что угодно можешь быть одет –
От стрел ее острейших спасу нет!
Вот разве что – податься на юга,
И там забыть, что в мире есть пурга –
Колючая, вихляющая мреть, –
Под пылким солнцем душу отогреть...
Теперь я знаю, что за сукин сын
Рыжебородый увалень – Хамсин.

ЧЕЛОВЕК

Пройдет сквозь воду, устремится в лет,
Возьмет в пути препятствие любое.

Но, жизнь пройдя, он так и не поймет,
Откуда это небо голубое.

* * *

Вольно человеку в мир явиться
С вольною душою, как у птицы,
Но невольно средь людей ужиться
С вольною душою, как у птицы.

* * *

Старый лось почуял боль под ложечкой:
Стая впереди – "Пора знать честь?"
Он бы мог пожить еще немножечко,
Но волкам приспело время есть.

Марк Богославский

* * *

Валентине

Мой дом на изломе реки...
Причалена к берегу лодка...
Движение женской руки
В душе отдается так сладко.

Прощаясь, я праздную розу,
Ноздрями влюбленно ищу
Смертельную дозу наркоза,
Печально кивая врачу.

О нет, не спешу расставаться
С задумчивым треском костра,
С домашним уютом пространства
И скромным достатком стола.

Яичница на сковородке
И тонко нарезанный сыр...
А если к тому же простыл,
Уместна и русская водка.

Иголки любви и тепла
Язвят беззащитную душу,
И в женственном звоне стекла
Мне чудится ветер, идущий
Оттуда, где вечная мгла.

Не я, а эпоха впадает
В собачью и волчью тоску.
Распахнуты выси и дали,
И нежные руки к виску

Так горько прижаты, что надо
Ответить на ангельский зов
Хоть плиточкой шоколада,
Хоть розой для милого взгляда,
Хоть шелестом ласковых слов.

ЗИМНЕЕ УТРО

(Быль)

Я его расстрелял на бегу.
Он лежит на спине на снегу –
Этот огненно-рыжий красавец.
...Не казак, не помор, не рязанец...

Из баварцев или саксонцев?
Он лежит на спине на дороге
Под холодным российским солнцем,
Широко раскинувши ноги.

Только что был в красе он и в силе!
Полминуты тому в азарте
На игральное поле России
Бросил жизнь, как козырную карту.

Я, вступивший в должность убийцы,
Не успев на него разозлиться,
Не успев его рассмотреть,
Подарил ему легкую смерть.

Маргарита в далекой Баварии,
Ты уже зарыдала об арии –
О красивом, о рослом, о рыжем,
Присылавшем духи из Парижа?

Мне пока до тебя нету дела.
Я бегу широко так и смело,
По кровавой ступая жиже,
Мимо изб, от пожара рыжих.

Все вокруг так трескуче и звонко,
Все так выпукло и так ярко.
Получайте свои похоронки
И рождественские подарки!

Ах, забыл вам сказать о главном,
Прокричать не о том, а об этом:
Рядом с мертвым светло и забавно
На снегу улыбались галеты!

Молодой, счастливый, голодный,
Я схватил на бегу две галетины.
Ими ваша немецкая родина
В это утро меня приветила.

На бегу я жую соленьенькие...
Как нежны они и рассыпчаты!
...Под саксонско-баварским солнцем
Не пора ль начинать вам причеты?

Здесь, клянусь вам, ни слова выдумки!
Не убавлено и не прибавлено.
Мне моя биография выдала
Этот случай забавненький.

Были танковые атаки,
Штабеля вырастали из трупов.
Но однако, однако, однако
Вспоминаю об этом скупо.

Но, пожалуй, однажды тронусь я
От убийственной боли,
Исходящей от мелких подробностей
Заурядного боя.

Михаил Польский

ЖЕНЩИНА-ТЕНЬ

женщина-тень
женщина – мое отражение
я пытался вылепить тебя
из золотой россыпи радостей бытия
из жемчужин надежды
из рубинов и изумрудов честолюбивых помыслов
из брильянтов необузданных желаний
но ничего не выходило
работа моя рассыпалась в прах
и я не успевал вдохнуть душу свою
в произведение мое

и тогда я устал от всего этого
и перестал тревожить небеса
навязчивыми молитвами
о даровании таланта ваятеля

с чем же остался я
что окружает меня

только горячий песок разочарований
только дикие камни печали
только сухая глина
моего безысходного одиночества
зачем Ты меня оставил Господи
чувствовать себя глупцом, неумехой, изгоем
посреди райского сада Твоего

зачем Тебе это высохшее дерево
от которого ни цветов ни плодов ни прохлады

и тогда ко мне вернулось зрение ребенка

я увидел что из камней песка и глины
можно вылепить замки и города
деревья и цветы животных и птиц
и даже целое звездное небо

и если выложить камни
по контуру собственной тени
то сразу станет ясно
что нужно влить по горсти воды
в лунки обозначающие глаза
нужно вылепить губы из влажной глины
а для волос употребить пучок сухой травы

и тогда прилетит горлинка
и сядет в области сердца

женщина-тень
женщина – мое отражение
в зеркале тихих вод на закате знойного дня
я вылепил тебя из глины одиночества
из песка отчаяния
из камней разочарований
неумелыми руками ребенка

и вот я живу в тени своей тени

как плод в материнской утробе
созревающий для входа
в светлый веселый мир где караулит смерть

созревающий для входа в бессмертие

Лия Горчакова-Эльштейн

В ПОИСКАХ СОБЕСЕДНИКА*

Дремлет старая сосна
и шумит со сна.
Я к шершавому стволу,
прислонясь, стою.
– Сосенка-ровесница,
передай мне силу!
Я не девять месяцев, –
сорок лет носила,
сорок лет вынашивала,
сорок лет выпрашивала,
вымолила, выпросила,
выносила
душу.

София Парнок, 1926

ОТ АВТОРА

"Словесного чванства последняя карта сдана..." – я закончила *свои* "выбранные места" из писем друзьям.

Вернусь к началу: кто **я**?

Спросить человека – кто он?.. Ответ на этот вопрос - из трудных "детских вопросов" - для каждого будет, наверное, самым трудным.

Ну что ж, попробую ответить.

Коротко о себе.

Человек знает день, а бывает, и час своего рождения.

Знаем ли мы час рождения своей судьбы?..

Так сложилась моя жизнь, что я *знаю*.

---

* *Печатается с продолжением*

В 1937 году – мне пять лет – на работе арестовали моего отца. Потом пришли домой – за матерью. Ночь ее ареста запечатлена во мне ярчайшим стоп-кадром. Помню лица военных и лицо женщины, которая пришла с ними, чтобы забрать нас с сестрой (десятилетней) в детский дом... помню все бытовые подробности, нашу комнату, одежду, мизансцену... свою ночную пижамку... обыск... лицо матери и ее слова... вот ее под руки, в полуобмороке, выводят военные... вот Фаина, наша няня, в два голоса с той женщиной уговаривает нас ехать в детский дом... вот сестра соглашается, и собирают ее вещи... и хотя мы еще вместе на маминой кровати, но я знаю, что уже *одна*... и уже уговаривают в три голоса... а я, вцепившись в никелированный круг спинки кровати, плачу и кричу: "Нет!.. нет!.." – и женщина наконец спрашивает у сестры, знает ли она телефон родственников – и сестра знает!.. и вплоть до приезда дедушки женщина не уходит, а я, все так же вцепившаяся, кричу и плачу...

Мой отец Борис Иосифович Горчаков, ученый-экономист, был расстрелян в том 37-м, мать Фелиция Яковлевна Гинцберг-Горчакова, врач, восемь лет была в заключении как член семьи.

В молодые годы я узнала, что Геббельс и его жена Марта включили в акт самоубийства и своих детей, – реакция моя была мгновенной: правильно сделали! Не потому, что я мечтала о смерти, – нет, конечно: одобрила *принцип*.

В 60-м году, 16 апреля, в доме Аркадия Белинкова я встретилась с своим будущим мужем Генрихом Эльштейном.

Генрих был однодельцем Аркадия, с 44-го года он шел по тюремно-лагерно-ссыльному пути. Он не был реабилитирован, три месяца как вернулся с Колымы; с него сняли судимость, поэтому он смог прописаться в Москве, пытался восстановиться в Литинституте.

В конце мая он впервые пришел ко мне. А у меня, жившей по-студенчески, ничего, кроме чая... и я чувствовала себя виноватой.

– Не огорчайтесь, меня везде кормят, угощают... Вы первая меня так хорошо слушали.

12 июня Генрих переехал ко мне, 1 июля мы зарегистрировались, 5-го, приуроченная к дню его рождения, была наша скромная свадьба.

Что было *между*: в 54-м закончила литфак московского пединститута, по распределению работала на Южном Урале в шахтерском городе Еманжелинске в школе рабочей молодежи, потом в московской средней школе.

Учитель русского языка и литературы. Учительствовала я тридцать лет.

В 1962-м, 7 апреля, родилась наша дочь Лена. Надеюсь, еще соберусь с силами рассказать о ней и ее судьбе.

В 1992-м, 19-го июля, дочка наша умерла. Мы похоронили ее на Долгопрудненском кладбище. Мои дорогие Оля Фролова и Вела Гаврилова, из первого моего московского выпуска 59-го года, ухаживают за ее могилой.

А мы остались на земле растить нашего золотого внука, который, как и я, осиротел в пять лет.

В одном из писем я рассказываю о том, как в "новой" "демократической" России у нас, корысти ради, хотели отобрать малыша. Антисемитский энтузиазм чиновников, с их беспредельной сегодняшней властью, сделал наше положение безнадежным.

И в самую безвыходную минуту – звонок из Иерусалима: наши верные друзья Лея и Арье Кацавы сообщают, что Любавичский Ребе дал **Браху** внуку, – значит, он будет в Израиле.

И чудо свершилось. Вот уже седьмой год мы в Израиле. Вечная моя благодарность тем, кто спас нашего внука: Ольга Сандлер. Вика Либин, Давид Бартов.

Трагический исток судьбы и определил, мне кажется, страсть моей души – жажду *высоты*.

Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли...
Борис Пастернак

Сорок лет я слушаю и слушаю, вбираю и впитываю... сорок лет моего "часа ученичества" – и мало мне "ад мэа ве-эсрим", а может, не хватило бы и бесконечности...

В противовес "тысячегрудой человеческой лжи" для меня в моем Генрихе воплощена "одинокая человеческая правда".

В авторском предисловии к книге "Л-1-105", споря с В.Шаламовым, для которого "лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью", Генрих пишет: "Я не хотел бы повторять свой лагерный опыт. Я не знаю, был ли он напрасен, но я все время думаю о том, как бы я сумел прожить все эти годы **на воле**... Каким бы я стал..."

И я не знаю...

Но *знаю* – за сорокалетнюю совместность, в главном и в повседневном, – "стальную выправку хребта": гордость и мужество, человечность и благородство, вкус художника, высокую мудрость и спокойную правду.

Лучше всего *за меня* о моем ученичестве сказала Марина Цветаева:

Я – страница твоему перу.
Все приму. Я белая страница.
Я – хранитель твоему добру:
Возращу и возвращу сторицей.

Я – деревня, черная земля.
Ты мне – луч и дождевая влага.
Ты – Господь и Господин, а я –
Чернозем – и белая бумага!

Книга моих писем и моих текстов – попытка возврата.

* * *

27.09.94

Вчера был самый веселый еврейский праздник Симхат-Тора, и наш дед был в синагоге, даже выпил там рюмочку водки и даже плясал вместе с молодыми, которые его под рученьки ввели в круг...

И такое чувство единения – мы тоже евреи! – такая нежданная радость!

5.10.94

Мы не из тех, кто бросает дорогое в беде. Да и годы наши, и силы наши не для "перемены мест".

Теперь мы читаем русские израильские газеты, и душа болит еврейской болью, но наша русская боль – с нами, в нас...

Сколько благополучных евреев спокойно, организованно покинули Россию – и без всякой боли. И вот тебе парадоксы (печальные парадоксы!) – отыгралась Россия именно на нас – мы ее беженцы.

Саша Якир, израильский друг Маши Якуниной, сказал мне: когда он спросил у нее в письме, что же все-таки происходит сейчас в России, она ответила ему рассказом о нашем изгнании.

Главное утешение во всей этой драме: Костя будет расти не на кладбище (ведь это наше – не его – кладбище...), и хотя мы пока не очень очарованы

Израилем – да нас и очаровать не так-то просто! – но здесь живая жизнь, и есть простор для молодых сил.

В начале века Блок писал, что Россия – чушка, пожирающая своих младенцев. И вот конец века...

14.10.94

Очень много сил уходит на быт, хотя он здесь несравнимо легче, чем дома, а еда так просто прекрасная, но надо приготовить и пр., а мы еще почти каждый день заняты оформлением – то туда едем, то сюда... Здешние чиновники любят гонять, а это разные концы города, и времени уходит, и уйма сил.

С воскресенья идем в ульпан, Г.Н. движется в языке, а я его страшно боюсь, да еще с моей робостью, но так трудно быть безъязыкой...

Не знаю, как теперь быть с нашим адресом, – свой в Москву посылать боюсь: к тебе в ящик залезть ничего не стоит. Пиши пока на Аркашин, а письма других вкладывай в свой конверт.

21.10.94

Когда-то в далеком военном детстве я была в эвакуации в Казани: нищий быт, чужой мир...

А на днях я четко поняла свое состояние здесь: эвакуация.

Психологически это именно так, и никуда от этого не денешься... Тут я решилась позвонить знаменитой в Израиле Майе Каганской, которую мы знаем по ее эссе – спорному, но интересному и яркому – о Марине Цветаевой.

Она прореагировала очень хорошо, пригласила нас к себе – мы отвезли ей мемуары. Они с мужем-журналистом встретили нас прекрасно, атмосфера в доме интеллектуальная, но... рукопись им не понравится, я не сомневаюсь: они ярые националисты, очень правые, Россию не любят, любят "Архипелаг" "за разоблачение коммунизма и его свержение" (?!), а что это пропаганда – ну и пусть, раз она работает, служит благому делу, даже если и *параша*. В общем, люди вполне партийные. Такая уж наша судьбина...

22.10.94

Когда мы в Москве думали о происходящем в Израиле, Г.Н. говорил, что, наверное, пришло время, когда евреи сознают, что надо считаться с реальностью и потому даже *отдавать*, даже если это составляет угрозу. Ну что ж, тогда снова придется воевать.

И мы с ним были за Рабина, когда было принято решение о создании автономии.

Здесь – когда мы уже присутствуем непосредственно и видим не в телескоп, а в микроскоп, – нам никак не может нравиться этот суетный краснолицый старичок, который ради *церемоний* и объятий с Клинтоном и пр. готов отдавать, отдавать и отдавать...

Но меня глубоко поразило другое. Я думала, что это сегодняшняя российская реальность: равнодушие народа, который просто бьется с нуждой и глубоко чужд этим ничтожным правителям; полное отсутствие общественного мнения, замененного *агитацией и пропагандой*, поскольку наша продажная интеллигенция снимает пенки и по своей исконной советской привычке рвется *прислониться* к власти, и главное для них (Лев Разгон) – "кушать подано": "На приеме у президента была такая белорыбица!"

А теперь я вижу, что и в израильском обществе – не по нужде и забитости, и забытости – нет, здесь жизнь вполне сытая, – и здесь я вижу, чувствую ту же российскую отключенность от общей судьбы и общей боли.

Если сегодняшний Израиль терпит Рабина с его *советскими* "мирными инициативами", то он действительно "заслуживает такое правительство".

Но и *правые* мне чужды. Возможно, они и правы, когда ненавидят социалистов-сионистов, киббуцы (Бунд в том числе), но это не *моя* правота.

Когда Иосиф Бродский из Америки бросил камень в Блока, обвиняя его и в нашей революции, и в нашей судьбе – судьбе поколений советских лет, – я считала (и убеждена в своей правоте), что бросить камень в "святое сердце Александра Блока" – глубоко безнравственно, что трагическая гибель Блока отнимает у нас право такого суда.

Я не говорю, что раз так, то социалисты правы и нельзя видеть их слабости, но то же чувство испытываю я, когда говорят подобное о судьбе моего отца (Бунд) или о тех сионистах и тех киббуцниках, которые не только превратили эту пустыню и эти болота в цветущий край, полили ее своим потом, своей кровью, защищая ее во всех войнах, отстояв ее в этих войнах, – а я, или мы, приехав, так сказать, на готовенькое, теперь будем их пинать... Ну нет!

Отсутствие исторического сознания – вот их главный грех. Внеисторизм.

Строить сегодня свое сознание на цитате из Торы, что Бог дал евреям эту землю, и потому мы будем убивать всех, кто на нее посягает?... Аллисон хорошо сказала: "Кому Бог *сегодня* сказал, что Он думает?!"

Не видеть ни страданий наших отцов (*моего* отца!), ни их великих жертв и их жертвенности, особо на фоне сегодняшнего вполне благополучия и буржуазности, – эта внеисторичность становится и *вне*нравственностью, а этого наш еврейский Бог не завещал.

Каким чудовищным, каким нестерпимым цинизмом (вот это был удар!) несло от пространных речей жирного преуспевающего еврея – религиозного! – о Катастрофе. Что ему Катастрофа – он судит и рядит всех, прямотаки наместник Всевышнего на земле!

Я не берусь судить – речь о другом. Я думаю, я печалюсь о том, что мой человеческий опыт, мои глаза открыли в новом для меня мире, – речь о *душе* и ее потерях.

Снова такое странное для меня, удивительное сближение: сегодняшняя Россия выключилась из истории, и в этом ее трагедия. Но и увиденное мною здесь тоже говорит о, кажется, невозможном – о выходе из истории – кого? – еврея!

Да, современный мир стал действительно таким *малым* и таким *единообразным*... и блоковская мысль о крушении гуманизма приобретает для меня здесь, еще острее и еще страшнее, – свою реальность.

"Куда ж нам плыть?.."

Повторяю, судить не берусь, и мне "правые" ближе, чем этот левый кровавый "мир" (словечко-то какое: "жертвы мира" – прямо родные ароматы!)...

И дело не только в том, что мы недавно из России.

На национализм израильских интеллектуалов Г.Н. ответил категорическим: "только как часть мировой культуры", и это самые точные слова: нет обособленной интеллектуальной жизни, нет обособленной национальной культуры.

Но вот слушаю РЭКу – радио на русском языке: один сладкоречивый богослов так отреагировал на теракт в Тель-Авиве: чем больше евреи испытывают *неприятностей* (нашел же словечко!), тем больше они обращаются к Богу и сознают себя евреями (ну чем не сталинское: "Приятно и радостно знать...").

Кстати, важное наблюдение. После страшного теракта на Дизенгоф в Тель-Авиве два интервью на радио: белорусский посол говорил с настоящей болью и состраданием, а наш умница Бовин долдонил фальшивым голосом о "мирных инициативах", и я сразу вспомнила, сколько лет он был слугой и им же остался, учитывая сегодняшние заигрывания России с Ираком и вообще с арабами.

А Россию и русский народ наши русские просто презирают – "такой народ"...

28.10.94

23-е октября – большой день в нашей жизни: нашему малышу сделали *брит*.

Наш чудесный Аркаша не только все организовал, но он читал подобающую молитву (рав доверил ему) и вообще был Косте как отец родной.

Видела бы ты, с каким терпением и осторожностью он отмачивал и снимал первую послеоперационную повязку!

Костенька вел себя мужественно и стойко, Аркаша в этой ситуации его особо оценил.

...все-таки был дом, был, хоть и сильно поредевший, но свой круг. Как сказал Саша Е.: с вашим отъездом исчезает целый мир, центром которого были вы.

И в наши годы, и при моих многолетних антидепрессантах...

Но главное дело сделано – Костю мы спасли, и ему здесь хорошо. Хотя тоже не легко и не просто.

А вот мистическая новость: Ленушка давно мечтала о сыне, и сын будет Борис, в честь моего отца. Б-н был против, и она отступила. А теперь его еврейское имя – Барух. Барух Эльштейн.

Как наша жизнь? Не так уж просто ее объяснить. Бытовые условия здесь, конечно, несравнимы с московскими (для тех, кто здесь уже обжился), но и для нас, начинающих новую жизнь с нуля (ни кастрюльки, ни тарелки...): что-то купили, что-то люди добрые подарили, но сама представляешь, каково мне в положении *нищенки*...

Многое необходимое нам еще недоступно, а квартирка наша совсем игрушечная: две крохотные комнатки, причем кухня вместе с первой комнаткой, а санузел прямо из второй – никакого коридора (350 долларов в месяц! – такие здесь цены).

Но здесь отличное питание, хотя и не дешевое, и надо крутиться – где дешевле и пр., на что у меня нет ни сил, ни умения, так что просто в чем-то себе откажешь, но, конечно, не Косте.

В смысле бытовом и материальном жизнь здесь, конечно, вполне западная: очень хорошие продукты, много полуфабрикатов (пойми, разберись в них...). Воздух здесь просто изумительный. Г.Н. сразу же почувствовал себя лучше, у него прошли отеки, лучше ходит и вообще стал бодрее. У меня что-то все кружится голова. В первое время – в состоянии предельного напряжения – сократила свои таблетки, но сейчас вернулась к прежней норме – тоска идет на смену шоку.

В денежном отношении живем мы очень экономно. Здесь дорогие и вода, и электричество, и телефон, так что накладные расходы немалые.

Особенно трудно без языка. Г.Н. в ульпане самый старший, но и самый успевающий – наша учительница от него в восторге. Но его начал подво-

дить слух, поэтому не решается говорить, а у меня такой туман в голове... Одна надежда на нашего малыша.

Иерусалим – сказочно красивый город, просто город-сказка. Я все вспоминаю Мандельштама, глядя не эту великую и вечную красоту:

"Который час?" – его спросили здесь,
А он ответил любопытным: "вечность".

Кажется, на такой *высоте* и люди должны быть особенными, но люди здесь всякие, и *внизу* обычная современная цивилизация, на американский лад, хотя и с метой востока.

Израильтяне, коренные, мне очень нравятся, но, к сожалению, общаться мне с ними пока не дано... Есть очень симпатичные ватики – это старожилы – те, над которыми дружно смеялись в самолетах евреи, в массовом порядке ехавшие – конечно же!!! – в Америку.

Но мне кажется, что те *единицы* из тех самолетов 70-х, т.е. наши ватики, сильно выиграли, избрав *верный* маршрут.

А наши олимы... глаза бы их не видели! – что там, то и здесь.

Костя очень серьезно воспринял иудаизм как религию *своего* народа, то есть *свою* религию. (Б-ны свое дело сделали – показали ему, что значит быть евреем, – это он усвоил).

О Б-не он говорит так: "Почему он говорит, что евреи украли у него ребенка?! Ведь я сам – еврей. Это он хочет оторвать меня от моего народа".

А недавно высказался: "Я скажу ему спасибо, что из-за него я уехал в свою страну. А потом дам ему по морде!"

4.11.94

Учительница сказала, что малыш очень хочет знать иврит, хорошо занимается – она им довольна. На шабат ходит один к Аркаше и очень это любит.

На наше одиночество я смотрю здесь крайне пессимистически – даже не представляю себе (глядя вокруг), с кем мы могли бы сблизиться.

Конечно, в московских условиях у меня сейчас вряд ли хватило бы сил на Костю, а здесь все-таки хватает...

Пишите письма! Пишите письма!

7.11.94

У нас наступила зима – холодно, а главное ветрено, и все время дожди.

Настроение у меня самое ужасное. Чувствую себя, да еще в такую пого-

ду, настоящим беженцем: наш неуют, наша теснота, наш холод (у нас квартира не отапливается – только обогревателем), вообще наше полунищенское положение, когда боишься за каждую копейку, – пособие нам еще не назначили – все проверяют: "У вас есть корзина!" – а проедать корзину тоже страшновато. Если бы мы были одни с Г.Н-м, то все воспринималось бы подругому, но у нас на руках ребенок, и надо думать о нем – не только на сегодняшний день, но ведь есть и завтра.

Г.Н. сразу стал в такую погоду хуже себя чувствовать – поднимается давление.

Позвони Лиде Осташенковой и скажи ей, что она мне часто снится и вообще часто ее вспоминаю, а не пишу ей – такое состояние тяжелое.

Во сне вижу нас в нашем старом доме, но там одна коробка, я вхожу в подъезд и вижу страшную высокую пустоту, и это так гнетет... такой вот сон.

Тут кругом люди приехали "за хорошей жизнью", а мы, как всегда, нищие (как всю жизнь).

У Кости в школе, понятно, есть проблемы. Какой-то толстый Рони его долго преследовал, пока (я малыша так на это подбивала!) он не разозлился и не надавал этому Рони, а тот его хлопал по попке:

– Он глупый, не понимает, что у меня одни кости и потому совсем не больно!

После чего Рони от него отстал. Костин вывод:

– Главное, оказывается, не толстость, а трусость!

А теперь там уже несколько человек пытаются Костю ловить (он убегает). Играл сегодня с олимовским мальчиком из класса, Виталиком, который уже давно здесь и знает иврит, а потом пришел израильский мальчик, к которому Виталик сразу переметнулся, а тот Костю начал гнать и уже собрался кидать в него камнями, но Костя ушел.

Хорошо, что у малыша такой мирный характер... но ему тоже нелегко.

Пособие нам еще не назначили, уже дважды ходили к ним выяснять, а переводчиком у них типичный сталинский еврей – и как они всюду пролезают! Будем ждать.

Зато Костина учительница пишет ему в тетрадь: "Костя, ты работаешь красиво".

13.11.94

Самое отрадное из здешних впечатлений – это наша учительница в ульпане, зовут ее Тамар.

Самые отвратные из впечатлений – два.

Первое – раввинат, который давал разрешение на Костин брит.

Сидели трое "судейских" (соответственное оформление, как в суде) – три жирных равнодушных еврея, оживившихся, только когда им принесли какую-то финансовую распечатку, долго ее обсуждали – так, как будто перед ними стоит пустое место, то есть я.

Проверили мои еврейские документы, а потом они меня допрашивали: какие еврейские традиции мы соблюдали? Ни судьба моей семьи, ни судьба деда их совершенно не интересовали, а на мос: "Я росла в ассимилированной семье", – удовлетворились: была ли у нас в доме маца и был ли Шолом-Алейхем(?) – это занесли в протокол, и на основании таких "традиций" разрешение мне дали. Я вышла оттуда как оплеванная.

Вообще индивидуального отношения – не бюрократического – пока еще мне встретить не пришлось.

И второе. В Аркашиной синагоге устроили в шабат праздник – кидуш по случаю Костиного брита. Я была так тронута, малыш получил подарки, внизу, где мужчины, шло доброе веселье (я подсматривала в окошко), все было естественно: пили, пели, говорили речи, поздравляли деда, пожимали Косте руку – он был так горд!

Женщины были наверху, и меня поздравила чудесная Рива – мама Изи Когана. Маленькая комната, плотно набитая прекрасно одетыми женщинами и детьми, которые – никто! – не только не поздравили меня, просто не видели в упор. И все жадно кинулись на еду: жрали сами и пихали в своих детишек и в свои сумки, причем самое вкусное (пирожки, к примеру) расхватали так, что досталось только им и их чадам. Может, они неделю заранее не ели?... Прямо по Маяковскому: "Два аршина безлицего розового теста, хоть бы метка была в уголочке вышита". Ничего противнее этого я в жизни не видела.

И все-таки мое недоверие к знаменитым интеллектуалам оказалось верным: М.Каганская и ее Зеэв – люди *элитарного* еврейского сознания – проверки Г.Н-м не выдержали (кто ее выдерживает!..). Она сказала по телефону, что рукопись его воспоминаний на высоком уровне, что она "самодостаточная" – но написать о ней (я просила в качестве поддержки что-то вроде рецензии) – на это нет времени.

Понятно, наш дед с его демократизмом, спокойной интонацией, глубокой человечностью и жаждой *правды* – это же все абсолютно беспартийно ("Нравственно то, что полезно пролетариату" (Ленин): "...что полезно евреям"). И это люди, вроде имеющие вкус, то есть способные на серьезные оценки, но только в рамках своего идеологического партийного взгляда.

Уже после моего сверхробкого обращения к ним ("Мы недавно приехали... никого не знаем... знаем Вашу статью о Цветаевой...") – у них дома странная фраза Бар-Селлы (мужа) – важно: "Мы эту книгу издадим" (я вообще ничего не поняла). Теперь узнала, что они ближайшие друзья главных власть имущих из "русских" – Ларисы Герштейн и Эдуарда Кузнецова.

Теперь нам вряд ли можно ждать какой-либо поддержки в Иерусалиме: здесь свои кланы, группы, партии, приближенные и отдаленные от пирога – тоже надо иметь покровителей.

Помнишь, вопрос Пастернака Мандельштамам: "Вы к кому ходите? Мы – к Бухарину". Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!

16.12.94

Марину Цветаеву многие упрекали за неблагодарность, и вроде действительно было за что: люди ей как могли помогали (как хотели!), и это была реальная помощь, а она – вместо благодарности – обижалась и обижалась.

Логики, как пишет Г.Н. о МЦ, – никакой.

И еще мне очень помнится луковка Грушеньки... всего только луковку она подала, а Алеша Карамазов ей за ту луковку все прощает.

Конечно, Цветаева права: обидчивость порождает обиду, особенно когда жизнь такой обидчивости благоприятствует. Но самому человеку нелегко определить – то ли обидчивость, то ли обида...

Что у нас? У нас *плохо*. Г.Н чувствует себя все хуже и хуже: давление, простуды, вернувшиеся ночные тревоги, которые не то что не дают спать – не дают лежать.

Вы об этом вряд ли знаете, но у него в конце 60-х после вирусного гриппа был страх замкнутого пространства, и я через одну высокопоставленную родительницу устроила его в психиатрическую больницу санаторного типа, и прошло – а вот сейчас вернулось.

Я думаю, резкое улучшение его общего состояния после нашего приезда в Иерусалим, как и мое сокращение таблеток (сейчас пью на полную катушку), объясняется, с одной стороны, тем, что снялось огромное напряжение – страх за Костю, а второе – новая жизнь сама требовала большого напряжения – на войне ведь не болели. А теперь, как говорится, *отпустило*... жизнь вошла в какую-то колею. Вот в какую?.. В нашей ульпановской группе (для пенсионеров) никто не живет в таких беженских условиях, как мы. У всех здесь есть кто-то, родные главным образом, кто позаботился о них, – сняли им хорошие квартиры, где все отдельно: кухня, нормальные комнаты, есть отопление, солнечный бойлер, свет в окнах (мы все время живем при элект-

ричестве, и, кстати, в сочетании с электрообогревом и отсутствием бойлера плата за электричество покрывает ту разницу, которую мы имеем в оплате квартиры) – и все это стоит 400-420 долларов. И оказывается, есть ивритская специальная газета, да и просто в ивритских газетах полно объявлений, и у всех есть, кто может перевести на русский, позвонить по телефону...

У всех, кроме нас.

Состояние мое самое паршивое, очень сильно устаю – короче говоря, состояние такое, что – чувствую – силы мои на исходе. Честно скажу, если бы я знала, что нас здесь ждет, не знаю, решилась бы я на такой шаг. Может, спряталась где-нибудь в России... во всяком случае, не в Израиле, даже сознавая, что для Кости лучше Израиль...

Мы как будто замурованы в этом сыром и холодном склепе. Никогда в жизни не чувствовала себя такой одинокой и такой заброшенной... никогда.

Когда мы уезжали, А.В-й сказал: "Ведь для Г.Н-а и для вас это как в могилу..." Вот и вспоминаю его слова, тем более что наша конура к этому располагает.

И такая во мне горчайшая обида – понятно, что на самых близких – на далеких ведь не обижаются.

А что я... я, может, вам только луковку подала... одну лишь луковку. А дед наш написал вот такой экспромт:

Занесла нас с тобою судьбина
На старости лет.
Будто мало ее роковая дубина
Наносила нам горестных мет.

Как много девушек меня здесь окружает с *дочкиными* волосами... каждый раз как игла в сердце.

...если б нашлась для нас *нормальная* квартира, я бы согласилась жить впроголодь (и так на себе сплошь экономлю, впрочем, как и всю жизнь).

5.01.95

Сны обо мне тебе снятся вещие...

На самом деле на нашу жизнь сейчас вроде бы трудно жаловаться в письме в Россию. Ты даже не представляешь себе, какие здесь чудесные продукты, круглый год овощи, твоя любимая зелень, насколько здесь легче быт – у меня отличная стиральная машина, о какой и не мечтала дома, саморазмораживающийся холодильник.

Зима – легкая, бывают холодные и дождливые дни, но вперемешку с теплыми и солнечными. Сегодня днем – 18 градусов тепла! А самая низкая температура была 5 градусов, тоже тепла. Когда сильные, с ветром, дожди, бывает холодно, но таких дней, да еще подряд, не так уж много. Правда, говорят, эта зима теплая.

В школе у Костеньки чудесная учительница Орна, которая его очень любит. Он уже говорит и читает на иврите так же свободно, как и по-русски, но пишет лучше на иврите.

Есть, понятно, бытовые проблемы. Самые дешевые продукты – на рынке, полчаса езды, транспорт дорогой, но комфортабельный (летом – кондиционеры), но за продуктами едешь в город и тащишь на своем горбу.

В новой квартире у нас уютно, я все время готовлю и кормлю своих мужичков вполне прилично, как достойная твоя ученица.

7.01.95

Насчет *внеисторичности* "правых": сионисты были как раз в истории, как мне кажется, потому и победили. Эти безбожники не думали о Божьем праве на землю Израиля, а думали о гонениях и погромах в галуте и мечтали о земле еврейского братства (как жаль, что эта мечта была всего лишь утопией...).

10.01.95

В нашем здешнем абсолютном одиночестве твой *знак*: я вас люблю, я вас помню – так драгоценен.

Наша абсорбция, понятно, идет очень трудно, она требует слишком много сил, которых просто нет. Но мы держимся – из последних сил.

Я давно поняла: легко – слабым, их все жалеют; трудно – сильным и гордым: меня не жалеет *никто* – я же не жалуюсь!

Если бы ты знала, как я, идя по Иерусалиму, встречаю то дочку, то тебя – ваши волосы... твоя стать, ее глаза, даже ее или твое лицо... Такие встречаются еврейские красавицы! Такие высокие, статные девушки...

Иерусалим – прекрасный город, здесь такая солнечная и теплая зима, да и лето мы вроде перенесли сносно.

14.01.95

У нас целая революция – переехали на новую квартиру! Это очень хорошо, и я благодарна той женщине – это подруга моей дорогой Карины (та врач-гинеколог, которая принимала Костю и вообще мне в жизни так помогала с дочерью, просто спасала, бывало), которая нам эту квартиру нашла.

Когда мы собирались и отодвинули наши кровати (так они были несдвигаемые – из-за предельно малого пространства), – обнаружили: кровати покрыты сплошь плесенью, такая там была сырость.

Здесь сухо, тепло (есть отопление, которое работает с 5 до 10 вечера, но этого вполне достаточно), просторно: две изолированные комнаты, отдельная кухня, есть солнечный бойлер.

Мне так хотелось, чтобы мои мужчины жили по-человечески, – добыла задешево мебель, наладила быт.

Лучше всего здесь нашему Костеньке. Здесь детям вообще хорошо: ходят свободно, никаких страхов за них, сами переходят улицы – машины здесь вежливые, а уж перед детьми в особенности.

Он в отличном настроении, учительница его хвалит, зовет "мотек шели" (мой сладкий). Тут дети часто слышат это слово, обращенное к ним. Костя во всяком случае.

Как здесь любят детей! Трогательно до слез, когда идет религиозный еврей, весь обвешанный детишками – один другого краше.

"Израиль – это страна детей!" – говорит наш малыш.

Очень славная религиозная женщина – преподаватель нашего ульпана Рахель Пресман, – какие потрясающие лекции на прекрасном русском языке она читает нам перед каждым праздником! – так вот, она сказала мне, что настоящие религиозные в Израиле живут в поселениях. Жаль, что у меня непреодолимый языковый барьер, даже если съездить туда (да и как мы можем съездить... Вот наш ульпан постоянно проводит экскурсии по Израилю – все ездят, кроме нас, – нет сил).

Если говорить о наших потерях, то – как это ни странно, это даже не абсолютное одиночество (а ты ведь знаешь, как я люблю людей!..), а абсолютная духовная пустота вокруг... один только быт... быт... быт.

Читаю только здешние газеты – тоже важно (тут большая русская пресса), но так далеко...

Каждый вечер смотрим "Вести" и приходим в ужас от происходящего в России: эти убитые... эти живые... душа надрывается. В смысле русского – здесь такая глубокая провинция... Россия, и сегодняшняя тоже, питала нас своими соками, своими болями и горестями. Как писала Парнок: "За морем веселье – да чужое, а у нас и горе – да свое!" Трудно.

Г.Н. еще много времени помогает Косте с уроками – ведь малышу тоже непросто осваивать новый язык, но у него хорошо получается, слава Богу!

Костя говорит: "Ведь это я вас привез в такую прекрасную страну!" Б-на вспоминает с яростью (я молчу): "Я вначале, если увижу его, дам ему два раза по морде, за себя и за маму, а потом скажу "спасибо"!"

19 февраля в библиотеке Сионистского форума будет презентация Г.Н-овской книги о Цветаевой.

28.01.95

Я действительно виновата перед тобой: не отвечала на твои письма. Но отвечать в том нечеловеческом напряжении, в котором мы прожили последний московский год, я просто *не могла*.

Каждый день шла битва за Костю. На нашей стороне были инспектора по опеке (они меня и информировали обо всем, происходящем за кулисами), районный прокурор, который подал иск о лишении Б. родительских прав.

Но звонок в суд из префектуры решил дело в пользу Б., и сразу отказался от нас прокурор (но не та инспектор по опеке, которая стояла за нас даже под угрозой увольнения с работы, – она не чиновник, молодая, из русской интеллигенции, по безработице оказалась в муниципалитете – только ее заступничество мешало им сразу отобрать у нас внука).

Победила, естественно, префектура, у которой сейчас беспредельная власть (вот это и есть, как говорят сейчас в России, *беспредел*) и которую вдохновил лозунг Б-х (ходили втроем: он, его мать и сестра): "Евреи отобрали у меня ребенка!"

Победил антисемитизм чиновников, хотя за нас пытались вступиться такие "киты" нашего "демократического" истеблишмента, как Борис Золотухин (когда-то Лена была ближайшей подругой его дочери), Глеб Якунин и другие.

На столе в префектуре уже лежал приказ о лишении меня опекунства – осталось только его подписать, – и тут мы буквально бежали из страны.

У Маяковского есть строка: "За всех расплачусь, за всех расплачусь!" – вот она, наша судьба.

Ты даже представить себе не можешь, в каком я была напряжении, какое количество таблеток поглощала... Жила в одном страхе: вот-вот они отберут Костю, и он там погибнет (он же там никому не нужен, интерес семьи к нему чисто меркантильный).

Когда возникла фантастическая возможность отправить Костю в Израиль (его вывезли по программе в интернат), Г.Н. сразу твердо сказал: "Мы едем" (это он-то, который и слышать не хотел ни о каких отъездах!).

Я собиралась (нужно было срочно и тихо!), проводив Костю, в сознании полной катастрофы этого отъезда для нас с дедом, но так стремительно – почти без сна – за полтора месяца все сделали: и разрушили свой дом, и уничтожили большую часть Г.Н-овского архива.

Он целыми днями рвал и рвал бумаги, исписанные его мелким почерком: "Сколько же, оказывается, я наработал..." – а у меня сердце обливалось кровью: все мечтала – вот будет полегче, разберусь в его записях... мы с Олей таскали на свалку мешками.

И сколько еще было пережито – здесь. Приехали, понятно, как туристы – дадут ли вместе с нами малышу гражданство (ведь нет разрешения его отца!)?

Но сочли мое российское опекунство достаточным, и гражданство нам дали вместе. Тогда мы смогли забрать его из интерната, что тоже было не просто: решал МИД Израиля, и они очень возражали: вы старые, у вас нет таких материальных возможностей (интернат действительно богатый).

Костенька в интернате очень тосковал – у нас сразу ожил. Нам перед самым его отъездом из Москвы пришлось включить его в ситуацию – объяснить опасность, и он уезжал совершенно сознательно.

Малыш осознал себя евреем и теперь сознает себя в своей стране. Израиль он любит, хорошо успевает в школе, быстро двигается с ивритом (не то, что мы – три раза в неделю ходим в ульпан, но толку чуть).

На мою тоску Г.Н. отвечает твердо: "Мы выполнили свое предназначение". Это так. Костю мы не только спасли, но в России ребенку сейчас вообще не место.

Но нам трудно. Творческий путь Г.Н-а завершен, хотя и не закончились его творческие силы. В последнее время в Москве были какие-то возможности, какие-то надежды. Здесь у него (у нас) нет ни сил, ни возможностей.

"Русский" Израиль – это такая глубокая провинция, и хотя уровень мировой культуры везде сейчас невысок, и Россия не исключение – культура в ней просто разрушена, но здесь себя чувствуешь, как в брежневские времена, причем на уровне той официальной "культуры".

3.02.95

С 1 января мы живем в новой квартире! Здесь наша жизнь, конечно, идет совсем по-другому – там мы были просто беженцы, и холод, и сырость, даже страшно вспоминать...

Здесь я расшиблась, чтобы было все для жизни, – моталась по олимовским складам, в одном даже завела знакомство (!) – чудный мальчик Юра мне звонил, когда у них появлялось нужное мне.

Я чувствовала, что Г.Н. просто на пределе подавленности – впервые в жизни он сказал мне, что у него депрессия.

А малышу так хотелось своего угла, а сейчас у него целая комната (я там только сплю), и свой письменный стол (квартира сдавалась пустая, и я по дешевке купила необходимое).

Здесь, когда быт налажен, у Г.Н-а состояние получше, и малыш так радуется, к нему приходят друзья поиграть. Так что жизнь наша налаживается.

4.02.95

То чувство, которое меня здесь гнетет, – это не ностальгия. Как вспомнишь нашу помойную родину... старушек возле этих помоек... общая атмосфера гнета и тяжести... нет, это не ностальгия.

Понятно, что я очень скучаю обо всех своих близких – ты же знаешь, как я люблю людей, как для меня важны человеческие отношения... – это сердечная тоска.

Но я думаю, самое сильное – это тоска духовная. Враз остановилась, прекратилась та духовная жизнь, которая для нас с Г.Н-ом была воздухом. Ее питала и российская боль и беда, и наша к ней вечная подключенность, и Г.Н-овские мысли, труды – та атмосфера, которой мы жили и дышали, вопреки всему, а главное – вопреки нашей личной трагедии.

Может быть, мы не сломились под гнетом дочкиной судьбы именно потому, что мы не отказались от той напряженной духовной жизни-борьбы, которая нас держала на поверхности – точнее, на *высоте*.

Вот и найдено точное слово – **высота**. Мы и сейчас не изменили главному в себе – выполнили, как говорит Г.Н., свое предназначение – наш любимый малыш спасен, и здесь ему *хорошо*, понимаешь?

Но мы вырваны из своих корней (все материалы, все наработанное годами, десятилетиями... – всего этого *нет*).

Помнишь, Г.Н. в одной из последних работ о Марине Цветаевой ("Смерть как подвиг") сказал, что Марина жила *негодованием*.

Так и я, всю жизнь негодующая... На кого же негодовать сейчас? На глубокий провинциализм "русских" евреев, с их спесивой, часто малограмотной прессой, с их слащавыми передачами о Евтушенко, о Дунаевском или Борисе Ефимове (главный политический карикатурист сталинских времен) и пр. и пр. – такая глухая провинция... Ну что я буду на это, что ли, негодовать?! Смешно.

И такой парадокс. Израильский легкий быт (действительно легкий – в сравнении) лег на нас тяжелым камнем, не только из-за повседневных забот "молодых родителей" (наша роль), но и нет языка, нет помощи в элементарном – Г.Н. тратит часы, чтобы прочесть и разобраться в каком-нибудь счете, который нужно срочно оплатить.

Здесь – в смысле бытования – хорошо молодым, и особенно – большим семьям, с тремя поколениями, которые вместе, общими силами, вживаются в новый мир. Мы же, как ты знаешь, в единственном числе.

9.02.95

"Уважаемый" Ермилов был литературным экспертом ГБ и давал экспертизу на Г.Н-овский роман – внутреннюю, так сказать, рецензию. А для меня, учившейся в институте в ту пору, Ермилов – это символ сталинского литературоведения, как говорится, законодатель мод. А теперь им увлечены американские слависты...

Г.Н. с грустью говорит: "Мир серьезно относится и к сталинской, и к хрущевской, и к брежневской эпохам".

Кстати, его книгу о Чехове я смутно помню, и помню, что это был типичный продукт времени – так мы, молодые, его воспринимали, как и Благого в роли отца-покровителя-надсмотрщика Пушкина.

Теперь о нашем малыше. 6 февраля, в понедельник, ему сделали операцию удаления аденоидов – все прошло в советско-израильском стиле. Хирург (ватик), говорят, хороший, но *слишком* деловой: велел покормить ребенка в 7 утра, а после ни капли ни еды, ни питья, приехать в 11 – операция в 12. Сам он приехал в 1.30, операция была в 2.30, ребенок страшно хотел пить и вспоминал, как Лена с Аркашей постились – без воды – в Йом-Кипур. Вообще устал, да к тому же нервное напряжение. Он говорит:

– Когда мне делали брит – это был праздник, а аденоиды – какой же это праздник...

Но самое поразительное: после операции он почти не спал, маялся, и вдруг из него фонтан черной крови: врач сказал мне, что аденоиды были очень большие, он даже не ожидал, видно; малыш наглотался, и в результате его несколько раз рвало – черной кровью. Так он мне после первой рвоты говорит:

– Бабушка, меня давно тошнило, но я не хотел тебя тревожить.

Вот такой ребенок.

22.02.95

Боже мой, как мне хорошо на душе! Ваше тепло, ваша сердечность – как они сейчас дороги и необходимы...

Мы тоже, Костя и я, сейчас болеем: у Кости высокая температура – вирус, а у меня, наверное, тот же вирус, но без температуры – у меня ее вообще не бывает. А перед этим малышу удалили аденоиды. Ему уже их удаляли в четыре года в Москве – там просто рвут живое мясо, без наркоза. А здесь под наркозом. И вот малыш только задышал свободно, как навалилась болезнь.

Сидя на балконе дома нашего друга – моего бывшего ученика Аркаши (ты, может, помнишь его?), к которому мы приехали в Израиль и прожили у него месяц, Генрих сказал:

– Вот я в 75 лет в шестой раз начинаю новую жизнь.

Да, мы по-прежнему паломники, как сказал тогда Армин. И действительно, нужны силы, ведь Костенька еще такой малыш! И он так любит бабушку с дедушкой, и не представишь себе, что будет с ним, если... Да, нужны силы.

Когда я читаю ваши письма, то мне кажется, что прибавляются силы, – раз мы в мире не одиноки.

Что сказать о нашей жизни? Трудно. Очень.

Много сил ушло и уходит на всякие официальные инстанции – хождение к чиновникам. Здесь не любят, когда приезжают по гостевому приглашению, а не на постоянную жизнь (как будто у нас был выбор!), а отношение ко всем сугубо формальное – никакие индивидуальные свойства человеческих судеб никого не интересуют – не только чиновников, но и так называемые "общественные" организации, где, если и попытаешься сунуться, тебя встретит обычный советский бюрократ (наши пробивные советские евреи-общественники!).

Нас проверяли – даже комиссию присылали – четыре месяца (а сколько раз мы ходили в эту "Битуах леуми"!), прежде чем назначили пособие на жизнь – по-другому говоря, пенсию по старости, а на внука добавили меньше 300 шекелей (всего около двух тысяч в месяц). Это было не просто трудное материальное время – главное, никакой уверенности – что будет?.. что дадут?.. Но теперь мы спокойнее – основа жизни обеспечена.

С квартирой сейчас нам повезло – теплая, сухая, две комнаты, отдельная кухня, хорошее тихое место. Сумела купить старую мебель по дешевке. Единственное, что купили новое, – сразу стиральную машину (первая в моей жизни, и все делает сама!): ведь здесь нет прачечных, куда мы в Москве сдавали постельное белье (правда, в последнее время там для нас это стало по ценам практически недоступно), а в новую квартиру – холодильник и газовую плиту.

Быт здесь, конечно, несравнимо легче московского, но у меня на него уходит много сил. Я тоже, как и ты, Региночка, каждый день думаю: чем кормить, что сготовить. Проблема еще в том, что мы живем на окраине, а дешевые продукты на рынке и в олимовском магазине в центре города – надо ездить. Вот сейчас болею – и перерыв в овощах и фруктах (покупаем фрукты, в основном, для Кости, а овощи едим и сами тоже).

В общем, конечно, грех жаловаться... Но вот беда – очень быстро устаю, прямо валюсь с ног. Хотя пока вроде бы справляюсь.

К религии малыш относится серьезно, но отстраненно, может быть, следуя нашему примеру. В субботу (не всегда) бывает у Аркаши, в синагогу

ходит с удовольствием, но редко. Любит очень еврейские праздники, сейчас просит карнавальный костюм для веселого праздника Пурим.

У него уже есть друзья, и вообще он, как и был раньше, ребенок жизнерадостный, и слава Богу!

В ульпан фактически ходит один дед, хотя он думает, что я вот-вот туда вернусь... И хотя знать иврит просто необходимо, надежд у меня особых нет.

Я очень рада, что теперь у вас есть книга Генриха. Ее лучше читать с конца: в ее начале – литературоведческие работы, а потом идут более общие.

Перед самым нашим бегством из Москвы была прекрасная презентация книги в Доме Цветаевой. Все было тепло и душевно – *по-нашему*.

А два дня назад была презентация книги в Иерусалиме. Для нас это событие наиважнейшее: ведь мы здесь в полной изоляции, можно сказать словом Марины Цветаевой – *лютое* одиночество.

И представь себе, презентация была очень хорошей: много народу, хорошо говорили о книге, о Генрихе рассказывал Аркаша.

Очень украсили вечер наши товарищи по ульпану – было много цветов, теплых слов. Говоря об отношении к Генриху, один из них сказал главное слово: *благородство*. О книге тоже было сказано: благородная.

Ко мне подошел человек – он из Москвы, приехал ненадолго и пришел посмотреть, какая в Израиле культурная жизнь: "Так я просто в восторге. Впрочем, вы ведь тоже недавно из Москвы..."

Нет, Региночка, я не больна ностальгией. Чужая Москва, старики копошатся у помоек... а сейчас, сказала одна приехавшая женщина, старики у помоек уже дерутся...

Все или ушли в нищету – не до высоких материй, или в бизнес – тем более не до них.

Генрих в своем парижском докладе к 100-летию Цветаевой ("Смерть как подвиг") опровергает расхожее мнение, что Цветаева всю жизнь мечтала о самоубийстве, – нет, она его не принимала. Цветаева, говорит он, не была поэтом трагического отчаяния – она была поэтом *трагического негодования*.

Так и я: вся моя жизнь, вся моя боль изливалась в негодовании. А теперь – на что мне негодовать?.. Израильтян я не знаю (очень жалею об этом, но язык...), "русская" культурная жизнь здесь – такое захолустье, да к тому ж как будто попали в советско-брежневский застой: борьба интересов, тщеславий... мелкости и спесивой пошлости – чего сверх горла хватило и там. Не будешь же на это негодовать...

Смотрю по телеку российские новости – душа, как и прежде, болит за Россию. А здесь вокруг – пусто... "перекинуться словом не с кем на роскошном моем языке".

Я не жалуюсь. Как говорит Генрих, мы свое дело сделали. Да, Костеньку мы спасли, и его теперь ждет не русская – израильская судьба, и это главная наша "победа над временем и тяготеньем".

Вот вам парадокс израильской жизни. Мы, конечно, совсем юные израильтяне – но при этом старые евреи, и оба через всю жизнь несли свою нелегкую еврейскую судьбу.

Но единственное место, где проявили *интерес* к нашей *личной* судьбе, к судьбе нашего деда, – это благотворительное общество "Друзей Израиля" – христиане из разных стран, которые не просто любят евреев – они верят, что когда все евреи соберутся в Израиле, тогда придет Мессия.

Каждому репатрианту в Иерусалиме они дарят подарок, но при этом спрашивают о твоих личных обстоятельствах. Нам дали индивидуальную помощь на год: ежемесячный проездной билет мне на автобус (стоит он 120 шекелей, транспорт здесь очень дорогой), Генриху карточку на двадцать бесплатных ездок – ему хватает на месяц, да еще бесплатные продукты два раза в месяц. Для нас это большое подспорье.

Кстати, у нас совершенно нет, да и не может быть бытующего здесь и усиленно внедряемого русскими СМИ сознания: какой, дескать, добренький Израиль – мы для него ничего не сделали, а он нас кормит.

Возмущенный Генрих на это отвечает: "Как я ничего не сделал для Израиля?! Я всю жизнь был евреем и нес свою еврейскую судьбу!"

Наши с Генрихом отцы были расстреляны, мой – в сорок, его – в сорок семь лет, за то, что в молодости были членами Бунда (еврейская рабочая партия), мою мать репрессировали как жену, Генрих и его старший брат Самуил добровольцами пошли на фронт, брат погиб в 41-м, Генрих выступил против тоталитарного режима, много лет провел на каторге – а каково *там* быть евреем!.. трех сестер его отца с семьями, как и всю родню моей матери, уничтожили в гетто, мы сами бежали из России из-за антисемитских преследований – кому же должен помочь Израиль, как не нам?!

Я себя здесь бедной родственницей – облагодетельствованной! – совсем не желаю чувствовать!

Те евреи, которые там процветали, могут иметь другое сознание. Но почему этого ждут от меня?! И вся пропаганда на русском языке мне это внушает.

Вот и негодование. Как же без него?..

Уже ночь. Костя спит. Генрих занимается ивритом. А я смотрю на ваши фотографии - вижу ваши чудесные лица, вновь переживаю строки ваших писем и не могу с вами расстаться.

Ваш замечательный "Дом тишины", который "врачует болящий дух"...

Вот бы к вам, в тишину вашего дома и в тишину вашей душевности...

Иногда мне кажется, что все это во сне... вот сейчас проснусь...

Я *знаю* (это знание – не чувство!), что в России для кого-то была *чужаком*. Здесь я себя чужаком – чувствую.

"Кому повем печаль мою?.."

1.03.95

Вчера в школе был праздник – "месиба", и это был просто сказочный вечер. Дети такие красивые, в нарядных костюмах, с горящими полукружьями на головках. Плясали и пели, а я плакала, когда Костенька вместе со всеми пел песни на иврите – о Иерусалиме, об Израиле... Все было так красиво, дети такие счастливые!

Что ж, подумала я, ради этого...

(Продолжение – в следующем номере "Галилеи")

“КУДА УЕХАТЬ?..”

Дан Мирошенский

* * *

Все уже говорено и переговорено,
Все, что можно опозорить, – опозорено,
Все, что можно разорить, – разорено,
И у многих на уме теперь одно!

Куда уехать? Куда уехать,
Когда земля уходит из-под ног?
А сердце вторит, как будто эхо:
“Везде ты будешь одинок...”

Просыпаюсь поутру – на душе тернисто.
Мне ЮАР не по нутру, там расисты,
А в Израиле война и, конечно, жалко,
Хоть хорошая страна, но жарко,

Куда уехать?

Кишинев, 1989

ДРУГУ ДЕТСТВА

Изе

Давай пройдемся в памяти
Да из гостиной в детскую,
Где колокольцы-бубенцы
Звенят уже другим.
В тот заповедный край души,

Где, каждый звук приветствуя,
Простую музыку теперь
Мы слушаем как гимн.

Ах, юность, жадная пора,
Порой до неприличия.
А жизнь – игра, и смерть – игра,
И память – лишь игра,
Когда еще не по мозгам
Понять, что ставки взвинчены
И завтра нам платить долги
За легкое вчера.

Нас разметало по свету,
Как одуванчик во поле,
И мы с тобой в чужих дворах
Пустили корешки,
Но в левой стороне груди
Наш не перпетуум-мобиле
Еще пыхтит на том пару
И подает гудки...

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ ЛЮБВИ

Посмотрите, у мужа уже в бороде серебро...
Это самое время для беса забраться в ребро.
Будьте бдительны, женщины, если вам дорог очаг,
Ваш безвольный супруг совершает отчаянный шаг.

Уже сходит прощальный, словно с листьев тускнеющих блеск.
В этот срок еще очень природа способна на всплеск.
Всплеск отчаянья, всплеск никогда не допитой любви,
Как блуждающий вирус в еще не остывшей крови.

Это дым от огня подпаленной опавшей листвы.
Дай нам Бог много мудрости, чтоб не терять головы.
Этот возраст коварен, он уже не боится молвы,
И спросите себя – на прощенье способны ли вы?

В этот срок вы должны уже знать, как присесть, как прилечь
Вас любили и любят, но как это чувство сберечь?
Это ваша забота и ваш не упущенный шанс:
Белый танец любви – не дарите другим этот вальс.

Борис Рабкин

РЕКВИЕМ ДУШЕ

День черен пустотой потухших глаз
И злобой покореженных сердец,
И желчью фраз.
Осколки состраданья
Кровавым отблеском по черному наносят
Следы дождя на высохшие лужи
Соленых слез.
Я зябну.
Одиночеством распятый, ропщу,
Растерзанный воинствующей силой,
Мешающей смеяться и любить.
Я задыхаюсь от потоков гнева,
Впивающихся молниями в то,
Что раньше я считал своей душой.

БЕДА

Беда – это когда прошли года,
А ты – один. Вот это уж беда.
А не тогда, когда все ерунда,
Ведь можно ерунду назвать бедою.

Беда – когда ты тех, кого любил,
Из-за минутной слабости забыл.
А, может, ты их вовсе не любил,
Но любовался лишь самим собою?

Беда – когда поступки без стыда,
А всем плевать. И слезы, как вода,
Ведь сердце – камень. Это уж беда!
И все уже не кажется невинным?

Беда – когда кощунство над бедой,
Когда за миг становишься седой.
Мгновения несутся чередой,
А ты завален черствости лавиной.

Игорь Бунчис

ЛОГИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА

* * *

"В этом белом чулане жизнь похожа на вещи
Есть в нем восемь вещей.
Все бы я перечислил,
Только выключен свет".

* * *

"Семья из четырех улыбок и теней
сошлась у зеркала. Где мир
объединяется в людей.
И зеркало удвоило идеи.
И отраженье стало утвержденьем".

* * *

"Боялись, строили и жили,
Грешили, вешались, прощались,
Любили, множили, постились...
Распни! Распяли и распялись..."

* * *

"Подбери к себе синоним,
сохрани его на память
и подумай, может, кто-то,
очень ласковый и добрый,
и красивый, и прекрасный,
твой синоним подобрал".

Леонид Долгин

У МОГИЛЫ МАТЕРИ

В глазах гнездится пелена,
На сердце грустно и прогоркло.
Кладбищенская тишина
Комком запрессовала горло.

Стою, снедаемый виной:
Два с лишним года здесь я не был.
Простерлось небо надо мной –
Седое траурное небо.

Могила матери у ног,
Оградки роковая веха.
Прости, что раньше я не смог
Хотя б на день к тебе приехать.

Теперь живу я в том краю,
Где камни Иерусалима
Заполонили жизнь мою.
И ты присутствуешь незримо

В библейской ауре Стены
Еще того, второго, Храма
Среди флюидов старины.
И это – правда, правда, мама!

Когда в волнении рукой
Коснулся я прохлады камня,

Я вдруг услышал голос твой –
О нем напомнила Стена мне...

Ты ощутила – листьев дрожь
Прошла внезапно и неслышно?
А вот и гром прокаркал: "Дождь!"
Нам этот дождь, как третий лишний.

Но – пусть: вмешательством своим
Он не прервет беседу нашу.
Давай еще поговорим,
Пока оградку я подкрашу.

Михаил Лезинский

ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ

Я умер 7 ноября 19... года в 16 часов 7 минут и 32 секунды...

Если быть точным, то я не умер, а меня зарезали на операционном столе. Хирург, которому бы только кастрировать лошадей, а не штопать человеческие сердца, с досадой взглянул на мое застывшее тело и, покачивая кочаном-головою, произнес:

– Еще один жмурик! Это все козни недругов – подсунули мне недоброкачественый материал! Защита докторской опять откладывается! Ладно, – это он к медикам своим в зеленых халатах обратился, – зашивайте, я свое дело сделал!..

И хирург Сергей Иванович Склифасофский, – даже не однофамилец тому эскулапу! – на ходу стягивая окровавленные перчатки, двинулся в "ожидалку" выпить чашечку кофе.

Я и при жизни был человечком не шибко воспитанным, хоть и числился писателем, но тут я просто вышел из себя:

– Куда ты уходишь, хрен стоеросовый?! У меня же еще мозг не умер, меня еще можно откачать! Позови Юрку Кучера – он эти клапаны и за операции не считает. И не таких жмуриков ему приходилось вытаскивать с Того Света! Эй, доцент-процент застиранный, чего молчишь?!

Но Склифасофский, – все его называли Склиф, коротко и никого не напоминает! – без пяти минут доктор медицинских наук (все равно защитится!) не услышал. Вот тогда-то до меня дошло окончательно: я умер. Ушел в другое измерение.

Я догадался об этом после тщательного самоанализа. Жена моя, которая после моей смерти превратилась во вдову, называла этот мыслительный процесс – самокопанием.

Мне показалось странным, что смерть не стерла мою память и не отразилась на моем мыслительном аппарате, – я не могу сказать "на мозговых

извилинах", потому что часть мозга тут же была изъята для каких-то испытательных целей. Неужели Склифу заранее был известен исход?..

Я хорошо видел операционную, даже мельчайшие закоулки этой залы, где потрошили людей, куда глазом невозможно было дотянуться. И это заставило меня насторожиться – чем же я смотрю?!

Я увидел свое распластанное тело с поломанными ребрами и свое сердце с небрежно вшитым клапаном. Мысленно прокрутил картинку своей отвратительной жизни и был... рад своей смерти. При жизни мое тело мне сильно досаждало. Постоянно что-то болело, ныло, и, усмиряя боли, приходилось подпитываться лекарствами, которые в стране, где я родился, всегда были дефицитом.

И все же, все же, все же, – как писал в свое время человек, с которым я был знаком и с которым мы теперь непременно встретимся, Александр Твардовский, – хотелось бы еще немножко пожить.

Вон он – Александр Трифонович! Приветливо ручкой – вечным пишпером – машет!.. А за спиной Твардовского... Ох, сколько знакомых, и все мне улыбаются: Михал Аркадьич Светлов, Ярослав Смеляков, Александр Галич ... А еще больше тех, с кем не знаком был лично, но читал и почитал их... Сидят, мирно беседуют между собою, "распри позабыв". При жизни познакомиться не довелось, так хоть после...

"Как там?" – не разжимая губ, посылаю сигнал в преисподнюю.

"Ничего, – отвечают, – ничего хорошего. Если есть возможность - задержись на земле?"

"Вы так считаете?"

"Да, мы так считаем!"

"По-ста-ра-юсь!"

Эх, если бы сейчас в операционную доставили мою пишущую машинку, я бы тотчас отстукал на ней письмо-послание Сыну Божьему Иисусу Христу – он же смог воскресить Лазаря на третий день после смерти, когда тело того под жгучей жарою разложилось до неузнаваемости. А тут – прошло всего ничего, час-другой.

Я, не верующий ни в Бога, ни в черта, написал бы ему:

"Гражданин мира, любезный Иисус Христос! Я, конечно, сейчас каюсь, что не верил в твое существование, но я, признаюсь тебе честно, в существование Господа Бога тоже не верил, а сейчас понимаю: есть Высший Разум на небе, а это и есть, наверное, Бог?!

Так вот, дорогой Иисус, я не хочу за веру вымолить свою жизнь, больше того, плевать я на нее хотел с колокольни Петра Великого".

Мой мыслительный аппарат тут же выдал сигнал: "Сдержаннее, сдержаннее надо быть. Все знают, что по части ругательств ты любому классику дашь фору! Самому товарищу Христу, хоть и мысленно, послание сочиняешь!.."

Сдержаннее так сдержаннее. Станешь сдержаннее, когда даже это жалкое существование на этой земле окончилось безвременно, когда не дописана главная книга жизни, а те немногие вымученные страницы, написанные по следам жизни, – жалкие потуги на то, что ты хотел и мог бы написать!.. Что делать, если ты жил в такие времена, когда поощрялась другая литература, – это продолжает работать мой мыслительный аппарат, он сейчас за меня думает, – когда премии получали другие литераторы, которые могли себя показать с высокоморальной партийной стороны...

"Да это Иисус Христос и без тебя знает и не будет судить тебя строго, – вновь вмешался в остатки мозга мыслительный аппарат! – покайся ему. Поверь себе, ты еще не самый худший из литераторов... Ты понял, какой линии тебе надо придерживаться?"

Как только в моем мыслительном аппарате появилась такая информация, тотчас собственной персоной передо мною появился... Иисус Христос!..

– Мне не надо посылать письма, достаточно и того, что ты, безбожник, вспомнил обо мне.

– Э-э, нет, разлюбезнейший Иисус, позволь с тобой не согласиться! Многие, очень многие обращались к тебе за помощью, но ты не торопился! А-а, понимаю: ты пришел помочь мне как еврей еврею. Кто-то пустил по свету необщипанную утку, что евреи всегда приходят друг другу на помощь. Враки все это, достопочтенный Иисус!..

– Да я помогаю только умершим, – ответил Христос и улыбнулся.

Он потеребил свою красивую бородку и усмехнулся. При этом его голубые выразительные и в то же время печальные еврейские глаза испускали пронизывающие лучики.

Ох, бабы, бабы! Да захоти Божеский Человек – окрутит вас в один миг всех вместе и каждую в отдельности!

– У-мер-шим?!

Нежный и слегка певучий голос Иисуса засел в моих неслышащих ушах.

– Я пришел к тебе не как еврей к еврею – у меня уже давно нет национальности. Да и у тебя, признаться, тоже. Разве ты знаешь иврит? Разве *Книга* стала для тебя настольной? Разве тебе знакомы еврейские законы и обычаи?.. Пасхальные, например...

– Это когда яйца красят, Христос? Но ведь евреи не красят яйца – боятся щекотки.

– Вот видишь, ты и сейчас не можешь удержаться от своих непотребных острот. И это при твоем нынешнем состоянии... Если я тебя оживлю, что другие подумать могут? Дескать, оживил богохульника, а нас, верующих в тебя всеми мыслями и плотью...

– Не продолжай, Иисус, из твоих рук я милостыню не приму...

– Зачем же звал?

– Это не я звал, а Некто, что когда-то было мной.

– Я ухожу... Каяться не будешь?

– Не буду!..

И действительно, что мне каяться перед Иисусом Христом?! Мне б покаяться перед женами своими, коим изменял по многу раз, мне б покаяться перед матушкой Литературой, которой изменял намного больше раз, чем женам. Мне б покаяться перед здоровьем своим, которое отравлял табачищем и сивушными маслами, которые водятся в плохо очищенном самогоне...

По-прежнему лежит мое бездыханное тело на операционном столе, по-прежнему санитары занимаются уборкой, не обращая внимания на нашу беседу с Иисусом Христом...

Последнее, что я вижу, – это склоненное надо мною лицо хирурга Юрки Кучера – он мне показался в те минуты намного красивее Иисуса Христа, – да об этом мне говорили все медсестрички и врачихи, невзирая на возраст! Слышу – неужели слышу? – его музыкальный голос.

– Кто это кощунствовал, что еврей еврею никогда на помощь не придет?!

И к своим помощникам:

– А вот теперь зашивайте!..

Я умер 7 ноября 19.. года в 16 часов 7 минут 32 секунды... Я вновь народился на свет 7 ноября 19..года в 16 часов 11 минут 37 секунд...

Вот только мыслить стал хуже: часть мозга, взятую на исследование, так и не вернули.

Фаина Дибнер

СМАЛЬТА

"Детство девочкой кудрявой
По тропинке убежало..."
(Из не написанного мной)

Вот так я и живу. Сама себе – эпиграф.

Смешно! Бывает – не очень. Стеклышки цветного детства складываются в витражи. Украшают черно-белую взрослость.

Ненавижу серое! По мне – либо черный, либо белый. Максимализм? Ну и пусть! А я достану из детской коробочки цветные стеклышки – осколочки детства. И сложу такой узор! И буду глядеть в него, наполовину зажмурясь...

ЯНТАРНАЯ СМАЛЬТА

Отец возвращается из командировки – босиком! А в руках у него – сапоги. А в сапогах – две маленькие кунички. Они ночью залезли к нему в сапоги. Наверное, захотели подариться! Подарились... Счастья и писка – полный дом! Соседский Сашка хочет поменять куничек на свою новорожденную сестричку Наташку. Она тоже пищит! Родители почему-то не хотят... А девочка на кухне договаривается с Сашкой. Одна куничка – одна Наташка! Ну почему – нет? И вторая же еще останется!..

А ночью писк сменяется воем дикого зверья. Вой несется с балкона их третьего этажа... До утра в пятиэтажной "хрущобе" не спят соседи. Сладко спят только девочка и мальчик – в ожидании "культурного обмена"! Да еще, наевшаяся и наоравшаяся, спит не уписавшаяся пока Наташка. Спит, не ведая, что стала козырной картой в играх старшего брата. Спите сладко, дети!..

На рассвете отец складывает куничек в картофельный мешок. И относит в соседний лес. Любопытные кунички доверчиво бегут за ним... Но тут же, заигравшись, отстают.

– Слава Б-гу! – говорит отец. – А то мне перед вами было так неудобно!..

ИЗУМРУДНАЯ СМАЛЬТА

Отец и дочка гуляют в любимом лесу. И знакомятся с двумя "дядьками". "Дядьки" разворачивают на земле чертежи. И показывают: здесь все будет выкорчевано и застроено. Там встанут дома, а тут – пройдет дорога. Такой проект.

"Ого! Надо разобраться!" – И кудрявый шарик с бантиком завертелся у их ног. Пятилетний шарик все понял. Рощу надо спасать! Он подкатился к разложенным на траве бумагам и... на мелкие кусочки! И развеял по ветру! В мгновение ока!..

Крик стоял – ужасный! Здоровенные дядьки бросились ловить маленький шарик...

Отец сам поймал свой шарик и подхватил на руки. Кое-как извиняясь за беду, потащил свое чудище домой... Пытался объяснять на ходу... Но чудище было – непробиваемо!

– Я спасла рощу! Папа! Ну правда же – я совершила подвиг?!

– Правда... – обнимая родное, довольное чудище, прошептал отец.

РУБИНОВАЯ СМАЛЬТА

Вообще жажда подвига жила в ней постоянно... И желание помогать Родине. Для пяти лет это нормально!

Как-то раз отец принес домой географические карты. Их надо было раскрашивать.

– Малая, ты хочешь помогать Родине? – "без дураков" спросил он дочь.

– Очень мечтаю! – патриотически воскликнула дочь.

– Тогда раскрашивай карты.

И целых три часа в доме был штиль... Высунув набок язык, пушистое существо раскрашивало карты цветными карандашами. Растирало ваткой... И сделало львиную долю папиной работы!

Потом быстренько пообедали. И... утомившееся чудо-дитя, зажав в кулаке красный карандаш, "набекицер" нарисовало на оставшихся картах "каляки-маляки".

– Что ты наделала?! – закричал утративший бдительность отец. – Ты же так хорошо помогала Родине!

– Я уже устала помогать Родине! – честно созналось дитя. – Папа! А можно я буду помогать Родине только до обеда? А после обеда я буду себе свободным... рисователем?..

– Я все понял! – пробормотал отец. – Богемное ты мое дитя!..

БИРЮЗОВАЯ СМАЛЬТА

Мама купила дочке дорогую книжку – "Доктор Айболит" с цветными картинками. Дочка училась читать. И опять до обеда было тихо. И опять взрослые утратили бдительность.

Мама зашла в комнату, чтобы позвать ребенка кушать. Открыла рот – и осталась так... Потому что увидела, как дочка, тщательно поплевав в книжку, стирает пальцем какие-то картинки. В книжке зияли сквозные дыры.

– Что ты делаешь? – в ужасе закричала мама.

– Да вот, стираю плохих людей! Бармалея и Варвару! – гордо отвечала дочь.

Тут у мамы сдали нервы, и она надавала дочке по рукам.

Дочка взревела – возмущенно.

Вечером с работы пришел усталый отец. Мама нажаловалась ему на дочь. Реакция мужа была для нее неожиданной:

– По-моему, ты должна перед ней извиниться! Она стирала плохих людей! Это – поступок.

Мама пошла мириться с дочкой. Но, будучи филологом-педагогом, она решила преподнести ей нравоучение в стихах.

– Давай вместе сочинять стихи, – дипломатично сказала мама.

– Берегите, дети, книги,
Книги – наша радость!
Тот, кто книги разрывает...

– Тот... большая гадость! – весело и самокритично резюмировала дочь.

А вечером, когда отец пришел поцеловать ее на ночь, спросила:

– Папа, ну правда же, я опять совершила подвиг?..

– Правда, – искренне ответил отец.

САПФИРОВАЯ СМАЛЬТА

Первоклассница сидит за письменным столом. И пишет первое в своей жизни сочинение по картинке. На картинке – зимний лес. Картинка из "Родной речи". Попробуй – сочини!

– Давай я тебе помогу! – говорит мама-филолог.

– Нет, мамочка, уйди, пожалуйста! И не стой надо мной! А то ты нарушишь мне струю... – пищит девочка.

– Ну и ну! – возмущается мама-педагог. – Струю, видите ли, я ей нарушу! Какую струю?..

– Да ведь я – переливаюсь... – бормочет дочь.

Вечером, почти ночью, звонит отец из командировки. Слышно очень плохо.

– Понимаешь... малая... она... – едва шелестит в трубке голос мамы.

– Что?! Что – малая? Заболела? Упала? Ради Б-га, что случилось?! – орет отец.

– Нет, ты понимаешь... Она написала... сочинение. Она написала... про дрожащие под снегом ветки синих елей. Как, тихо шурша, падает шишка... И что-то про снежные искорки, которые почему-то летят у нее вверх... Слушай, а давай я тебе лучше прочту... Ну, что ты скажешь? Кого мы с тобой родили?..

– А что ты хотела? Кого мы с тобой могли родить?..

...Тихо позванивая, скользят цветные осколочки из закоулков памяти, расцвечивая и освещая графический рисунок наших дней.

Если бы не эти осколки!..

Вот еще один кусочек.

МАЛАХИТОВАЯ СМАЛЬТА

Как ее спасенная роща!

Первое воспоминание детства: отец учит ее ходить...

Она карабкается по оврагам, толкая впереди себя свою "сидячую" коляску:

– Я – сильная! Я – смелая!

А потом - устав и выдохшись:

– Я – маленькая! Я – слабенькая.

И опять садится в колясочку.

Отдыхает – чуть-чуть. И снова:

– Я – сильная! Я – смелая!

И снова карабкается в гору.

И так – всю жизнь...

Михаил Ронкин

САМОРОДОК ДЛЯ ИЗРАИЛЯ

Из "Протоколов еврейских беглецов"

До чего же удивительные события происходят иногда в жизни. Недавно побывал в гостях у ватика-хирурга Якова Фридмана, репатриировавшегося в Израиль на волне алии-70. В 68-м, сделав мне сложнейшую операцию, он чудом вытащил меня с того света, где я чуть было не оказался в результате тяжелейшей автокатастрофы. Весь вечер за бутылкой "Абсолюта" мы вспоминали, как трудно и долго возвращался я к жизни, как помогали моему возвращению окружавшие меня люди, как буквально с ложечки поил меня живительным куриным бульоном сосед по больничной палате – румынский еврей Исаак Гринберг.

– Где он сейчас – жив ли, нет? - раздумчиво вздохнул я. – Помнится, была у него заветная мечта прожить остаток дней на Земле Обетованной...

– Ты, наверно, не поверишь, – грустно улыбнулся старый хирург, – а ведь мечта Исаака осуществилась. Последние свои годы он прожил в Петах-Тикве. Там и похоронен.

– Жаль, не довелось свидеться, – вконец расстроился я. – Не знаю, рассказывал ли он тебе о своей удивительной судьбе, но у меня вся его жизнь – как на ладони.

– Вот бы и написал о нем в газету или в журнал, пусть люди знают, как нелегко далась нашей алие дорога на прародину,

– Подумаю, – пообещал я. – Но уж если напишу, то только так, как он сам рассказывал о себе, то есть не прибавляя и не убавляя.

– До осени 40-го, – рассказывал Исаак Гринберг, – я жил в Бессарабии. Рос в зажиточной еврейской семье и, окончив гимназию, поступил в коммерческий колледж, многие студенты которого восторженно отзывались о Советском Союзе, боготворили Сталина и с нескрываемой симпатией относи-

лись к румынской компартии. Естественно, что такими настроениями был пронизан и я.

В июне того же 40-го по улицам нашего города прогрохотали советские танки, а вслед за ними, чеканя шаг и горланя: "Белоруссия родная, Украина золотая, наше счастье молодое мы штыками защитим..." – в город вошли красноармейцы. Истинную цену того счастья, о котором пели рязанские и вологодские парни в солдатских пилотках, я понял, когда начались аресты. Сажали в основном зажиточных уважаемых людей, немалую часть коих составляли евреи. Отец мой начисто лишился сна и покоя. Он денно и нощно твердил, что, пока не поздно, нужно пробираться в Палестину. В один из дней, собрав все самое ценное, что было в доме, мы подались к румынской границе. Там-то нас и арестовали. Меня упрятали в тираспольскую "пересылку", а отца с матерью, как удалось узнать позже, выслали в Северный Казахстан, где они вскоре обрели свой последний приют.

В тюрьме я просидел чуть более полугода, а затем меня как "агента сигуранцы", однако без суда и следствия, отправили этапом прямиком на далекую неведомую Колыму. Уже там, за колючей проволокой ГУЛАГа, меня ознакомили с постановлением чрезвычайной "тройки", из коего я узнал, что осужден на десять лет заключения в лагере строгого режима. Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал.

Я уже говорил, что рос в состоятельной семье, где был единственным да к тому же еще поздним ребенком. Меня лелеяли и ласкали, оберегали от забот, сдували чуть ли не каждую пылинку. Выросший в неге и тепле, богатырским здоровьем я, разумеется, не отличался. Так что не удивительно, что, сев сначала на тюремную, а потом на лагерную баланду, в кость, как пели бывалые зэки, "крупинка за крупинкой бегают с дубинкой, а жиров так целый миллиграмм", я скоро превратился в натурального лагерного доходягу. Впрочем, операм и прочему тамошнему начальству на все это было наплевать. Не дав мне даже малость оклематься после долгого, изнурительного этапа, меня с ходу снарядили на лесоповал, а по прошествии некоторого времени определили в бригаду золотодобытчиков.

Работа эта была воистину каторжной. Ее можно сравнить лишь с трудом рабов, возводивших египетские пирамиды. Поднимали нас затемно, и мы до позднего вечера, стоя по колено в слякотной снежной шуге, промывали золотоносный песок, выуживая из него крупицы драгоценного металла. Благо хоть вкалывали мы без конвоя, что позволяло время от времени сушить портянки и согревать закоченевшие на морозе руки у чадящего костра. Летом было малость полегче, но донимал гнус. Тело постоянно зудело, а язвы от нарывов гноились и подолгу не заживали.

Не могу понять, что давало людям, и в частности мне, силы выжить в таких кошмарных условиях. Видимо, в человеке от рождения заложен огромный запас прочности, позволяющий не только преодолевать невзгоды, унижения и издевательства, не только подавлять в себе чувство отчаяния и безысходности, но и, возвысясь над палачами, сохранить веру в себя. Иначе откуда бы у меня, избалованного родителями и родственниками еврейского юноши, хватило воли не наложить на себя руки, а продолжать жить, если вообще мое лагерное существование можно было считать жизнью...

Когда до обитателей лагеря дошло известие о начавшейся войне, появилась робкая надежда, что кое-кого из нас призовут в действующую армию. "Пусть бы даже определили в штрафбат, чем заживо гнить на этой проклятой каторге", – мечтательно вздыхал мой сосед по барачным нарам Давид Розенблюм. На пожелтевшем листке, вырванном из раздобытой где-то ученической тетради, он написал заявление на имя начальника лагеря с просьбой отправить его на фронт. Я и еще несколько зэков слово в слово переписали текст этого заявления и, бережно сложив свою писанину в аккуратную стопочку, дружно благословили Давида на правое дело. Напросившись на прием к оперу, он вручил ему наши заявления, но тот, прорычав, что заключенным категорически запрещена подача каких-либо прошений, тут же упек "добровольца" в бетонный карцер.

С началом войны жизнь в лагере стала еще тяжелей. И без того скудную пайку черного, испеченного с добавлением жмыха и отрубей ржаного хлеба, урезали почти на треть. О мясе и жирах приходилось только вспоминать. К тому же у меня началась цинга, стали кровоточить десны, шататься и выпадать зубы. Я превратился в ходячий скелет и был реальным кандидатом в покойники. И вот тут-то мне неожиданно подфартило, а может, это наш еврейский Бог, в которого я не очень-то и верил, сжалился надо мной и решил вызволить меня из могилы, в которую я уже ступил одной ногой. Кому-то из начальства пришла в голову мысль отправить меня на дальнюю охотничью заимку, где в таежном приволье нагуливало жирок небольшое стадо принадлежавших ему бычков. Рядом с заимкой протекала неширокая, но быстрая порожистая речушка, в которой плескались жирные хариусы. Смастерив из того, что попалось под руку, немудреную снасть, я довольно быстро наловчился их ловить. Пойманную рыбу я жарил на горячих угольях, нанизывая ее на проволоку. За два с лишним года пребывания в лагере я впервые не испытывал постоянно мучившего меня тошнотворного голода и даже маленько окреп и прибавил в весе.

Свободного времени у меня было навалом, и однажды я решил поискать золотишко в здешней речушке. Пошарив по заимке в поисках какого-нибудь

инструмента, я неожиданно наткнулся в каком-то закутке на тронутую ржавчиной лопату и приступил к делу. Каково же было мое удивление, когда, в очередной раз зачерпнув груду перемешанного с мелкой галькой песка, я увидел поблескивающий желтоватыми прожилками камень. Еще не веря в подвернувшуюся удачу, я тщательно промыл находку и чуть не задохнулся от нахлынувшей на меня радости. На моей ладони лежал золотой самородок, тянувший по самым приблизительным прикидкам минимум на полкилограмма. Вдоволь налюбовавшись дорогой находкой, я закопал самородок в глухом распадке, тщательно пометив заветное место. Честно говоря, я не очень представлял себе, зачем я это делаю, ибо никакой надежды извлечь реальную выгоду из столь редкой удачи у меня не было. Скорее всего, мною руководило чувство жгучей обиды на советскую власть, которая ни за что ни про что упекла меня в этот гиблый край и которой глубоко наплевать на то, что со мной станется. "Пусть лучше этот кусок презренного металла останется в земле, – злорадствовал я, – чем сослужит какую-нибудь пользу моим мучителям".

Несколько дней подряд по несколько часов я с не свойственным мне упорством промывал песок, надеясь найти еще что-либо стоящее, но на лотке оседали лишь крохотные кусочки каких-то неведомых минералов. А меж тем незаметно подкралась ранняя и холодная колымская осень. Набравших товарный вес бычков угнали на забой, а меня снова водворили в зону. И опять началась каторжная жизнь, в которой не было малейшего просвета. Однажды в минуты горького отчаяния я не удержался и рассказал Давиду о самородке.

– Шлимазл! Какой же ты шлимазл! – чуть ли не с кулаками набросился он на меня. – Что же ты до сих пор молчал? Мы тут с голодухи пухнем, того и гляди копыта отбросим, а он нашел такое богатство и сопит в кулак.

– А что с этим богатством делать? – пожал я плечами. – Не отдавать же его оперу...

– Хрен ему в зубы, твоему оперу, а не самородок! Предложим золотишко уголовникам. У них хлеба и сала на весь наш барак хватит. Водка и курево тоже есть. Заломим с них побольше – и заживем. Вот только как тебе на заимку вырваться? Впрочем, расскажешь уркам, где закопан самородок, а уж они его и без тебя найдут.

– Ладно, дай подумать, – остудил я соплеменника, – наломать дров мы всегда успеем.

Однако Давид думать не стал и, судя по тому, что произошло вскоре, проболтался о самородке кому-то из знакомых ему уголовников. Дня через три после нашего с ним разговора, когда, усталый и промерзший на стылом

ветру, я присел на пару минут погреться у костра, ко мне подошел карманный воришка по кличке Шкворень и простуженно просипел, что со мной хотят потолковать лагерные "авторитеты". Я, конечно, понял, что предстоящий разговор ничего хорошего мне не сулит, но деваться было некуда.

Урки, а их было четверо, поджидали меня в неглубокой лощинке. Время попусту они тратить не стали, а с ходу потребовали детально, до мельчайших подробностей, указать место, где спрятан самородок.

– Какой еще самородок? – сделав удивленные глаза и пытаясь разыграть из себя придурка, вымученно улыбнулся я.

– Тот самый, что ты, сучий потрох, притырил на заимке и которым похвалялся своему корешу, – сплюнув в снег недокуренную "беломорину", – прошипел один из урок.

– Не тяни резину, козел вонючий, не то зенки выколю! – угрожающе пробасил второй уголовник.

Сложив рогаткой пальцы, он ткнул мне ими в лицо с такой силой, что если б я вовремя не отвернул голову, наверняка лишил бы меня глаз.

– Ах, вот вы о чем... – продолжая наигранно улыбаться и все еще надеясь как-нибудь выкрутиться, промямлил я. – Так это же хохма. Самая натуральная хохма. Я этому мудаку Давиду лапшу на уши навесил, а он поверил.

– Не держи нас за фрайеров, – зло осклабился первый.

Коротким, сильным ударом он вмазал мне в челюсть и тут же, не дав опрокинуться навзничь, саданул ногою в пах. Харкая кровью и едва не задохнувшись от дикой боли, я опустился на колени и, уже не чувствуя посыпавшихся на меня ударов, распластался на снегу. Били меня урки еще долго и жестоко и наверняка забили бы до смерти, если бы им не помешал случайно заглянувший на делянку бригадир. Он хоть и отбывал срок по пресловутой 58-й статье, но в прошлом, до того как попал на фронт, а потом в плен, имел две уголовных судимости. Так что урки, хоть и не шибко его опасались, все же старались с ним не связываться. Наметанным глазом оценив ситуацию, он велел уркам кончать беспредел, а затем, позвав пару политзэков, приказал им помочь мне добраться до зоны.

– На кой хрен вы его сюда приволокли? – мельком глянув на меня, пробурчал лазаретный фельдшер. – Несли бы уж прямиком на кладбище. Хотя чем черт не шутит, может, и оклемается. Доходяги, они обычно живучие...

Распорядившись уложить меня на койку, он промыл марганцовкой мое искромсанное лицо, ощупал руки и ноги и, убедившись, что они вроде бы не сломаны, облегченно вздохнул.

Несмотря на внешнюю суровость, фельдшер Дмитрий Васильевич Раковский оказался добрейшим человеком. Происходил он из династии потом-

ственных русских врачей, которые клятву Гиппократа чтили наравне с Библией, а антисемитизм считали признаком хамства и крайнего невежества. Он уже был известным в Симферополе анестезиологом, кандидатом наук, когда во время сложнейшей операции, в которой он участвовал, скончался один из секретарей обкома партии. Всю врачебную бригаду тут же обвинили в преступной халатности и упекли в места отдаленные. Дмитрию же Васильевичу, как он то ли в шутку, то ли всерьез говорил, крупно повезло. В лагерный лазарет требовался фельдшер, и у него, "остепененного" медика, конкурентов на эту редкую вакансию в тот момент, к счастью, не оказалось.

Ко мне Дмитрий Васильевич проявил такое внимание и одарил такой заботой, будто я доводился ему родным сыном. Он не только выходил меня, но и, приложив неимоверные усилия, добился, чтобы лагерное начальство оставило меня в лазарете в качестве санитара, истопника и уборщика. О таком везении многие зэки не могли и мечтать. Во всяком случае, теперь я был более или менее сыт, и мне не надо было вкалывать по двенадцать часов в день на лютом морозе.

Со временем Дмитрий Васильевич проникся ко мне таким доверием, что стал без опаски делиться самым сокровенным. Длинными колымскими ночами мы вели бесконечные разговоры о бесчеловечном сталинском режиме, превратившем великую страну в огромный ГУЛАГ, и все больше сходились на мысли, что вечно так продолжаться не может. А однажды, затащив меня в подвал, он достал из тайника старенький радиоприемник, и в эфире, заглушаемый помехами и шумами, зазвучал голос Левитана, читающего очередное сообщение Совинформбюро. Настал день, когда радио донесло до нас долгожданную весть о капитуляции гитлеровской Германии - весть, с которой мы связывали надежды на скорое освобождение. Со дня на день мы ожидали амнистии в честь великой победы, которая положит конец нашим многолетним мучениям, даст возможность вернуться к нормальной жизни. Но шли дни, месяцы, годы, а желанная свобода была по-прежнему далека. Не веря больше официальной пропаганде, мы ловили в эфире забиваемые мощными глушилками радиопередачи "Би-би-си", "Голоса Америки", "Немецкой волны", а затем и радиостанции "Коль Исраэль". Из этих передач я узнал о создании в Палестине еврейского государства. И хотя от Земли Обетованной меня отделяли многие тысячи километров, сторожевые вышки и колючая проволока, сердце мое было уже там. При первых звуках "Атиквы" к горлу подкатывал горячий, соленый ком, а на глаза навертывались слезы. Вот тогда я всерьез подумал о самородке – ведь сражавшемуся с многочисленными врагами Израилю требовалось оружие, которое можно было приобрести лишь в обмен на золото.

Освободился я только в конце 50-го, отсидев срок, как говорится, от звонка до звонка. За пару дней до того, как передо мной распахнулись лагерные ворота, я, дождавшись ночи, выбрался через загодя присмотренный лаз в заграждении из зоны, добрался до заимки и стал искать место, где схоронил самородок. В темноте я его, конечно же, не нашел, а вести поиск днем было крайне рискованно. Однако другого выхода я не видел и с первыми проблесками рассвета вновь принялся за дело. Найти самородок мне удалось лишь к исходу короткого осеннего дня. Обрадовавшись удаче, я завернул самородок в чистую тряпицу, надежно упрятал его в пришитый к внутренней стороне нательной рубахи кармашек и, едва начало смеркаться, поспешил в зону.

Свобода, хоть она и была до боли желанной, оказалась далеко не ласковой. Ехать мне по сути было некуда, так как родных и близких у меня не осталось, но, поразмыслив, я все-таки решил податься в родную Бессарабию. В поезде, увозившем меня на запад, я познакомился с освободившимся, как и я, из заключения польским евреем Пиней Зусманом. От него узнал, что пробраться в Израиль легче и надежней всего через Польшу. Проживавшим там до войны евреям разрешалось вернуться на бывшую родину, но для этого необходимо иметь соответствующие документы.

Поселившись в пригороде Тирасполя, я в анкете на получение паспорта указал в графе "место рождения" первый пришедший на память польский город и, заделавшись таким образом уроженцем Польши, подал прошение на выезд. Ждать разрешения пришлось более полугода, а меж тем надо было где-то и на что-то жить. Перебивался я случайными заработками, большая часть которых уходила на оплату крохотной сырой каморки в полуподвальном этаже ветхого дома. На еду, одежду и обувку оставались жалкие крохи. Случалось по нескольку дней кряду сидеть на хлебе и чае, а когда шли дожди или выпадал снег, то и вовсе не выходить из дому. К тому же здоровье мое было основательно подорвано, я часто и подолгу болел, так что приходилось тратиться еще и на лекарства.

Наверно, надо было быть сумасшедшим, чтобы, обладая таким богатством, которое являл собой самородок, обречь себя на добровольные лишения. Да продай я его хотя бы за треть цены местным ювелирам или заезжим валютчикам, вырученных денег мне с лихвой хватило бы на всю оставшуюся жизнь. В минуты безысходности и тупого отчаяния какой-то внутренний голос настойчиво нашептывал: "Ну что ты зациклился на этом неведомом тебе Израиле? Еще неизвестно, сможешь ли ты туда добраться. Может случиться, что ты вообще не доживешь до того дня, когда осуществится твоя мечта. А жизнь, которой ты, по сути, еще не видел, безвозвратно уходит. Продай золото и езжай на какой-нибудь курорт, где море, солнце, много вина

и красивых женщин. Ведь тебя еще ни разу не целовала женщина, а что такое любовь, ты знаешь лишь из прочитанных в детстве книжек да по циничным рассказам зэков". Но раз за разом я подавлял в себе этот завораживающий голос, снова и снова утверждаясь в мысли, что уж если мне удалось сберечь свое богатство там, в лагере, то растранжирить его здесь, на воле, равносильно подлому предательству. "Я как-нибудь выживу, – убеждал я себя, – дай Бог, чтобы выжило и выстояло еврейское государство!"

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. На пограничной таможне, где я, получив наконец долгожданное разрешение на выезд в Польшу, проходил досмотр, меня подвергли такому тотальному шмону, какого не было ни в тюрьме, ни в лагере. Пришлось распрощаться не только с самородком, но и с коротким пребыванием на свободе. Осужденный одновременно по двум статьям уголовного кодекса – за хищение госсобственности в особо крупных размерах и за незаконный вывоз драгметаллов, я вновь угодил в лагерь, где мне предстояло куковать еще долгих десять лет. На этот раз моими солагерниками были люди, попавшие в тюрьму в основном за "экономические преступления". Большинство из них были евреи, и мы старались держаться вместе. В лагере я начал учить иврит, здесь же узнал о смерти Сталина, потом о XX партсъезде, развенчавшем его культ. Свирепствовавшее до того лагерное начальство малость присмирело, стало делать вид, что не замечает, как молятся наши старики, как отмечаем мы еврейские праздники, как едим на Песах присланную с воли мацу. И только работа по-прежнему оставалась каторжной. На топком, простершемся на сотни километров болоте мы добывали торф. Зимой он замерзал, и его приходилось разбивать кирками, а потом вручную грузить в казавшиеся бездонными кузова ЗИЛов и МАЗов. Одежда моя не просыхала от пота, ноги все время были мокрыми. Да и возили нас в открытых грузовиках. Сажали на пол, одного между ногами другого, чтобы затруднить побег, хотя не припомню случая, чтоб кто-либо пытался это сделать. А у бортов – конвоиры с натасканными на людей овчарками.

Зато после работы можно было наговориться вволю. Ну и, конечно же, все разговоры вертелись вокруг Израиля, а перед тем как уснуть, мы вместо "спокойной ночи" говорили друг другу: "Ба-шана а-баа б-Ирушалаим!"

Летом 53-го объявили амнистию, но ее плодами воспользовались лишь матерые бандиты и воры. Бывших хозяйственников, "дельцов" и "спекулянтов", вся вина коих состояла в том, что их недюжинная энергия и неистощимая еврейская предприимчивость не укладывались в рамки, дозволенные системой, продолжали хлебать лагерную баланду. А меж тем годы, прове-

денные мной за колючей проволокой, все больше давали о себе знать. Силы мои были на исходе, я постоянно болел, врачи выявили у меня открытую форму туберкулеза. Держать меня в лагере и дальше значило обречь на скорую смерть. В 55-м после многократных медобследований я был актирован, то есть досрочно освобожден из заключения по состоянию здоровья. Лагерный врач посоветовал мне ехать в Среднюю Азию: там, мол, жаркое солнце, кумыс, чистый горный воздух, а это лучшее лекарство от чахотки. Так я оказался во Фрунзе. С той поры вот уже одиннадцать лет не схожу с больничной койки. Недавно язву желудка обнаружили, на днях будут делать операцию. Сведущие люди говорят, что, окажись я в Израиле, меня бы в два счета поставили на ноги. А здесь...

– А уехать в Израиль вы больше не пытались? – спросил я.

– Пытался, и не раз, – горько усмехнулся Исаак. – Одной бумаги тонну исписал, но все без толку. И здесь я никому не нужен, и туда не выпускают. А по мне, ежели суждено помереть, то хотелось бы встретить свой последний час на Святой земле...

Прежде чем отправить этот очерк в редакцию, я показал его Якову Фридману.

– Знаешь что, – сказал Яков, – завтра у меня свободный день. Если хочешь, мы можем съездить на кладбище и попытаться найти его могилу.

Как ни странно, мы довольно быстро отыскали увенчанный скромным надгробьем холмик с начертанными на иврите именем и фамилией героя моего печального повествования. Возложив на плиту цветы, мы несколько минут молча постояли у могилы и, не проронив ни слова, побрели к выходу, где под сенью развесистых сосен была припаркована наша "Субару".

Петр Кременчугский

ДЯДЯ ЛИПА

Из серии "Портреты земляков"

Дядя Липа был очень большой, грузный и хромой: он был без ноги и ходил на протезе. Современный протез он попеременно менял на "ногу" с деревянной колодкой, которую ему смастерил какой-то умелец. Когда Липа после работы возвращался из своей мастерской, что на углу Красноармейской и Саксаганского, он обязательно находился в состоянии подпития "средней тяжести", как определяла его жена – тетя Бася. Еще стоя на пороге дома, завидев в проеме калитки мужа, тетя Бася, обращаясь к окружающим, говорила:

– Ну, как вам этот шикорник нравится? Он уже взял два по сто и кружку пива, сволочь такая!..

– Ай! – говорили соседки, – он же, ниврoку, зарабатывает. А какой мужчина не берет свои сто грамм?

От калитки до дома дети не давали проходу дяде Липе: они рвались потрогать его ненастоящую ногу, спрашивали, что он им сегодня принес, и просили что-нибудь рассказать. Дядя Липа говорил детям, чтобы они не шумели, садился на лавочку и раздавал дешевые конфеты и пряники, которые вынимал из бездонных карманов. Иногда он, для удобства доставания гостинцев, вынимал неизменную четвертинку водки, луковицу и кусок черного черствого хлеба. Тогда дядя Липа смущенно говорил детям:

– Вы сюда не смотрите, это не для маленьких детей.

При этом он быстро прятал водку с закуской обратно и продолжал беседу.

– Так. Сначала вы мне скажите, какое самое сладкое имя на свете? Только быстро!

Дети, вступая в игру, зная заранее все его вопросы, отвечали хором:

– Знаем! Знаем! Ли-ппа, Ли-ппа, Ли-ппа! Это потому, что когда говоришь "Ли-ппа", то губы слипаются...

– Правильно! Молодцы! Теперь смотрите сюда: как вы знаете, я воевал за Родину, и меня наградили орденами, медалями и ногой... Эй! Бася! Вынеси детям ногу поиграться! Им же интересно!.. Так что я вам буду сегодня рассказывать? Ага, правильно – про еврейское государство Израиль и про то, как там евреи воюют. А воюют они не хуже меня и даже, может быть, лучше. Они очень хорошо накладывают этим бандитам...

– Что ты мелешь, старый дурак?! О чем ты рассказываешь детям? – кричала тетя Бася. – Ты хочешь, чтобы тебя забрали? Так лучше иди сам! Иди себе и сядь, но меня не терзай!..

– Шо за гвалт? Шо за квич? Я у тебя спрашиваю, мадам Лейкис? Я старый и безногий, у нас с тобой нет детей и внуков, так кто меня заберет? Да если бы у меня были две ноги и минус хотя бы десять лет, так я бы таки тоже воевал в Израиле.

– Вей из мир! Болтун несчастный! Вот что делают с человеком два по сто и кружка пива! – кричала в ответ тетя Бася.

"Многонациональные" соседки выслушивали диалог со вниманием и вечером, за ужином, говорили своим мужьям:

– Ох, этот жестянщик доиграется когда-нибудь! Эти его разговорчики... Вот до чего доводит водка!..

А дядя Липа, наигравшись с детьми, шел домой. Тетя Бася, не переставая причитать, наливала ему миску борща, подавала эсек-флейш и селедку. Дядя Липа выливал в тонкий чайный стакан свою четвертинку, выпивал, смачно закусывал и сразу от стола переходил к постели. Здесь он "рассупонивал" свою ногу, ложился, а через пять минут, захрапев, начинал бормотать во сне: "Все равно я уеду туда... я буду воевать вместе со своим народом и бить этих "шварце сонем". Это вам говорит сам гвардии сержант Лейкис, а меня даже Жуков знал..."

Все это бормотание было достаточно невнятным, но тетя Бася знала своего мужа и понимала его с "полузвука". А назавтра она говорила соседкам:

– Он опять собрался туда! Он, видите ли, будет воевать! Как вам это нравится?

Анатолий Гершкович

РАНДЕВУ С АКУЛОЙ

Из книги "Мое открытие Африки"

На четвертый день пребывания в Кейптауне запланировано было свидание с белыми акулами и, если очень повезет, обещали показать издали фонтаны китов или их хвосты при нырянии. Ну, так нам не повезло.

Ровно в шесть часов утра к отелю подкатил элегантный девятиместный "мерседес", из которого выпрыгнул молодой, светловолосый, голубоглазый, высокий, широкоплечий, с шоколадного цвета загаром красавец в потрепанной майке и рваных шортах. Пригласив в машину нас с женой и двух молодых симпатичных пухленьких американок, он забросил в багажник наши сумки, и мы тронулись.

Поблуждав по городу, мы в двух отелях приняли на борт еще две супружеские пары американцев и со средней скоростью сто сорок километров в час, при разрешенных на дорогах ЮАР максимальных ста двадцати, понеслись в район местечка Клейн-Бей, где на пирсе нас ждало хлипкое сооружение с будкой вместо рубки, двумя мощными подвесными моторами на корме и принайтованным между ними проволочным сооружением в виде клетки высотой чуть больше 1,7 метра, круглого сечения наверху и с квадратным основанием. Вход в эту клетку осуществляется через отверстие в крыше, закрываемое такой же проволочной крышкой. На палубе громоздились три огромных дурно пахнувших пластиковых ящика, как выяснилось позже, с наживкой. Когда восемь страдальцев кое-как разместились на размещенных вдоль борта сидениях, наш лихой водитель, он же гид, оказавшийся еще и "шаркером", то есть ловцом акул, моргнул рулевому. Моторы взревели, катер наш, если это чудо можно назвать катером, мелко задрожал, потом подпрыгнул на месте и с неожиданной скоростью устремился в Атлантический океан.

Океан в этот день был спокоен, высота волн не превышала полутора - двух с половиной метров. Мы прыгали с волны на волну, иногда проваливаясь между ними, судорожно цепляясь за сидения и друг за друга, а шаркер наш спокойно стоял на пятачке, свободном от клетки, и держась за ванты, вдохновенно выдавал нам на своем английском языке кучу сведений об акульих повадках. Не знаю, что понимали американцы. Я со своим английским ("читаю и перевожу со словарем") и мыслями о том, как укрыться от хлещущей со всех сторон холодной воды, уберечь фотоаппарат и при этом умудриться не оказаться за бортом, из долетавших до нас обрывков фраз, не унесенных ветром и еле слышных из-за рева двигателей, понял очень мало. Если вообще что-то понял. Думаю, что американцы и особенно очаровательные американки понимали не больше меня, так как минут через двадцать хода одна из них, повернувшись к нам аппетитной попкой и свесившись за борт, стала "подманивать акул". Как по команде, к ней тут же присоединились еще две. Так шли мы еще минут пятнадцать, и вдруг посреди океана на нас буквально обрушился шквал тошнотворного запаха. В первые секунды я, грешным делом, решил, что это мои очаровательные соседки одновременно обкакались. Но наш катерок вскарабкался на очередную волну, и оказалось, что мы попали в гущу гниющих водорослей, среди которых плавала и резвилась, ныряла и выныривала, кормилась и испражнялась огромная колония атлантических котиков, или тюленей всех возрастов и размеров – от детенышей до трехметровых гигантов, весом в полтонны, способных шутя перевернуть наш катерок. Несколько минут хода, и двигатели смолкли. Мы подошли к безымянному острову, сплошь усеянному этими животными. Сколько тысяч их там было, не берусь определить даже приблизительно. Они лежали стройными рядами и колоннами в три, а кое-где в четыре яруса друг на друге вдоль и поперек. Изредка кто-то из лежавших внизу лениво расшвыривал кучу, лежавшую сверху, и, сопровождаемый ударами ластов и хвостов потревоженных собратьев, неуклюже пробирался между ними и поверх них, чтобы плюхнуться в воду. Минут пятнадцать мы самозабвенно фотографировали симпатичные, любопытные усатые морды, даже американки на время забыли о своих недомоганиях, а потом, медленно набирая скорость, стали удаляться. Но тюлени не отпускали нас. Целый отряд или полк сопровождал наш катер, плывя наперегонки, подныривая под днище и выныривая прямо перед носом. В общем, зрелище это – незабываемое и никакой даже самый огромный зоопарк заменить его не может.

Еще через четверть часа прыганья по волнам мы обнаружили, что пришли "на точку". В радиусе приблизительно пятисот-шестисот метров на плавучих якорях болтались еще четыре катерка, аналогичных нашему. За бор-

том одного из них уже плавала, а на остальных – готовилась к сбросу приманка. За кормой первого мелькали плавники настоящих, живых белых акул и уже была спущена в воду подобная нашей проволочная клетка. Тут наш шаркер развил бурную деятельность. Были открыты упоминавшиеся выше ящики, в двух из которых оказались огромные с оскаленными зубастыми пастями головы тунцов и два сетчатых мешка с дурнопахнущей гадостью, как оказалось, привлекающей акул. В третьем, самом большом ящике наличествовала почти двухметровая туша все того же тунца весом килограммов под сто семьдесят. В разрез между жабрами через оскаленную пасть прочным нейлоновым тросом к этой туше привязали огромный желтый поплавок из пенопласта, после чего все мужское население катера хором с хриплыми выкриками столкнуло ее в воду. Головы, как ни странно, шаркер выкинул в воду просто так, и они долго плавали рядом с катером. Затем из сооружения, условно называемого рубкой, была извлечена как бы акула в продольном разрезе величиной от носа до хвоста метра в полтора, вырезанная из толстой пористой резины черного цвета. К ней также привязали толстый нейлоновый шнур, и, широко размахнувшись, шаркер забросил ее недалеко от плававшей почти на поверхности туши тунца, которой привязанный поплавок не давал утонуть. Как выяснилось, это нужно для того, чтобы глупые акулы, видя тень себе подобной, которую отбрасывает в воду этот муляж, решили, что кто-то из сородичей уже клюнул на приманку. Тогда срабатывает инстинкт, и остальные тоже бросаются "кушать". После того как все это было проделано, нам оставалось только ждать.

Тут выяснилось, что на борту нашего судна "на халяву" можно получить в неограниченном количестве баночное пиво, минеральную воду, соки, а также всякие солененькие и не очень чипсы, печенье, бутерброды и другие вкусности. Выяснилось также, что на "халяву" падки не только русские. Америку мы и в этом перегнать не можем. Да и то сказать, в океане мы болтались к тому времени уже часа два с лишним, а если учесть, что американочки изрядно прочистили свои желудки, то станет понятно, с какой страстью все набросились на еду и выпивку. И напрасно. Еще через час болтанки ослабевшие желудки американок вновь дали о себе знать, но это уже другая история. В общей сложности мы подманивали акул часа три. Наконец удача улыбнулась нам. Может, потому, что к этому времени мы на "точке" уже остались одни, остальные катерки ушли не солоно хлебавши, а первый, возле которого были акулы, вдоволь искупал двоих своих пассажиров и тоже смотал снасти. И вот наступил страшный и торжественный миг. Раздался дикий вопль одной из американок, все схватились за отложенную на время технику, но было уже поздно. Вынырнувшая за кормой огромная акула, от-

хватила изрядный кусок приманки и ушла. Наш шаркер вновь развил бурную деятельность. Не боясь, что акула откусит ему руку, он по локоть опустил ее в воду и стал выжимать из мешков, ранее опущенных по бортам катера, вышеупомянутую вонючую гадость. Затем поднял на борт резиновый муляж и снова забросил его в воду, куда тот упал с громким хлопком. После этого подтянул поближе к корме приманку и, увидев, что возле нее появились уже два плавника, вежливо поинтересовался: "Ну, парни, кто из вас первым под воду пойдет?" Видя, что парни в составе двух здоровых упитанных молодых американцев и одного пожилого, сильно продрогшего еврея, особого энтузиазма не проявляют, он с затаенной надеждой спросил: "Может, тогда не будем клетку спускать? Я подманю акул поближе, вы их пофотографируете..." Мысленно я с ним был вполне согласен. "Мой фотоаппарат для подводной съемки не предназначен, может, лучше этих гадов издали фотографировать, с борта, а не лезть к ним под защитой клетки, кажущейся такой ненадежной", – уговаривал я себя. Но один из американцев, как выяснилось позже, молодожен из Норфолка, расположенного на другом берегу Атлантики, решил, вероятно, покрасоваться перед любимой женушкой. "Деньги плачены, акулы есть, я ныряю", – заявил он не очень уверенно, возможно, надеясь, что молодая жена начнет его отговаривать. Не тут-то было. Молодая смотрела на нас полупрезрительным победным взглядом, явно гордясь бесстрашием своего благоверного. А тут еще шаркер, которому явно не хотелось с клеткой возиться, дело подпортил. "Скоро вечер, акулы могут и не прийти..." – прокладывал он путь к отступлению. Но – только раззадорил пацана. "Как это не прийти? К корме, значит, подойдут, а к борту – нет? Спускай клетку!" – скомандовал он и направился в рубку надевать гидрокостюм. "Ну, теперь все!" – зная свой характер, обреченно подумал я – и как в воду глядел. В клетке закрепили баллон с кислородом, затем ее спустили и подвели к борту. Через дыру в крыше туда протиснулся упитанный молодожен, намочил в воде очки и взял в зубы мундштук кислородного шланга. Шаркер закрепил крышку, постучал по ней здоровенным багром с крюком на конце, и клетка ушла под воду на десять минут. Тут шаркер уже нас стал подзуживать, что слабо, мол, тоже нырнуть. В рубке-де второй гидрокостюм есть. Понять его можно, а понять – значит простить, как гласит известная пословица. Действительно, клетка все равно спущена, так уж выдать нужно по полной программе. И тут взыграло мое ретивое. Мы ж привыкли "впереди планеты всей". И спутники, и ракеты, и балеты. А тут американец впереди. И пока второй американец мялся, я полез в рубку переодеваться. По лицу моей жены было видно, что после двух моих инфарктов может случиться и третий. У нее! Я мог бы рассказать, что она думала в этот момент

о моих умственных способностях, так как за двадцать шесть лет совместной жизни хорошо ее изучил, но вам, уважаемые читатели, этого не скажу. Скажу, что думал, вернее, на что втайне надеялся, пока одевался. Надеялся я на какую-нибудь нештатную ситуацию, которая может возникнуть, пока американка с акулами общается. Вдруг они увидят, какой он упитанный, и захотят им полакомиться, или, может, они уже наелись и к борту не подойдут. Увы, когда я вышел из рубки, мой костюм проверили, что-то подтянули, что-то приспустили, затем шаркер опустил в воду свой багор, постучал по крышке клетки и ее вытянули наверх. Глядя на пупыристого промокшего и продрогшего молодого американца с синими трясущимися губами, я почти уже сыграл отбой, но шаркер, видимо поняв мое состояние, быстренько помог мне спустить ножки за борт, и я очутился в клетке. Температура воды в Атлантике была в этот день градусов четырнадцать по Цельсию, так что первое мое яркое впечатление заключалось в том, что меня запихнули в мешок со льдом, но я мужественно прополоскал в воде очки и, взяв мундштук, с видом опытного водолаза пошлепал загубником, проверяя, плотно ли он прилегает. Это, кажется, произвело впечатление на шаркера. Вероятно, он решил, что ныряю я не впервые в жизни, а занимаюсь этим ежедневно или уж как минимум раз в неделю. Во всяком случае, он улыбнулся, как-то одобрительно постучал багром по клетке, и она пошла вниз. Опустили меня неглубоко, по моим расчетам – метра на два. В первые минуты я вообще ничего не видел, впечатление было, что очки запотели, но потом неожиданно все прояснилось, и я мысленно возблагодарил Бога, потому что никаких акул вблизи и в помине не было. Время текло как-то тягуче. Казалось, что я уже целую вечность под водой, а меня почему-то не вытаскивают. Мне уже хотелось только одного – вынырнуть, растереться спиртом, который, я знал, есть у шаркера, и принять стопочку "на грудь". И в это время я увидел *ее*. Она, проклятая, шла на клетку какими-то зигзагами. Пасть ее была приоткрыта, и виднелись страшные, какого-то прокуренно-желтоватого цвета треугольные зубы, как бы загнутые внутрь пасти. Несмотря на то, что через нос я воздух не вдыхал, мне показалось, что даже смрад какой-то от нее исходил. И еще – ощущение злой, тупой и неукротимой силы и мощи. Не дойдя до клетки приблизительно метр, она резко изменила траекторию движения, и как-то боком ушла в сторону и вглубь. И тут появилась вторая. Мне почудилось, что она раза в два больше первой, и глаз ее, который я видел, смотрел на меня с кровожадным бесстрастным удивлением. Мол, что этот типчик в моих владениях делает? Может, после рыбки человечинки отведать? Она тоже летела не прямо, а зигзагами. Мало того, она стала огибать мою клеточку, заходя мне в тыл. Я до отказа, до дикой боли в позвонках

крутил головой, чтобы, как злую собаку, не выпускать ее из поля зрения, но повернуться на сто восемьдесят градусов не мог, так как стоял, намертво вцепившись в полку, на которой был закреплен кислородный баллон. Она же, подлая, тупо, но, мне казалось, вполне осознанно, стремилась зайти со спины и укусить меня за тощую задницу. Господи, какого ж страха я натерпелся! Нет, как логик я понимал, что случиться ничего не должно, что не я – первый, не я – последний. Я знал, что акула не может перекусить мою клетку. Я-то это знал. Но знала ли об этом нацеленная на убийство махина, управляемая только своими инстинктами? Наконец, игра в гляделки закончилась. Смерив меня напоследок презрительным взглядом, рыбка разинула пасть как бы усмехаясь и, резко развернувшись, мгновенно ушла в глубину. И тут раздался стук багром по клетке, означающий окончание нашего рандеву. Когда-то я играл на барабанах, но такого благозвучного и ритмичного соло ударных не слышал никогда. Клетка пошла вверх, и – вот натура человеческая – я ехидно представлял себе, как после меня на свидание отправится второй американец, а может, и кто-нибудь из молоденьких американочек рискнет... Увы, надежды мои не сбылись. Когда меня, полумертвого от страха и полуживого от холода, вытащили из клетки, я увидел цивильно одетого американца, который оказался то ли трусливее меня, то ли умнее и от сомнительного удовольствия благоразумно отказался. А первый парнишка сидел в рубке, закутанный в какое-то тряпье, мелко дрожал и все никак не мог согреться. Меня хорошо растерли спиртом и страшно удивились, когда я спросил, пищевой ли это спирт. Еще больше удивились, когда я нацедил себе добрый стакашек, хряпнул, запил парой глотков минералки, занюхал рукавом и запел почему-то: "Выходила на берег Катюша..." Самое интересное, что эту песню знали и молодые американцы, и наш водила-рулевой, особенно припев: "Раз, два, казачок..."

“В ТОМ ЛИ, В ЭТОМ РОДИЛСЯ КРАЮ...”

Анна Парчинская

* * *

В том ли, в этом родился краю,
В ту ли, смутную, в эту эпоху
И к тому или к этому богу
Обращаешь молитву свою,

В рудниках ли, в курортном раю,
В тех ли, северных, в этом ли, южном,
Влажный ветер, горячий ли, вьюжный
Жизнь поденно листает твою,

Тот ли, этот ли облик дано
Обживать, по себе пригоняя, –
Выбирала удача слепая,
И ворчать на калеку смешно.

И какой там пейзаж за окном –
Дело случая, дело удачи.
И над чем засмеешься. Но плачешь...
Только плачешь всегда об одном.

* * *

Ночью ветер давит на стены,
Стекла гнет, затекает в щели –

Кажется, ночью еще быстрее
Мчится Земля к неизвестной цели.

В черное ввинчивается зиянье,
Мчится, след оставляя спиральный,
Мимо колючего злого мерцанья
Редких огней полустанков астральных.

Игорь Ильич в кабинете рабочем,
Чертеж отложив, потирая темя,
Зачем-то подходит к окну и бормочет:
– Темень, господи, ну и темень!..

А проводник восьмого вагона
Пьет чай из качающегося стакана,
Смотрит в пространство сквозь отраженный
В окне абажур и думает: "Странно...

Сахару было – до Вашингтона,
А хватило до Еревана..."

Нина Ечмаева

* * *

Стираются в памяти лица
любимых старинных друзей,
снег белый все реже мне снится
в лучах золотых фонарей.

И зависть не гложет при мысли,
что царствует где-то зима...
Все реже приходят мне письма,
все реже пишу я сама.

Уже вспоминаются смутно
из песен далеких слова.
Теперь мне не так бесприютно:
стерпелось, слюбилось. Жива.

Бывало и больно, и тяжко,
теперь – ни обиды, ни зла...
Разбилась последняя чашка
из тех, что с собой привезла.

ВЕСНА В ГАЛИЛЕЕ

Цветущих акаций плывет аромат
В туннеле ажурной аллеи,
Умиротворенно алеет закат...
Прекрасна весна в Галилее.

Как светятся ясно до первой звезды
На соснах весенние свечи,
Хлопочут колибри, ликуют дрозды,
И жизни поток бесконечен.

Пока милосерден к нам солнечный свет
И краски пока не померкли,
Так нежен деревьев сиреневый цвет,
Так ярки мимоз фейерверки.

Весна. Много ль их у меня впереди?
И все же надежду лелею...
Как благостны поздние эти дожди,
Как ласков апрель в Галилее!

Любовь Знаковская

* * *

У озера, похожего на море,
Даровано судьбою мне пожить,
Не суетясь, не жалуясь, не ссорясь,
А просто каждым часом дорожить.

Побыть наедине с самой собою
И отрешиться ото всех проблем,
Чтобы когда-нибудь воздать любовью
Ей, этой Богом избранной земле,

Чтобы припасть к ее груди горячей,
Способной обогреть и накормить
Всех, кто вернулся блудными детьми,
И тихо плакать, не стесняясь плача...

МОНОЛОГ ЕВЫ

А до меня была другая,
Была Лилит.
Душа Адамова, я знаю,
О ней болит.

Ведь дорого не то, что кто-то
Тебе подаст,
А то, что вырвешь хоть у черта,
Хотя б на час.

И ощущаю каждый день я,
Как я плоха:
Он с нею не познал паденья,
Не знал греха.

Когда со мной на брачном ложе
Он сладко спит,
Она во сне его тревожит...
Уймись, Лилит!

Ты только прах – земля и глина –
Слепили вас
Как бы по выкройке единой
В урочный час.

Но ты свободы возжелала –
Ты не жена.
Дух Ночи, Демонида, Лайла –
Живи одна!..

Я из ребра его – из кости –
Не расколоть!
Мы вместе на века, две плоти -
Едина плоть.

* * *

Ах, Тверия, в твои края
Ворваться в платьице коротком
И в рок-н-ролла ритме четком
Услышать: "Сладкая моя..."
Но там, где были ты да я,
Давным-давно, в вечернем зале,
Под звуки вальса мне сказали
По-русски: "Ласточка моя..."
Ах, мне бы в юные года...

Елена Калинец

НЕТ ТЕБЯ

Нет тебя –
А значит, нет вчера,
Дворика, ограды и скамейки.
Во спасение была игра,
Странный сон морочил до утра,
Я его перебрала копейки.
Нет тебя – и значит, нет вчера.

Нет тебя –
сегодня тоже нет.
Будней пыль ложится на постели.
Поиграть бы вновь в вопрос-ответ
И стереть иных улыбок след,
И перечеркнуть конец недели.
Нет тебя – сегодня тоже нет.

Нет тебя –
и завтра ни к чему.
Вновь соврет рассвет, обманет полдень:
Отменяю старую вину,
Обещаю – глаз не подниму.
Обещанье снова не исполню.
Нет тебя – и завтра ни к чему.

* * *

Проклятая мной страна
И благословенная.

Понятая мной страна –
Чувствами и венами.
Пройденная мной страна
Отрешенно зрячею,
Принятая мной страна
Наравне с удачею.
Пойманная мной страна
Платит – не расплатится
За веселые слова
И за то, что плачется.

“ГДЕ ОН, ЭТОТ ВЗЛЕТ СТИХА?..”

Зоя Туманова

Ташкентская весна 42-го. Тифозный вокзал и восточный базар. Фаина Раневская меняет чай на хлеб. Анна Ахматова в старорежимном, до пят, концертном платье среди гимнастерок советских писателей под ропот скандализированной публики читает “Сероглазого короля” – и, кажется, вечность летит строка...

А в палисадниках серебрится сирень, и мы, мальчики, девочки – “поэты круглого стола” – ловим дальние отзвуки Серебряного века, долетевшие непонятным образом через фронты, революции, репрессии и соблазны социалистического реализма.

Уходят маршевые роты, пьют чай невозмутимые узбеки, и “отоваривают” свои карточки уцелевшие основатели акмеизма: Ахматова, неправдоподобный Сергей Городецкий. И рядом с Анной Андревной всегда “Мандельштама” – Надежда Яковлевна Мандельштам. Отсветы их рассвета на наших лицах.

“Где он, этот взлет стиха?”

Где вы, поэты круглого стола? Валентин Берестов, Эдуард Бабаев, Илья Крупник... Отсюда мы уходили на фронт. “Не многие вернулись с поля”, а среди многих – Мур Эфрон, сын Марины Цветаевой...

Автор этих строк, слава Богу, дожил: бумажные голуби с пожелтевшими крыльями перепорхнули Чимган и долетели до гор Галилеи.

Зоя Туманова. Зоюшка. Это ты в свои шестнадцать лет назвала нас поэтами круглого стола. Кукольный бант в волосах, гуттаперчевый носик и глаза, опрокинутые к вечно синему небу Ташкента. Ты одна осталась стеречь ахматовский “мангалочий дворик”. Шестьдесят лет – срок непостижимый для нашей бренной плоти.

“Где он, этот мир чудес?”...

“Где он, этот взлет стиха?”

Марк Азов-Айзенштадт

* * *

Бурям века нет конца.
Сохнут на ветру сердца,
Лодочка моя плывет.
Память о тебе живет.
Где он, этот мир чудес?
В нем глагол времен воскрес.
Прошлого волшебный свет
Нам сиял сквозь толщу лет.
Где он, этот взлет стиха?
Трепет сбывшихся примет?
Тайна тех ночей тиха –
На бумаге легкий след.
Тихо наплывает тень,
Дню вослед уходит день.
За листом спадает лист.
Тихо угасает жизнь.
Лета твоего расцвет,
Осени моей намек,
Все, чего сегодня нет, –
Скоропись летящих строк.

ПОРА СИРЕНИ

Из пены вод, сиренью –
Российская смиренница.
Порой благословенною
Курчавится, сиренится.
И наплывает облако
Невиданного облика,
И в зарослях сиреневых
Дождь прозвенит серебряно.
Куст отмахнется истово
Листом, промытым начисто,
Сиреневою кисточкой,
Пушистой по-кошачьему.

И сбросит в пыль дорожную
Хрустальную горошину.
Блеснет она – непрошеной
Слезой по невозможному...
И разольются сумерки
Сиреневою смутностью,
И не отстанешь думою
От той вечерней смуглости...
Так и дышу. Все – сыростью,
Все – горечью, все – ревностью,
Скупой весенней милостью –
Зеленостью, сиренностью,
Все – прошлогодней прелостью,
Все – нарожденной свежестью.
Сиреневою прелестью,
Сиреневою нежностью...

ЕСТЬ ПО СОСЕДСТВУ У МЕНЯ ПОЭТ...

Александру Файнбергу

Обыденность зыбучего песка –
Тупейшая неотвратимость быта.
А та былая, белая тоска –
Благополучно, стало быть, забыта?
Все кажется – вот кончатся дела,
Все думается, мало их осталось...
А жизнь меж тем так далеко зашла,
Что безвозвратно обратилась в старость.
Все так...
Но голос все-таки звучит.
Благодарю его за постоянство.
Откуда он? Ведь телефон молчит!
Да не иначе, как из-под пространства!
И что-то будит. И несет поверх.
Превратностям присудит быстротечность,
Как будто снова отворилась дверь,
Вот загляни – и вдруг увидишь вечность.

И снова станет чисто и свежо...
Звонок.
На голову – внезапней снега!
– Нет!
Просто вы ошиблись этажом.
Он на восьмом живет.
Поближе к небу.

НЕСБЫВШЕЕСЯ

Мы любим откладывать – ладно, успеется!
Как будто пути не положен предел.
А то, что сегодня ветрами развеется,
Не сыщешь уже никогда и нигде...

Отложим мы встречу – и счастье не сбудется.
Разрознится, что не успели связать,
И слово – единственное! – позабудется,
Которое мы не решились сказать.

Как будто стремясь доказать неизбежности,
Все держимся в рамках. Вновь встреча пуста –
Слова незаконной предательской нежности
Опять замирают на строгих устах.

И вновь мимо окон незримого поезда
Навек уплывут и ограда, и дом,
Беседка, увитая красными розами,
В которую мы никогда не войдем...

Роман Цивин

ЗВЕЗДЫ НЕ ПАДАЮТ

"Блуждающие звезды" – все-таки насколько емко назвал свой роман Шолом-Алейхем! Он о переменчивой актерской доле, о странствиях еврейского театра, в которых отражается судьба целого народа, блуждающего по воле рока, но не утратившего путеводной звезды.

Когда влюбленные Рейзл и Лейбке смотрят на огненные небесные прочерки, они знают: звезды не падают – меняются местами. Есть свои звездочки и в Голенештах. "Местечко такое в Бессарабии, городок с ноготок, а люди звери, жрут мамалыгу и хлещут вино, как воду", – пишет своему другу антрепренер еврейского театра. Не верьте ему. Тут живут действительно простые, смешные и жалкие, но замечательные в своем первородстве люди. Голенешты – одна из бесчисленных еврейских родин, рождавших истинные таланты. Дымом унеслись в небо те местечки, сменились поколения. Почти век спустя наш современник и земляк Марк Азов обратился к материалу романа и успешно доказал, что потомки не так уж далеко ушли от своего прошлого. Голенештская часть произведения послужила отправной точкой поэтической фантазии Азова, предназначенной для театра. Я не был летом в Нацрат-Илите. Звонил и узнал о триумфе театра "Галилея" с этой вещью на "Славянском базаре" в Витебске и Минске. А у нас, в родном городе, собственно премьера состоялась сейчас, совсем недавно. Что сказать в добавление к дипломам, полученным в Беларуси?! Сильное впечатление. Мы, зрители, просто купались в пиршестве танца, музыки, красок. Исполнители же летали, подобно шагаловским героям, над будничной действительностью. Как удачно, счастливо сочетались здесь образы двух еврейских гениев, переведенных в сценические формы! Конечно же, стилизация "под Шагала" была повсюду: в масках, интерьерах, знаковых картинках, костюмах. А мощный ритм иссушал слезы и оставлял смех. Самоирония, всегда выручавшая нас, комикование напоминали о шолом-алейхемовской мудрости, передавали

полноту национальной жизни. От души поздравляю режиссера-постановщика Зигмунда Белевича. Его вера в магию "физики" – движения, пантомимы, синтетики разных искусств на сцене блестяще реализовались. И рядом, конечно, надо назвать соавторов победы. Это композитор Александр Портнов, художник-постановщик Игорь Винокур, художник-декоратор Михаил Славин, постановщики-хореографы Ашер Будаев (он привез из Акко прекрасный ансамбль), Марина и Владимир Пиляк. Костюмы и маски сделаны по эскизам Александра Вайсмана. Спектакль целен благодаря единству замысла, синхронности воплощения его составных частей.

Все условно в спектакле. Искусство не повторяет жизнь. Оно возвышает то, что приходит из буден. Театр! "Ах, если б вы знали, что Лейбл увидел! Особый мир, где люди переодеваются, преображаются, намазываются и накрашиваются, откуда выходят в обличии шутов, чертей, бесов и ангелов". И подобно наивному, но уже проницательному еврейскому пареньку, Марк Азов по-прежнему испытывает пылкую любовь к театру, умело переводя прозу в поэзию, в лицедейство. Представленные на сцене герои – не ангелы и не бесы, каждый с какой-то подчеркнутой индивидуальной черточкой. А что их всех объединяет – непосредственность, доходящая до гротескных форм. Ничего не поделаешь, такие они есть, такими мы их любим. Ну где вы еще услышите: "Не торопись, река еще не горит! Дай раньше приготовить отцу стакан цикория, слыханное ли дело!"

Разумеется, в центре действия – юные обитатели Голенешт, будущие театральные звезды Рейзл и Лейбл. Симпатичны, красивы, одухотворены. Особенно понравился Игорь Винокур. Ну, такой еврейский хлопец с горящими глазами. Из таких местечковых мечтателей, тонких натур выходили в мир большой и художники, и ученые, и террористы, и фанатики-комиссары. И герои, и жертвы. Экспрессия в актере бьет через край. Вера Бородовская очень динамична. Хотел бы написать, подкупающе лирична. Выразительны обе идише мамес: канторша Лея (Ирина Склярук) и Бейлка (Алла Руденко). Самозабвенную любовь к своим неординарным чадам, хлопоты, недюжинные переживания они передают с внутренним задором, органично вписываясь в атмосферу розыгрыша, праздничности, присущей спектаклю. А чего стоит хозяйка заезжего двора Неха-Нехама, обремененная пятью сестрами. Александра Капоровская в этой роли так и брызжет юмором, находя живой отклик в зале. На контрасте играет Семен Шендер местного Ротшильда Беню Рафаловича. Его маска обрисована резко, определенно: жесткий, цепкий хозяин, домашний деспот.

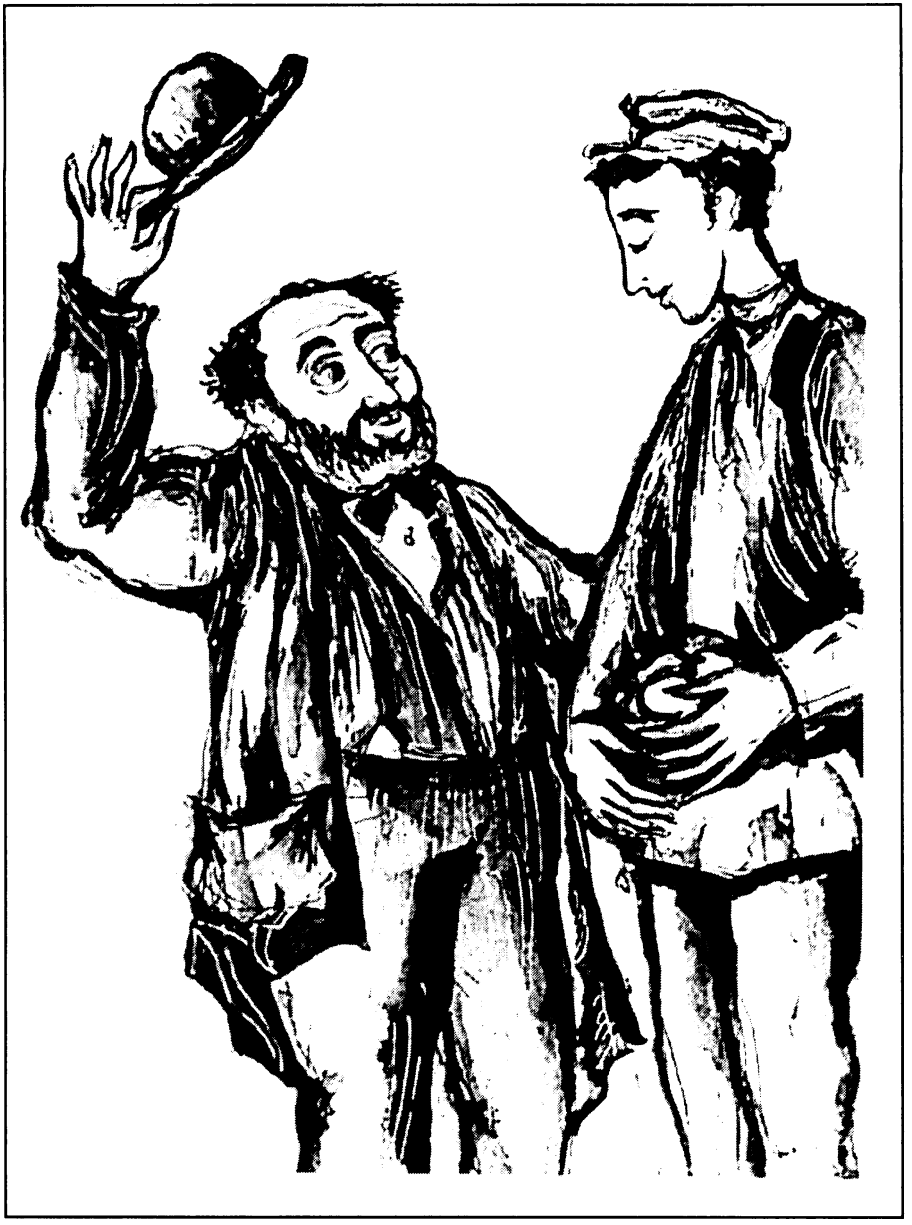
Шаржированными мазками обрисованы типы деятелей "еврейско-немецкого театра". Директор Альберт Щупак, блистающий выставленными напо-

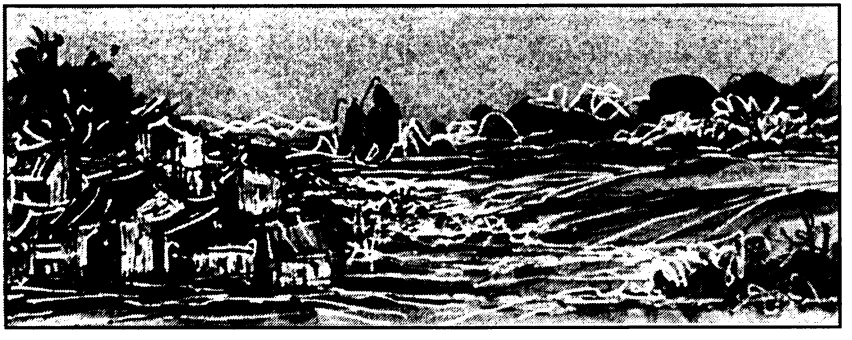
каз на всех пальцах и галстуке бриллиантами. В трудных ситуациях он признает только два выхода: либо раздавать пощечины, либо получать их. Щупак – Борис Рабкин – больше получает их. Комичен, жалок, эксцентричен. Вот такого Рабкина, яркого, пластичного, мы еще не видели. Возможно, он заражается энергией от партнерши – разбитной актрисы Брайнделе-Козак в сочном, темпераментном исполнении Оксаны Елизарьевой. А вот вечно голодный и до слез преданный своей музе комик Гольцман, прозванный с легкой руки директора Гоцмахом. Его играет Марк Азов. Я бы отнес к этому ансамблю и кантора Исроэла, хотя он, как говорится, совсем из другой компании. Он обладает, как и положено по чину, чудесной "глоткой" и "калватурой". Следовательно, душа-то поэтическая, он понимает свою дочку Рейзл, ее тягу к театру. Скупыми и точными средствами рисует этот персонаж Павел Дворкин. А певческий дар самого Павла настраивает музыкальный фон всего спектакля.

Фон этот, собственно, и не фон, а суть. Мы видим и слышим замечательный мюзикл, шоу, где и певцы, и музыканты вплетены в сюжет, двигают его, обогащают идею. Сестры-близнецы Слава и Зофия Райфер – известные мастера. Почли за честь участвовать в нашем спектакле. Певуньи ярки, декоративны в своих выходах. Скрипка Шмуэля Хагина, саксофон Семена Кейсара и аккордеон Цви Тепера звучат вживую, мастерски, исполнители представляют клезмеров, типажей, казалось, сошедших с полотен Шагала. Темповая и лирическая музыка, танцы все время говорят о неунывающей, хотя и натерпевшейся душе народа. Ни один компонент художественного оформления не лишний. Есть отличные находки. Телега на сцене – в нее впрягается Лейбке, которого отец "назначил" помощником водовоза. Она – и символ тяжкой доли и местечковой узости, и знак жизни, движения. И пристанище театра, место веселых зажигательных представлений.

Повторим же вслед за Гоцмахом: "На мое счастье приехал к нам городской еврейский театр. Еврейский театр, шутка ли!" Уточним только. Мы сами его сюда привезли. В театре много молодежи. Звезды не падают – они меняются местами.

РИСУНКИ АЛЕКСАНДРА ВАЙСМАНА К СПЕКТАКЛЮ ТЕАТРА “ГАЛИЛЕЯ” “БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ”





Дина Ратнер

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

Современная литература Израиля носит философский характер, что объясняется нашими древними еврейскими традициями и преемственностью онтологических проблем русской классики.

Мировоззрение писателя, помимо его характерологических особенностей, во многом обусловлено жизненными впечатлениями, которые формируют установку на то или иное видение действительности. Внимание русскоязычных писателей Израиля концентрируется, в основном, на сложностях абсорбции, когда душа "и здесь, и там"; на восторге приобщения к своей земле и стремлении быть причастными к духовным истокам народа, который первым обратился к Богу на "Ты".

Ивритоязычных писателей больше занимают проблемы природы человека – соотношение чувства и воли, свободы и необходимости, осознанного и бессознательного эмоционального начала. Есть сходные темы: отношения с арабами, ощущение одиночества, избранности и стремление осознать "самое главное, что должно случиться с евреем".

Одна из тем, с которых начинается русскоязычный писатель в Израиле – национальное самосознание. Чувство национальной принадлежности в рассеянии определяло душевный настрой не на радость и счастье бытия, а на страдания и покорность судьбе. О мироощущении галутного еврея мы читаем в рассказах Григория Островского, автобиографический герой которого знает, что он – изгой, еще в детстве. Та же отъединенность, обособленность в романе Софьи Шапошниковой "После полуночи". Разрушающий душу страх в книге Ильи Войтовецкого "Вечный Судный день". Нужно было выжить в галуте, выстоять, сохранить свои принципы.

---

* *Имеются в виду произведения израильской литературы, написанные на русском языке или переведенные с иврита на русский.*

Адаптации в Израиле на теоретическом уровне помогало трансцендентное чувство причастности к памяти поколений. А на практическом – в реальности сегодняшнего дня новых репатриантов преобладают растерянность, апатия, невостребованность. В рассказе Геннадия Седова "Пятеро в одной лодке, считая хозяина" писатель оказывается на положении подсобного рабочего под начальством хитрого, ловкого араба. От унижения, физического напряжения интеллигент на грани срыва. Для местного каблана-строителя главное – деньги. Или рассказ "Вилла в Савийоне": тот же подсобный рабочий несколько раз перекрашивает флигель, потрафляя прихоти владельцев. Те его не замечают, но один из них, известный теннисист, добрый человек, подарил майку со своим автографом и даже спросил, как зовут. Этакий смех сквозь слезы.

С чего начинается оле? "Я сделал небольшое открытие, – пишет Геннадий Седов, – если не садиться на тель-авивской тахане мерказит на автобус, а идти в Холон пешком, в кармане останутся два шекеля". О коридорно-сохнутовской жизни читаем у Александра Шойхета: "У меня не стало любимой работы. У меня не стало своего угла". Невозможно абстрагироваться от действительности: фабрика, конвейер, отупение от работы и "в зеркале чужое лицо". Однако в Иерусалиме у Стены Плача прорываешься в другую реальность, и появляется ощущение полета, близости Бога.

Случается, оле оказывается в роли наблюдателя, в новой ситуации есть и преимущество – взгляд со стороны. Герой монолога Дины Рубиной "Большеглазый император семейства морских карасей", от лица которого ведется повествование, ухаживает за стариками. Один из них случайно выжил в немецком концлагере; другой – безногий ветеран, дошедший до Берлина; тронувшаяся умом женщина, семью которой расстреляли в Виннице; инвалид Армии обороны Израиля. Герой становится свидетелем, соучастником уходящих из жизни одиноких судеб. Именно эти люди, а не окаменевшие душой в ненужном богатстве, вызывают уверенность в бессмертии души. Иначе незачем было "затеваться со всем этим мирозданием, если такая изящно сработанная вещица, как человеческая душа, – одноразового пользования". Есть у человека необходимый минимум, значит, он может позволить себе роскошь быть свободным от будничных тревог устройства и приобретения.

О необходимости оторваться от будней читаем и в книге Леонида Левинзона "Ленинград – Иерусалим. Коми – Африка. Подняться над землей". Вместе с лирическим героем мы перемещаемся из северных снегов в зной Израиля. Герою не столь важны место и климат, главное – найти себя, свое место в мире. Интересна манера письма, автор как бы отстранен от переживаний основного персонажа. Перед читателем всего лишь факт: мала-

хольный интеллигент снова и снова собирает чемодан. Казалось бы, нет резона говорить о свободе выбора, поскольку нет выбора у бездомного студента, нет его и у молодого специалиста, который поехал по распределению на далекий Север. И все-таки очкарик Кац "качает права", пытается отстоять справедливость, что порою выглядит как плевки против ветра. Случается, правдолюбец вольно или невольно становится причиной страданий других людей, но ему необходимо уйти из чужой жизни, в противном случае не будет своей. С одной стороны, казалось бы, Леонид Левинзон описывает безликую реальность будней, с другой, – в его прозе прослеживается ожидание "самых главных, исключительных событий, которые должны случиться с евреем". Это ожидание у героя началось еще в школе, когда мальчишки били его просто так, за то, что "жид", значит, не такой, как все. Чувство отдельности от окружающих рождает ощущение избранности, а за последнее нужно расплачиваться судьбой. И, конечно, соответствуют действительности мысли автора по поводу разнородности собравшихся в Израиле людей: "Есть русские, марокканцы, даже эфиопы, а евреев нет". Должно быть, и на этот раз понадобятся сорок лет, чтобы собравшиеся со всех концов земли евреи стали евреями. Главное, нам есть, с чего начинать, здесь у нас глубокие корни и чувство истории народа.

Ходит по земле, как по небу, вновь прибывший оле Леонида Финкеля ("Письмо внуку"). Дед оставил внуку не дом, не роскошную квартиру, не библиотеку, а завещанное право на святые места. О том же в "Ашкелонских древностях": "Каких-нибудь две-три тысячи лет назад стоял здесь еврей и так же смотрел на море. И видел небо над головой, холмы впереди... Мы здесь, но еще не пустили корни, только вспоминаем". История начинается с того, на чем закончилась две тысячи лет назад; те же распри, партии, разногласия – и необходимость единения: "Нужно найти точку отсчета, точку взлета".

Прошлое перекликается с настоящим и в книге "Эта еврейка Нефертити". В египетском галуте мы могли противопоставить высеченному в скале огромному сфинксу своего незримого Бога. Для египтянина центр вселенной – Фивы, для еврея – Иерусалим и место, где Яакову приснилась лестница, уходящая в небо. Финкель проводит параллель между сознанием народа "тогда" и "сейчас". Так же актуальны вопросы: "Где мы?", "Кто мы?" Как совмещаются русская ментальность и еврейское самосознание? Не потерять бы на трудном пути представление о цели. Каждому нужно выбрать свое еврейство. На сегодняшний день есть одна неоспоримая истина: "Все было, все повторяется и ничего изменить нельзя". Было созидание Храма и разрушение, галут и исход, начало, конец и снова начало. И все та же тайна чело-

вечества в его стихийном бессознательном и волевом устремлении к сотворчеству со Всевышним.

До Хаскалы в еврейской культуре не было разделения на светскую и религиозную, не суть важно, в каком аспекте постигать мир: путем ли естественных наук, философских учений или пытаться приобщиться к творящему мир слову, в нашем случае, к художественному отражению жизни – литературе. Герои книги "Эта еврейка Нефертити" запрограммированы на сверхзадачу: мы должны научиться летать, тогда нам будет легче ходить по земле. Книги Леонида Финкеля объединены одной темой: поиски Бога, любви, духа творящего.

О том, что сегодняшний день – в некотором смысле продолжение вчерашнего, пишет Феликс Кандель в повести "С того дня и после". В бедном местечке евреи ощущали себя и тут – на земле, и там – в идеальном воображаемом мире, который стал для них более реальным, чем повседневность. Автор нигде не обмолвился, что пишет о хасидах, вот только приводит в качестве эпиграфа высказывание рабби Нахмана из Бреслава и его ученика рабби Натана. Тем не менее по мировоззрению обитателей местечка можно судить: речь идет именно о хасидах, которые не загадывают впрок, ведь жизнь – здесь и сейчас. Каждый глоток воздуха, каждый новый день воспринимаются как подарок. Человеку холодно, голодно, одиноко, он слаб и зависим, "но у каждого еврея впереди мир грядущий, у каждого удел в будущем мире". Как тут не вспомнить Марка Шагала: над ветхими покосившимися домишками летит старик с нищенской сумой и тяжелой клюкой, в окнах домов горят субботние свечи – мир соприкасается с вечностью. Еврею на роду написано искать Творца, "никто в мире, кроме еврея, не может быть евреем". Экзистенциальный опыт бытия, как он показан Феликсом Канделем, тождествен этическим критериям, сущность совпадает с существованием.

Продирается к своим истокам герой романа Эли Люксембурга "Десятый голод", ползет в Иерусалим из последних сил, через все круги ада. Факты истории перемежаются событиями сегодняшнего дня. Здесь же необходимость духовного напряжения, ответственность перед человечеством: "Когда Израиль пробуждает свой дух и возвышается, то вместе с нами восходит из мрака все человечество, но если мы опускаемся, то все опускаются вместе с нами". Проблема нравственного совершенства – на уровне человечества, но есть и отдельная личность, которой часто не под силу совместить сверхзадачу и индивидуальную судьбу. У героя романа смещаются представления о пространстве, времени, об окружающих его людях.

Едва заметна граница между воображением и реальностью и в книге Светланы Шенбрунн "Декабрьские сны". Человек не заметил, как вдруг взлетел и оказался над действительностью. Но чтобы быть свободным, надо захотеть свободы. Часто побеждает малодушие, романтического порыва хватает только на миг, и потому побеждает зло (рассказ "Трос"). У героя рассказа "Искусство слепого кино", маленького зависимого инженера-любителя, появился выбор, возможность новой жизни, но что ему Израиль, если подниматься незачем, да и жалко расставаться с единственным достоянием – дубленкой: "Запаришься ведь в ней в Бэр-Шеве, климат там, предупреждают, жутко неподходящий". Читаешь рассказы Светланы Шенбрунн – и становится очевидно: слова "В поте лица своего будешь есть хлеб свой" относятся не только к хлебу насущному, но и к будничному тяжелому труду – сделать самого себя, свою душу. И всегдашний вопрос: есть ли у человека выбор или все происходит вслепую, помимо нашей воли? Этот вопрос, отраженный в названии книги "Искусство слепого кино", решается разными персонажами в пользу предопределения – слепого рока. У каждого своя и в то же время общая для послевоенного поколения России дорога в никуда. Состоянию безвременья предшествовали революция, коллективизация, война, голод, бесправие. Символично, что квартира-ночлежка в рассказе "Путь и ночлег" – без замка, каждый волен прийти и уйти, когда захочет. Однако это кажущаяся возможность выбора: людям некуда уйти от самих себя. Мы слышим крик о помощи, но ничего не можем сделать, мы всего лишь безмолвные и безучастные свидетели происходящего. Бессилие человека вызывает недоумение: "Может, есть некий наблюдатель, который смотрит, как мы справимся в той или иной ситуации?" Люди уподобляются муравьям, ползущим к вершине: муравей не в силах преодолеть струящиеся потоки песка, всякий раз оказывается у основания горы и снова ползет вверх (рассказ "У дороги").

Тема неприкаянности, неустроенности души звучит и в книгах Лорины Дымовой: "Эти непонятные женщины", "Колыбельная перед разлукой", "Милая женщина в окружении динозавров". Читаешь ее рассказы, и такое ощущение, будто следующий сюжет – продолжение предыдущего. Жизнь не соответствует мечте, однако всякий раз иллюзия берет верх над здравым смыслом. Вспоминается античное предание: греки на празднике Диониса поймали Пана, бога лесов, и спросили его: "Какова лучшая участь у человека?" Пан не отвечал. Тогда веселящаяся толпа связала его и пригрозила: не отпустит, пока тот не ответит. Три дня языческий бог молчал. На четвертый день сказал: "Лучшая участь – не родиться". Интересно, что и нам, евреям, не чужда эта точка зрения. Два с половиной года спорили школа Шамая и

школа Гилеля – одни говорили: "Человеку лучше не быть созданным", а другие: "Хорошо, что он создан". Подсчитали голоса и решили: "Человеку было бы лучше не быть созданным, но теперь, когда он уже создан, пусть покопается в своих деяниях". Именно эти мысли приходят на ум, когда снова и снова видишь в рассказах Лорины Дымовой страдания, сопутствующие поискам счастья. Перед нами проходят люди разных возрастов и социального статуса, казалось бы – сколь разнообразны их возможности, все они становятся жертвами любви, и дорога у всех одна – к одиночеству. Будь то в Москве или в Иерусалиме, бродят "беспризорные сердца" по городу "тысяч одиночеств"... В жизненных сюжетах и в настроениях героев читатель находит попутчиков на трудной дороге постижения замысла творения человека.

Тяжелая работа жить определяется объективной данностью, то есть фактами истории, биографии, и субъективной – разладом душ. В 43-м году встретились на поселении после лагерей два вольнонаемных: еврейка и каракалпак. "Вот и родилась я, слава Богу", – пишет Зинаида Палванова в стихотворении "Где мои ровесники?" (сборник "Утонувшее море"). Могла и не родиться – военное поколенье, "вымечтанное жизнью". Лагеря, война... Это время поэтесса называет "черной дырой на белом свете". Только и осталось от отца, что давний пожелтевший снимок, в который вглядывается дочь (поэма "Второе детство" из книги "Деревья не копят обид").

Стихи Зинаиды Палвановой – "жизни страницы". Кто знает, может быть, для того, чтобы две души стали одной, требуется большее чудо, чем случайная встреча родителей. Чувства, настроения передаются ассоциативным рядом: призрачные мечты – растаявший снег, увядшие цветы. Страхи, сомнения, готовность к чуду – и всего лишь "вечерние звонки, смахивающие на стежки". Своя боль помогает понять, вжиться в невзгоды случайно и неслучайно встретившегося человека. Картинка – стоп-кадр, за которым угадывается прошлое и будущее. Люди сходятся, расходятся – обыденные и трагические сюжеты. Когда на смену "удушью обид" приходит смирение и равнодушие, воскресает стихийное жизнелюбие и стихи. Творчество, будучи осмыслением жизни, спасает от жизни.

А вот и новые сюжеты: мама с сыном в Израиле – жизнь продолжается.

Тает снег подсознанья – страх,
Торжествует кровная связь.
"Первая весна в Израиле"

После центра абсорбции – чужая холодная квартира в Тель-Авиве, хроническое безденежье и беззащитность перед "скадами" в январе 91-го. Невзгоды олимовской жизни преодолеваются силой самосознания личности:

Мысли тяжки, шаги легки
В этом чуже-родном краю.
Восстанавливаю стихи,
Вспоминаю душу свою.

"Обещание"

Поэзия Зинаиды Палвановой при всей ее лиричности наполнена философским содержанием, умением абстрагироваться от действительности сегодняшнего дня и сподобиться веселью нищих, которым нечего терять. Снова и снова расправляет крылья возрождающаяся из пепла бессмертная птица надежды.

Новая страница жизни – теперь уже в Иерусалиме. И новая книга стихов, посвященных городу ТАНАХа, Евангелия и Корана. Сборник "Иерусалимские картинки" открывается стихами об улице Ха-Даф ха-Йоми (улице Дневного листа Талмуда), где люди, словно небожители, ходят по высотам Рамота. Отождествлению с городом помогает чувство узнавания, словно прошлое воскресает:

И сладко памятен он мне,
Как новый мальчик в пятом классе,
Как новая страна во сне,
Как жизнь еще одна в запасе.

"Все улицы здесь хороши..."

Воздушные замки становятся реальностью, сливаются воедино миг и вечность. Озвученная стихами жизнь: восходы в Рамоте, закаты в Эйн-Кареме, "пронизанный солнцем туман", "Дождь за окном чертеж бессмертья чертит"... И удивительны в резонанс стихам иерусалимские рисунки Вениамина Клецеля. Одна обложка новой книги чего стоит: встречаются на фоне приткнувшихся к горам невысоких построек два еврея с пейсами, в шляпах, лапсердаках, как сказала бы Дина Рубина, при полной амуниции. В одной руке у каждого – хлеб насущный, в другой – Книга: пища для тела и для ума. Листая книжку, видим старые покосившиеся пристройки-голубятни, сохнущее белье на веревках, лица евреев, внимательных к подробностям быта и поднимающихся над таковым, – то же, что и в стихах: единение земли и неба.

Как соединяется в человеке земное и небесное, конкретное бытие и представление о Творце? Уже в ранних стихах Бориса Камянова виден переход

от чувственного восприятия к желанию понять Вечность. Поэт – часть толпы, он же отделен сознанием своей единственности и усилием не потерять в мозаике мимолетных впечатлений ориентир на высшую правду: "связать в единый узелок" бесконечность и миг. Чувство обособленности не позволяет отождествиться даже с самыми близкими:

Так и живу. С собой борюсь –
Отец семьи, поэт, затворник:
Зеленой кроной в небо рвусь,
До боли прочно держат корни...
"Душа моя, печальная душа..."

Казалось бы, можно уйти от всех, вырваться, взлететь, да только не по силам человеку быть одному. И мысли возвращаются к простой незатейливой жизни. Но просто не получается: любимая ли изменила, или, не захлебнувшись страстью, поэт снова рвется в неприютное веселье свободы, а может, есть подсознательный страх: не отделил бы семейный уют от друзей-бедолаг и не усмирил бы беспокойства сердца.

Русский еврей, приобщившись к веселию на Руси, "которое есть пити и блевати", становится своим в кабаках, где все едино:

Поэт читает эпиграммы вору,
А участковый с диссидентом пьет,
Свершается загадочное действо:
Интеллигент нисходит до плебейства,
А мысли изрекает идиот.
"Демократичны русские пивные..."

Всеобщее братство похмелья примиряет бывшего зэка и сексота, нет ни правых, ни виноватых, ни старых, ни молодых. Тоска раздрызганного в пивнушках иудея выдает его среди собутыльников больше, чем характерный нос.

Качаются качели: страсти – страдания, вины – покаяния, отчаяния – надежды. Выдержать бы эти взлеты-падения:

Тысячелетняя тоска
Поводит дулом у виска.

Еврейский Бог, еврейский рок
Ей не дает спустить курок.
"Я одинок, как плач кочевника..."

Что может человек, если все происходит помимо его воли? Близка и понятна читателю неразъемность бессознательного стихийного начала и мира духа, чувства и мысли. Одно перетекает в другое: ощущение унижения, неудач часто является стимулом осмысления происходящего; всего лишь шаг от "презренья – к прозренью", от "предательства – к вере". Великие мысли – от великих эмоций, нет ничего в разуме, чего бы не было в чувствах, как говорил Достоевский. Вот только бы выдержать порой непосильное сиротство и сознание неудавшейся жизни. Никто тут тебе не поможет, разве что сам заставишь себя подняться после очередного провала. И стихи становятся спасительным прорывом из барачной жизни в преддверие Храма – мира должного.

В стихах Бориса Камянова – открытость, беспощадность к себе, разочарование и готовность все начать сначала. Концентрация мысли, перепады настроений, внимание к бытовой подробности и умение вычленить суть, сопоставив, казалось бы, противоположные понятия, лишают поэта оснований сетовать на то, что "не удостоился дара мудрой прозы".

Где бы ни был поэт – в России или в Израиле, – он всего лишь конечный, не самодостаточный человек, и готовность врасти в "Ерушалаим, как валун или скала" не спасает от незащищенности перед холодной бесконечностью. Нигде не спрятаться от себя, всюду актуален вопль: "Дай счастья мне – или убей меня!" Вспоминаются слова Святого Писания: "Нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощника, соответствующего ему..." А рабби Иегуда сказал: "Не читай – соответствующего ему, а читай – против него". Если будет он достоин, будет жена ему во всем подмогой, а если нет – будет она против него бороться. Вина, покаяние, чаяние перемен, приятие судьбы как одного из звеньев цепи мироздания – в стихах Бориса Камянова. А если волна удачи соединит, наконец, двух потерявшихся в жизни людей, достанет ли вдохновения писать стихи? Сомнение неправомерно, ведь поэзия – не только вопросы и крик о помощи, но и хвала Создателю.

Счастливый удел, когда жизнь всякий раз представляется радостным началом без страха потерь и сознания неизбежности конца, дан немногим. Как правило, люди несут не только груз своих бед, но и вековую усталость предков. В стихах Аси Векслер (сборник "Под знаком Стрельца") прослеживается общая участь российских евреев: дорога от Синая через Африку в Испанию, потом Нидерланды, Польша и Россия с чертой оседлости. Далее

– ужас Катастрофы. И снова мы вернулись в исходную точку, где начинаемся с приобщения к заветам праотцев и мечты быть нужным своему народу:

Успеть бы однажды в праотчем краю
взрастить безымянную строчку свою,
пустить ее по суховею,
чтоб счел ее каждый своею.

Новая жизнь начинается с воспоминания о родном доме, хоть дома как такового нет:

Вижу горы с горы. Дотянулись до глаз
Письмена каменистых нагорных террас.
Может быть, в них написано что-то о нас,
только чтенье пока про запас.

У нас две жизни, и та, которая рисуется в воображении, в большей степени соответствует нашему "я", она-то и является истоком творческой мысли. Искусство, говорит Ася, это "контур в небытии", мост, соединяющий вымысел и реальность, прошлое с настоящим и будущим. Передать бы следующим поколениям горькое знание местечка и песню о бедном портном, которую пела бабушка на идиш. Бедный портной вопрошает Создателя: "Если беспросветная нужда и работа от зари до зари – это жизнь, что смерть тогда?" Напев этот дан нам, чтобы не очерстветь душой и не потерять память о долгой дороге в нашу страну.

На вопрос: "Можно ли дважды войти в одну и ту же землю?" – Игорь Бяльский отвечает: "Дважды, трижды, четырежды". Нужно идти, не спрашивая. Со всего мира, со всех городов несут евреи в Израиль память поколений:

Сто предыдущих
непьющих
скитающихся поколений,
не говоря о несчитанных тыщах до нашей эры,
мне завещали печаль об утраченных кущах
и даровали грядущего рая химеры.

Стихи Игоря Бяльского, многозначные, как музыка, всякий раз вызывают разные мысли, настроения, образы. Все есть – протяженность во време-

ни и сиюминутность, прозрение и смятение, отсутствует лишь непримиримость суждений. И потому читатель имеет возможность домыслить ситуацию, воскресить забытые чувства, когда сознание раздваивается на непосредственное, детское, и взрослое, когда преобладает беспощадный разум. А дело, оказывается, за немногим, всего-то и нужно – позволить себе роскошь быть независимым:

Когда выходишь из игры,
еще не проиграв,
распахиваются миры
на вешний запах трав.

И далее:

Когда я был никто,
я пробовал летать.
Летели дни. Зато
года летели вспять.

Обратно. В те края,
где не означен срок.
И я не знал, что я
никто, а думал – Бог.

Вслушивается в себя, в свою причастность к завещанной нам земле Геннадий Беззубов. С первых же страниц книги "Случайный прохожий" мы приобщаемся к размышлениям поэта, к тональности его чувств: "Ветер, листающий черепичные крыши", "изнывающая душа" и "память о связи с Богом". Нужно осознать свое пребывание в "насквозь продуваемой стране камней", где есть "и хлеб, и свобода". Поиски себя начинаются с перемежающихся картин прошлого и настоящего:

Перепутавши "здесь" и "там",
Изумляясь судьбе такой,
За самим собой по пятам
Я бегу и машу рукой.

Перепутавши "там" и "здесь",
Изумляясь видениям сим,

Мы другой земли не вместим,
Даже если такая есть.

Казалось бы, можно вернуться обратно в Россию, на насиженное место, но это кажущаяся возможность – возврата, по сути, нет.

Это даже не выбор –
Предписанье, приказ.
Но Всевышний не выдал
Разъяснений для нас.

Хватило бы времени и сил начать все сначала здесь, но даже смерть на своей земле – знак судьбы. Мы ищем точку отсчета в глубине веков. Основная мировоззренческая установка поэта: бытие перед лицом Творца. Какую бы нишу ни нашел для себя человек, каждому предстоит дать ответ перед суровым Судией.

Это жизнь не за совесть,
скорее, за страх,
Это ветер кричит в иудейских горах,
на коротком и страшном просторе...

В сегодняшний день, "будто в ствол духового ружья, набита горчайшая соль бытия". Сегодня нужно свыкнуться с арабской угрозой, бесприютностью и страхом. Но когда поэт идет по улице Пророков, он сам чувствует себя пророком. Тут уж ничего не остается, как принять действительность такой, как она есть. И горечь бытия сменяется откровением – постижением сущности мироздания. Поэт и пророк – вне времени.

Тема произведений художника, как писателя, так и живописца, во многом определяется жизненными впечатлениями, а вот тональность мировосприятия – всегда одна и та же и зависит, в основном, от внутренних характерологических особенностей. С первых же ранних стихов Елены Аксельрод вырисовывается духовный образ поэта, который не изменился и в стихах сегодняшнего дня: гордый, тонко чувствующий и потому особенно беззащитный человек. Много всего наслоилось: родовая память местечек с нищетой, кровавыми погромами, боль утрат "убитых в заключенье, убитых в ополченье". Поэт наследует жизненную установку родителей – "не уступать ничего", не поступаться ни честью, ни достоинством, ни верностью своему призванию и долгу.

Высокий накал чувств, внутренняя необходимость абсолютных отношений определили ориентацию не столько на реального, сколько на идеального друга. Может быть, не ведая того, мы бессознательно продлеваем память первой любви: прервавшиеся отношения еще не затуманились бытом, не проявилось несходство характеров, ориентаций на разные жизненные ценности. Воображение выше реальности, а уж силу поэтического вдохновения не дано одолеть ни одному смертному. И мы, читатели, слышим шорох падающего снега, пение сосен, плеск морской волны, несущейся навстречу влюбленным, которые "равны богам". Видим профиль "лица дорогого" в обнаженных ветках тополя, цветущий куст, свет в окне и дождь, соединяющий былое и сегодняшний день. Сколько оттенков красок, звуков, сколько тонов, полутонов чувств, предчувствий! Как весомы чугунные клювы ворон и, наоборот, невесома рука старушки, ожидающей птиц, "белокрылых и юных".

Казалось бы, сила человека в независимости, которая часто достигается умением абстрагироваться от окружающих, отрешенностью от успеха (стихотворение "Но в себя мы уверуем снова"). Отсутствие необходимости перекричать кого-то и тем самым доказать свою значимость дает ощущение покоя и беззаботности. Только независимость эта часто оказывается иллюзорной:

Я по саду чужому бродила.
Было жутко, шныряли тени.
Но была в отрешенности сила,
Хоть подчас подгибались колени.
"В саду"

В этом же стихотворении читаем о том, что страх можно победить, если отождествиться с деревьями, травой, коснуться руками листьев и представить, будто в спину тебе бросили не камень, а яблоко. Но страхи не исчезают, они возвращаются в снах:

Снилось мне, что меня искали,
Что мой лоб придавили каменья...

Память холодного города, который так и не стал родным, где "глядят на меня ненавидя, будто я в холодах виновата", и чувство своей вины от сознания отчужденности – это в прошлом, а в настоящем – осмыслить бы суть событий в стране Авраама. Мы все время задаем Богу вопросы и пытаемся

услышать ответ. В недавно вышедшем сборнике Елены Аксельрод "Стена в пустыне" усиливается представление своей конечности в бесконечном мире, обостряется желание уяснить "суть земных событий". Сменился пейзаж: там – "Березы голые ветвями черными качали", здесь – "На жаре распятая пылится пальма", но взгляд на себя как бы со стороны остался прежним, и осталось все то же умение облечь в слова самый сокровенный вздох.

Творчество – своеобразный диалог с Творцом, оно же рождает чувство неразрывной связи поколений: "И снова слиты воедино / Отца призванье, дело сына". Но как бы ни было сильно "обольщение, что слово отвергает прах и тлен", не защититься искусством от яви, жив человек любовью к ближнему.

Господь, помилуй и спаси – не оставляй меня одну,
Не забирай, кого люблю, не дай утратить дар любви.
Покуда я могу дышать, оставь мне хоть одну струну –
Струну любви и доброты, а остальные все порви...

"Моление о доброте"

И всепобеждающая любовь к сыну:

Сколько живу, вдоль пустыни изгнанья бреду.
Манны небесной отведать едва ли сумею.
Но если от сына кару небес отведу –
Значит, придет он, значит, придет в Галилею...

"Я никогда не поверю, что Авраам..."

Стихи Елены Аксельрод – стон, плач, молитва – близки каждому, кому присуще чувство отдельности и кто в своем одиночестве слышит боль другого, подобное познается подобным.

Мироощущение поэтессы в сборнике "Стена в пустыне" становится еще явственнее благодаря живописи ее сына Михаила Яхилевича. Дети часто наследуют от родителей внешнее сходство, но сродство душ – явление редкостное. Здесь же – счастливый случай дыхания в унисон. Мы говорим о тональности приятия мира, которая остается постоянной на протяжении всей жизни. На картинах и в стихах этой книги – человек наедине с вечностью. Одинокая фигура, как стрелка компаса в ночи, обращена лицом не к зрителю, а к пустынному пейзажу. Стены домов – "шалаши из камня", будучи укрытием от холода и зноя, не защищают от призрачности существования. Лифт, несущийся в пропасть среди гор, сторожевая вышка над бездной или

край балкона – вот-вот небесное притяжение пересилит, и человек потеряет связь с землей. "Здесь в небо я погружена, / Я у него в кармане..." – читаем мы в стихотворении "Здесь под горой в Святом краю..."

Картины Михаила Яхилевича и стихи Елены Аксельрод делают ненужными вопросы об известности и безызвестности художника, которые поэтесса задавала еще в начале творческого пути: "для кого" всю жизнь писала ее мать, "для кого" отец был неразлучен с мольбертом ("Вместе и врозь, кто был дорог, исчезли...")

...Меняются в стихах и пейзажах книги "Стена в пустыне" краснеющее солнце заката, ночная темь, зеленеющий рассвет, утро, день, ночь, снова утро... И всегда присутствует чувство дали, дороги, которой нет конца.

У древних греков было понятие "рок", у евреев – предназначение. Каждый еврей должен распознать и реализовать свое предназначение или, выражаясь словами Дины Рубиной, "написать своей сценарий жизни". Очень неоднозначный писатель Дина Рубина, за спасительным юмором, состоящим в кровной причастности к описываемым событиям, и умением абстрагироваться от них, – экзистенциальные проблемы: жизнь, смерть, творчество, поиск себя на этой земле.

У каждого художника при всем многообразии его сюжетов, есть главная тема. У Рубиной таковой представляется становление творческой личности. Как из хаоса страхов, страстей вырисовывается человек, противостоящий повседневности. Кому из нас не знакома необходимость смириться с обстоятельствами и невозможность смирения: "Тогда (в России) я еще не догадывалась, что нет ничего страшнее для еврея, чем противоестественное национальному характеру смирение". В книгах российского и израильского периодов не нарушаются законы "суровой правды", все достоверно, взаимообусловлено и никаких чудес. Так оно и лучше, наш жизненный опыт свидетельствует: все дается будничным тяжелым трудом. Здесь, как и там, актуальны проблемы поиска работы, квартиры, и, уж конечно, недалеки от истины слова о том, что "оле за шекель в чистом поле воробья загоняет".

Эпиграф к роману "Последний кабан из лесов Понтеведра" ("Камни их сохранили величие, люди – нет") как нельзя более точно отражает ситуацию и другого романа – "Вот идет Машиах", где за густой, шумихой, погоней за копеечным заработком русские евреи ищут Бога. "Не бывает еврея без Бога", – говорил Достоевский. Тем более – на Святой земле. Речь идет об осознании истории, идей, которыми жил народ в преддверии прихода Машиаха, и об ответственности; "Спасение придет от евреев", – сказано в Евангелии. В настоящем романе те же проблемы, что и в ранних произведениях ("На Верхней Масловке", "Ангел конвойный", "Камера наезжает"), те же поиски себя

– только на этот раз перед оправдывающим наше существование Высшим Разумом.

Абсурдные ситуации: прошлого уже нет, будущего еще нет, только и остается уповать на волю Бога. Божья воля для каждого своя, а Машиах для всех. Понять бы, как один человек может изменить мир. Может быть, секрет кроется не в понимании, а в нерассуждающей вере, но тут у русского еврея не хватает воображения; у него вызывает недоумение очищающий от скверны пепел красной коровы и упование на посланца Небес, который должен придти со дня на день. Живя в Израиле, понимаешь, как точно схвачено Рубиной состояние человека, перемещенного в другое измерение. Иногда же кажется, будто и не было рассеяния, евреи снова, как две тысячи лет назад, оказались в ситуации разброда, вражды, когда необходимо объединиться и найти решение. Все перепутано, прошлое неотделимо от настоящего, сон перемежается явью, правда – вымыслом. Нужно собрать себя, воссоздать из обрывков воспоминаний, судеб родителей, памяти бабушек и наследия тысячелетий. Пестрая, многоликая, мельтешащая толпа прикоснулась на своей земле к тайне вечности. В христианстве Бог очеловечивается и спускается на землю, в иудаизме – человек поднимается к Богу. Осознать бы связь божественного и человеческого "я"!..

Наше поколение ответственно за существование страны как в духовном, так и в физическом плане. Невозможно не разделить недоумение писательницы по поводу абсурдности ситуации: строят поселения и сносят, сажают террористов и отпускают. Ради чего гибнут люди? И резонный вопрос: "Зачем евреям мир, если не будет земли?" Действительность сегодняшнего дня невозможно понять, разве что пережить с помощью юмора, то есть найти в себе силы посмотреть на происходящее со стороны, с безопасного расстояния. Юмор – исторически обусловленная особенность мировосприятия евреев из России. Мы читаем у Рубиной: "Объявлена финальная встреча КВН. Сборная Израиля против сборной мира. Встреча, разумеется, проходит на русском языке, потому что в команду Израиля входят только одни русские евреи, а в мировую сборную – русские евреи из Германии, Америки, России, Австралии и Новой Зеландии. – Я думаю, наши их побьют!" (Рассказ "Противостояние").

Обратимся к мировоззренческим проблемам переведенной на русский язык ивритоязычной литературы, одна из доминирующих тем которой – соотношение осознанного и бессознательного начала в психике человека.

Повесть А.Б.Йегошуа "Лицом к лицу с лесом". Недоучившийся студент университета, не нашедший себя ни в выбранной специальности, ни в отношениях с людьми, оказался лесным сторожем. Не так уж важно, что яви-

лось причиной неприкаянности героя – отсутствие ли интереса к науке, лень или излишняя задумчивость, которая мешала ему организовать работу будней и делала привлекательным для жен преуспевающих сокурсников. Выходом из тупика ничегонеделанья представилось уединение в лесу, где, наконец, можно сосредоточиться и осилить чемодан книг. Был и напарник – немой смотритель, старый араб. У того своя история: лес прятал развалины его деревни. Субтильный очкарик и араб, у которого вырезали язык, неизвестно, свои или чужие, оказались друг против друга, как два уцелевших солдата вражеских войск. Одинокий ли привязался к одинокому или появилось соучастие к тому, кто рядом, только притупилась настороженность студента к "неугасимой ненависти в глазах старика". Все сместилось: возможность припрятанного в лесу бензина и наличие такового; всегда молчащий телефон, трубку которого можно было поднять только в случае пожара, и найденный в лесу обрывок телефонного провода; возникшая теплота к смотрителю и сознание, что тот может зарезать его спящего и спалить лес. Слабеет чувство опасности и от усталости постоянного бдения, ежечасного и ежеминутного обозрения в бинокль со сторожевой вышки "пяти холмов, покрытых игольчатым ворсом серо-голубых сосновых лесов". Постоянный страх огня и в подсознании – желание освободиться от страха: ожидание всеуничтожающего бушующего пламени. Эти противоречивые переживания спровоцировали развязку: араб поджег лес, запалил со всех пяти холмов. Человечность, участие к судьбе араба в данном случае уничтожают инстинкт самосохранения, становятся самоубийственными.

Если у основного персонажа этой повести притупилась реальная оценка действительности и бессознательные чувства взяли верх, то в следующей повести А.Б.Йегошуа "Вечерний поезд в Ятире", наоборот, неосознанные эмоции переходят на уровень сознания. Конец так же трагичен. Речь идет о жителях маленькой заброшенной деревни в горах, для которых единственным вестником внешнего мира был проносящийся в вечерних сумерках поезд. Самые главные впечатления далеких от всякой цивилизации людей сводились к виденью роскошного экспресса, блистающего освещенными окнами; жизнь тех, кто находился в вагонах, представлялась волшебной сказкой.

Человек должен реализовать свой энергетический потенциал в конкретной деятельности, в противном случае копившиеся в замкнутом пространстве силы перерождаются в безумную разрушительную стихию. Интересно, что чудовищное предложение одной из жительниц деревни пустить поезд под откос не вызвало протеста у других. Всем нужны были новые ситуации, возможность участвовать в событиях, пусть даже трагических. Принесла ли катастрофа с сотнями жертв облегчение убийцам? Но это уже другой вопрос.

Иррациональными эмоциями в романах Амоса Оза наделены женщины, мужчины же, как правило, руководствуются волей и разумом. Однако в одном человеке присутствуют и то, и другое, и потому деление условно. Лев Толстой, например, по этому поводу говорил, что женские характеры он списывал с себя, со своих переживаний.

На вопрос ребенка: "Почему все люди думают по-разному?" – взрослые резонно отвечают: "Потому что они разные" (роман "Мой Михаэль"). Застенчивой Хане снится сладострастный ужас. Не столь важно, от кого исходит насилие – от двух ли близнецов-подростков с бронзовыми гибкими телами, от крепко сбитого водителя такси из бухарского квартала или проницательного капитана подводной лодки; главное, что чувство освобождения приносят Хане сила, внутренняя энергия, ум. Героиню завораживает видение далеких берегов, заснеженных полей и мчащейся в неведомые дали русской тройки. Хана говорит о себе: "Существует в мире некое таинство, оно задает внутреннюю мелодию моей жизни".

Сменяются поколения, люди уходят в небытие, бессмертна только мысль. Стремление постигнуть не облеченную в слова суть Хана как эстафету приняла от отца, тот "вслушивался, внюхивался в мир". Так же и Михаэль взял от своего отца установку стать ученым. Казалось бы, есть все основания для счастливого брака, ведь именно ученые и писатели казались Хане пророками. Но муж на все ее вопросы отвечал молчанием и улыбкой. Соучаствовал бы он в мучительных переживаниях жены – не появилось бы у нее чувство одиночества, ощущение случайности их отношений. Хана живет в напряженном ожидании, преддверии чего-то самого главного, Михаэль же, напротив, четко знает, чего хочет. Уязвимость женщины усугубляется и нацеленностью мужа на профессорскую кафедру, что делает его привлекательным для честолюбивых студенток. И неожиданный финал: "Разумный, скромный, хоть и не блестящий, но надежный Михаэль" оказывается вовсе не надежным.

Неожиданно меняется ситуация, оценка действительности и в романе Амоса Оза "Черный ящик". Возникает вопрос: какие особенности человеческой психики постоянные, а какие преходящие, зависят от обстоятельств? Устоявшиеся жизненные взгляды Мишеля, героя романа "Черный ящик", по поводу того, что быть евреем – "это уметь принимать удары, все преодолеть и идти по нашей дороге дальше... И принимать приговор судьбы", не выдерживают испытаний. Когда страдания стали нестерпимыми, Мишель подумал: "Быть может, не приведи Господь, небеса пусты? Нет ни правосудия, ни Судьи. Быть может, весь мир погружен в беззаконие? " Усомнился перед лицом испытаний и господин Глика, "всю жизнь истово исполняющий

все предписания нашей веры" ("Мой Михаэль"). А господин Гидон, всю жизнь стремящийся найти высший смысл бытия, "мысль разрешить" перед лицом неизлечимой, болезни и близкой смерти приходит к выводу: высший смысл – это "талант к жизни", чудо – сама жизнь. В детстве господин Гидон утверждался силой и властью. То же стремление подчинить, взять верх было и у его сына. С возрастом разжимается кулак, герой понимает: "быть сильным – значит уметь любить".

Мы отмечали у русскоязычных писателей сознание избранности; есть оно и у ивритоязычных. "Испытай раба своего", – молит Ифтах в рассказе Амоса Оза "На этой недоброй земле". Экзистенциальный выбор в понимании: "Чтобы приблизиться к Богу, надо уподобиться бабочке, но не тогда, когда она подлетает к цветку, а тогда, когда она летит на огонь". И там же: "Я не прошу Твоих милостей и щедрот, подари мне от ярости Твоей, от одиночества и страданий". Кем бы ни ощущал себя человек, избранником Всевышнего или ничтожной песчинкой, он беззащитен перед судьбой.

В повести А.Б.Йегошуа "Начало лета – 1970" старый учитель потерял на Войне за Независимость единственного сына. Выход из заколдованного круга одиночества бывший учитель пытается найти в отождествлении с повседневной жизнью своих бывших учеников.

Жизнь прозаична, за чудесами выхода из Египта Шуламит Харэвен показывает конкретную судьбу обездоленного мальчика-сироты, который сам, на свой страх и риск, должен определиться перед Богом и людьми (рассказ "Ненавидящий чудеса"). С одной стороны, героя одолевает страх пустыни, отъединенности от людей, с другой – постижение: правду следует искать, обращаясь к звездному небу, а не к переменчивым нравам людей. Совсем полным сиротой ощутил себя Эшхар, когда отказался участвовать вместе со сверстниками из своего колена в языческом буйстве по поводу золотого тельца. Как просто пишет Шуламит Харэвен о последствиях отступничества: "Похоронили убитых и взяли на себя Закон". Восприятие невидимого Бога выражается у Эшхара не в присутствии сверхличности Моисея, не в памяти о чуде появления манны, перепелов и воды из камня, а в узнавании земли праотцев и в предощущении чего-то самого главного.

"Самое главное" ищет Эфраим в повести Давида Шахара "О тенях и образе". Отец Эфраима – сухой деспотичный человек. Мать – художественно одаренная, артистическая натура, позволяет сыну быть самим собой: "Мой мальчик! Да ведь такого, как ты, нет на всем белом свете". Рассеянность, постоянные грезы наяву, невключенность в забавы детей свидетельствуют об углубленности, сосредоточенности на своих впечатлениях, переживаниях. Индивидуальное своеобразие может проявляться по-разному. У Эфраи-

ма оно выразилось в обостренном восприятии цвета. Неслучайно первой любовью оказалась художница, старше его на пятнадцать лет. Желание свободы, творческого приятия мира не мирило с властью отца и учителей йешивы. Бога Эфраим отождествлял "не с исполнением всех двухсот сорока предписаний и соблюдением всех трехсот шестидесяти запретов", а как свои личные отношения с миром и людьми. Мысли эти казались греховными до того дня, когда он начал изучать поздних пророков, "они дарили ему свое великое прощение". "Сказано тебе, человек, что есть добро и что требует от тебя Господь: действовать справедливо, милосердным быть и смиренно ходить перед Богом твоим". Живопись, философия, поэзия – тоже поиск Всевышнего. Обладатель богатого воображения и незаурядного интеллекта часто выпадает из своего клана. В сообществе же, в массе людям легче жить, поскольку не нужно принимать рискованных решений и расплачиваться за свой выбор – масса всегда права.

В вопросе выбора себя, своей судьбы Михаил Генделев – фаталист. Да и есть ли у человека выбор, ведь он всего лишь "мотылек", бабочка, которая "топчется в воздухе на краю". И потому минута, миг становятся протяженными во времени. Жизнь рядом со смертью, а любовь – всего лишь дыхание, легкое прикосновение друг к другу.

Посиди со мной.
А время спустя...
Ах,
кто же знает,
что будет с нами потом?
Нельзя искушать судьбу –
мы у нее в гостях –
все дело в том.
"Сядь посиди со мной"

Все случайно, непредсказуемо. Удивительно легко вживаешься в образный и чувственный мир поэта, в напев стихов, тональность настроения: "Тени комет и огней небесных стекают по нашим щекам"; "Ветер свистит тишину"; "Луна, песня Лилит, пустыня, бессловесный диалог".

Червь в яблоке напоминает о змее, искусившем первого человека яблоком с древа познания. Но, как бы мы ни старались, знание наше конечно, и не постигнуть истины, сущности мирозданья. Бесконечна дорога, не отличишь конец от начала. Не отсюда ли проистекают представления о бесплодности усилий человека, его неопределенности во времени.

Подпись: нет и следа.
Дата: поздно, луна.
Время: а время не определим.

Каждый начинает сначала, "я дал название новое любви – пустыня, и то же название души" (см. в разделе "Стоящий на открытом месте"). Мы сами обживаем, заполняем душу, творим любовь, и нет ничьей вины, если исчезнет память нежности. Не потому ли человека не покидает ощущение одиночества, призрачности бытия и экзистенциального страха пустоты. Ненавязчивы мысли, чувства поэта, скользящие, как лунные блики, рябь по воде, захватывают своим напевом, непреложной данностью. Жизнь – "пепла лепесток". Какой маленький промежуток между еще небытием и уже небытием:

Сначала темнота.
Затем печаль и память
и
снова темнота.
"Сначала темнота"

В размытых тенях "контур двух близнецов – смерти и бессмертия".

Смерть на войне более реальна и вещественна, нежели жизнь, не солдату решать, "быть или не быть". Сдувает ветром повисшую на скале "бахрому" неудавшегося десанта. "В ночном бою, творящемся на ощупь, легче беспрекословно умереть". Вот он, образ войны в стихах Михаила Генделева: "птицу с глаз отер и кинул в небо дыма"; "жизнь становится всего лишь названием, а не именем". Неотвратимость, готовность к смерти - "гороскоп военного мотылька".

"Не был – есть – не буду"
всплывает
"был ли?"
"Бильярд в Яффо"

С одной стороны – легкое касание реальности бытия, с другой – страшная материальность смерти.

Ты глина от глины Междуречья
под клинопись новых таблиц.

Или:

Фонтанами отворена
гнилая кровь – нефть – перегной полей великого Нимврода*.
Я посмотрел и я сказал:
война!
война, народы!

Из цикла "Вавилон"

Нужно было на себе прочувствовать невозможность совместить осознание своего конца и бесконечности, смерти и бессмертия, чтобы написать: воюют солдаты по команде, а умирают в одиночку – здесь "каждый себе поводырь". И не суть важно, что речь идет о войне с арабами. Смерть обезличена, она же персонифицирована. Война как судьба, "я был женат на тебе, война". Война любит, ревнует солдата. И не защититься от страха метафизической гостьи-смерти, она является и "плюхается в постель", напоминает об отсрочке, всего лишь временной разлуке. Победа не однозначна, даже если ты уцелел и твой дом на месте погибшего города: омертвеет душа, и не увидишь

В серебряном небе
ни птиц
и ни звезд и ни облаков
ни дождя ни молитвы

В этом четверостишье нет знаков препинанья, что усугубляет ощущение непрерывности времени. В сборниках стихов Михаила Генделева, вышедших в Иерусалиме ("Послание лемурам", 1981; "Стихотворения и поэмы", 1984; "Праздник", 1993; "Избранное", 1996; "В садах Аллаха", 1997; "Царь", 1997) – доминируют столь привычные нам сюжеты: о жизни, смерти, судьбе. А любовь – сон и потому не страшно, что нет любви. "Жизнь на ветру" – вот фон, на котором возникают и исчезают люди, оставляя блики, мелодию...

Тема трагедии войны занимает большое место как у русскоязычных, так и у ивритоязычных писателей. О боях за нашу землю, о погибших людях и растущей ненависти мы читаем в рассказе Хаима Гури "Столетняя война":

---

* *Нимврод первый стал воевать с другими народами: внук Хама, он служил в Агаде прототипом мятежных людей, а имя его толкуется - "Возмутивший весь народ против Господа".*

"Было ясно, что евреи, вернувшиеся на "отнятую землю", на ней и останутся, чего бы им это ни стоило". Израильтяне не хотели браться за оружие, просто не было другого ответа на вопрос: "Что нам делать?" И далее в том же рассказе читаем: "Да не убоимся мы врагов, а убоимся мы своих слабостей, равнодушия галута, по горло сытого алией, да убоимся бегства из страны и безработицы, да убоимся забвения своего достоинства".

В стихотворении Натана Альтермана "Серебряное блюдо" мы слышим голос погибших солдат:

Скажут оба, в засохшей крови и пыли:
"Мы – то блюдо серебряное, на котором
Государство еврейское вам поднесли".

Скажут так и падут. Тень на лица их ляжет.
Остальное история, видно, доскажет...

Размышления о цене за независимость слышны и в стихах Хаима Гури:

Не предали мы! Посмотрите, ведь каждый из нас при винтовке.
Лишь пусто в подсумках и дымном, еще не остывшем стволе,
И кровь наша капля за каплей кропит еще тропы лесные,
Мы бились, покуда не рухнул последний из нас на скале.
"Вот лежат наши трупы"

За этими строками видишь и тех, кто бросился в бой сразу из Хайфского порта, они еще не знали иврита, не понимали команд и потому погибали. Выжили в немецких концлагерях – и заплатили за свою землю кровью.

Об отношениях евреев и арабов военного времени читаем в повести С.Изгара "Пленный". Только враги здесь сталкиваются лицом к лицу, да и ситуация не требует героизма. Речь идет о пленном арабе-пастухе, и в преддверии дальнейших событий С.Изгар дает мирную картину прошлого: "Где-то в далеком мареве полей пастухи вели свои стада, как бы плывя в спокойном движении, среди безмятежной простоты полей и гор, словно в облаке добрых старых времен, когда не существовало зла, и это щемило душу иным пророчеством".

Пленного пастуха допросили, мало вероятно, что он сказал правду, но продолжать допрос, убить – не гуманно; старика ждет семья – жена, дети. Внутренний голос убеждает конвойного: "Эй, парень, давай освободим человека!

Отпусти – и ты спас его. Ты обязан освободить, даже если он сам будет над тобой смеяться, даже если узрит в этом слабость"*.

Так же непросто убить и арабу еврея-пастуха, ведь еврей долго жил по соседству с его дедами, знает арабский язык, их обычаи, знает и о том, что "уже восемь лет на этой границе не проливалась кровь" (рассказ Натана Шахана "В горах").

Одни и те же события, отношение к святым местам в творчестве разных писателей освещаются по-разному. Для одних Хеврон – проход в сущностный мир, для других – всего лишь место, на котором растет виноград, независимо от того, кому это место принадлежит. Не бытие определяет сознание, а наоборот: сознание – бытие. Марксистская философия такую точку зрения именует идеализмом, а в быту этому понятию соответствует "мечтательность". Амос Оз пишет: "Великие дела совершаются именно мечтателями; если бы малочисленные мечтатели и борцы были реалистами, не состоялось бы возрождение Израиля" (роман "Черный ящик"). Мечтательность ближе к вере, а не разуму. "Кто знает, – читаем мы у Светланы Шенбрунн, – может быть, подобная одержимость с упованием на счастливый исход делает человека причастным чуду?" (рассказ "Долина Аялонская"). Вера в возрождение Израиля и в право владения землей делает народ всемогущим, независимо от политики правительства, которое "во имя поддержания добрососедских отношений может передать национальное достояние какому-нибудь мусульманскому совету или королю Хусейну..." ("Сокровища храма").

Об актуальной на сегодняшний день проблеме территорий и мира с арабами пишет Дина Рубина в романе "Вот идет Машиах". Как понять евреев, которым без разницы, кому принадлежит земля, с которой мы начинались? У арабов по нескольку жен, много детей, и "хотят они того, чего хотели всегда, – чтобы евреев здесь не было". "Левые называют правых фашистами и экстремистами", правые обвиняют левых в фашизме и экстремизме по отношению к собственному народу. Один из героев романа говорит по этому поводу: "Машиах не придет. Пока эти суки будут в разнос торговать страной – он и носа не покажет. Либо уж, когда нас арабы совсем в резервацию загонят, он явится, чтоб левым зубы повышибать и ноги пообломать".

Подобная позиция, будучи проявлением не воинственности, а решимости

---

* *Общеизвестен такой случай. Еврейский отряд шел в Гуш-Эцион на помощь своим отбивавшимся от арабов собратьям. По дороге их встретил пастух-араб. Пастуха не убили, пожалели, и тот привел арабов, которые перебили весь отряд. То была плата за гуманизм.*

отстоять страну, свойственна и евреям из России: они еще не забыли чувство изгоя на чужой земле. Впрочем, это чувство знакомо в России не только евреям, но и тем, кого подозревали в причастности к таковым. Прочитав роман Юрия Нагибина "Тьма в конце туннеля", израильтянин может познакомиться с мироощущением ребенка, у которого отчим – еврей. "Ты – жид", – вынесли приговор дворовые мальчишки и тем самым сделали его парией. Ничто не помогало: ни миролюбие, ни умение драться и играть в футбол, ни готовность делиться игрушками. Обвинение в жидовстве – "это не драка, даже не избиение, это то, что превратит тебя в плевок, растертый ногой по асфальту. Я узнал, что я недочеловек, и во мне сменилась кровь, я стал трусом". Юрий Маркович Нагибин всю жизнь помнил эти впечатления и рассказал о них только в своей последней книге.

Опыт "белой вороны" породил у евреев не только сознание отделенности, необходимости защищаться, но и мазохизм, желание прощать. Всепрощение, по мнению Амоса Оза, – национальная черта, о чем он пишет в романе "Черный ящик": "Некий дефект в восприятии мира свойствен многим евреям – мы не способны ненавидеть наших ненавистников". Может быть, всепрощение, одна из составляющих нашего галутного сознания, обусловлено необходимостью пригибать голову, в противном случае не выжили бы. Ведь и христианство с призывом возлюбить врага своего возникло, когда Израиль был порабощен Римом. Где уж нам стать колонизаторами – совесть замучит, потому как чувствительные очень.

Врезался в память рассказанный однажды Диной Рубиной эпизод. Общественный пляж, заповедник природы в Эйн-Геди. То был день арабского Праздника Земли. Везде жарили шашлыки, вокруг плотная толпа арабов, много детей, микроавтобусов и громкая арабская музыка. "Мы, – рассказывала Дина Рубина, – примостились около сломанного душа, на единственном свободном месте. К нам прибились два немца, два шведа и мальчик-журналист из Москвы. Я как-то интуитивно ощутила, что мы жмемся друг к другу. Арабы, напротив, чувствовали себя вольготно, раскованно. Это было очень странное ощущение, будто ты не имеешь права находиться на этой земле. Мы не выдержали, ушли. Когда поднимались вверх по дороге, навстречу попались арабские подростки. Они прошли мимо нас, как проходят мимо неодушевленных предметов – мусорных урн, деревьев. Даже не посторонились, словно нас тут не было. Мне впервые стало страшно по-настоящему. Страшнее, чем когда мы жили в поселении Псагот и в нас бросали камни и бутылки с зажигательной смесью".

Этот рассказ наводит на размышления; ведь подобное состояние – производное от интеллигентской чувствительности русскоязычных репатриан-

тов. В следующем поколении мы утратим этот комплекс. Хорошо это или плохо? Плохо, потому как потеряем бдительность и можем оказаться тем колобком, который от бабушки ушел, от дедушки ушел... – уцелел в разных странах и рискует быть съеденным хитроумной лисой – арабами. И тут уж невольно думается о том, что танковый проход в горах надежнее мирного договора.

Новые писатели в Израиле появляются не на пустом месте, очевидна преемственность онтологических проблем русской классики. У русскоязычных литераторов иначе и быть не может, но и ивритоязычные прозаики говорят о своих духовных корнях в России. "Наше прошлое и настоящее, – пишет Амос Оз, – связано тысячью и одним узлом с тем, что досталось нам из России" ("Опаленные Россией"). Связь здесь обоюдная, так же и русские писатели приобщились к еврейской истории, культуре. Для И.А.Бунина Израиль – память о прошлом, которое присутствует в настоящем, вечный диалог Бога и человека; А.П.Чехову понятна и близка философия Экклезиаста, где "все возвращается на круги своя"; Л.Н.Толстой ищет в иудаизме ответ на вопрос о смысле жизни здесь, на земле.

Преемственность особенно очевидна в проблеме соотношения веры и разума. Например, для Чехова – "если нет осмысляющего жизнь Бога живого человека, значит, ничего нет". Для Бунина Бог – "высшая правда, которая над жизнью и над искусством". Для Толстого Бог – любовь, нравственное совершенство. Не бездумный фанатизм, а личное усилие в осмыслении себя перед лицом Творца свойственно русским классикам. "Вера должна явиться результатом осознанной работы мысли", – говорил Чехов. То же утверждал Толстой: "Чтобы не подпасть обманам веры, человек должен понимать и помнить, что истина открыта ему только в разуме, данном Богом человеку".

Иудаизм в большей степени, чем какая-либо другая религия, основан на разуме. Не случайно Толстой путем размышлений пришел к очевидности единого Бога евреев в отличие от тройственности в христианстве, а в Талмуде он нашел больше мудрых мыслей, чем в изречениях всех мудрецов мира. Усовершенствование общества, – считал Толстой, – начинается с отдельного "я". О том же ратует Амос Оз: "Главное – это личность. И исправлять, изменять нужно личность, а не общество".

Но для того, чтобы исправлять, нужно познать человека ("черный ящик", "вещь в себе") с его вулканическим подсознанием и экзистенциальным опытом. Уяснить вопросы соотношения чувства и мысли, веры и разума, рабства и свободы – значит во многом понять противоречивую природу людей, их бессознательное стихийное начало и мир духа.

Моше Гохлернер

ЕСТЬ ЛИ У КРОВИ ГОЛОС?

Размышления на тему

"Грянул бой. Прямее и суровей
Поглядели мы на белый свет.
Я не знаю, есть ли голос крови,
Знаю только: есть у крови цвет".

М.Алигер. "Твоя победа"

Маргарита Алигер, воспитанная и действовавшая в рамках русской советской культуры, мужественно продекларировав в знаменитой поэме свою идентификацию с еврейским народом, задалась все же вопросом: "Есть ли голос крови?" И ответила: "Есть у крови цвет".

Эта апелляция к цвету крови, одинаковому у всех народов, вполне укладывается в рамки официального "интернационализма" советской идеологии, выразившегося в стремлении не выпячивать особые страдания и потери еврейского народа в войне, не выделять евреев из числа других "советских людей", пострадавших от немцев.

Между тем с метафорой "голос крови" мы встречаемся уже в библейском сюжете об убийстве Авеля его братом Каином. Убийца на вопрос Творца: "Где Авель, брат твой?" отвечает: "Не знаю, разве я сторож брату моему?" На это Господь обращается к нему с разоблачающей репликой: "Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли".

К этому библейскому сюжету обращается израильский поэт Дан Пагис, национальное сознание которого насыщено текстами и сюжетами из ТАНАХа. В стихотворении под прозаическим названием "Написано карандашом в запломбированном вагоне" он пишет:

Здесь, в этом транспорте,
я, Хава,
со своим сыном Авелем.
Если увидите моего старшего сына,
Каина-человека, сына Адама,
скажите ему, что я...

Еврейская мать Хава просит людей, чтобы они сказали Каину... Она называет его "моим старшим сыном", "сыном Адама". Выражение "сын Адама" (бен-адам) в иврите и в идише содержит оценочную коннотацию настоящего, уважаемого человека, способного сочувствовать другим людям. Если учесть реалии "запломбированного вагона", выражение "бен-адам" приобретает ироническое звучание, сарказм которого направлен, с одной стороны, в адрес Бога, который услышал голос крови убитого Авеля, а с другой стороны, в адрес немца, претендующего на звание сверхчеловека, истинного представителя человеческого рода.

Основным средством выражения протеста выступает голос, текст: "скажите ему". И в ТАНАХе текст звучит так: "И сказал Каин Авелю, брату своему... И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его". Что же именно сказал Каин Авелю, прежде чем убил его?

Мудрецы Талмуда дают различные толкования этого места: "И сказал Каин Авелю, брату своему: "Поделим мир между собой". "Поделим", – согласился Авель. Взял Каин землю, а Авель стада. И условились они не затрагивать один владения другого. Погнал Авель стада в поле, а Каин кричит ему: "Земля, по которой ты ходишь, моя!" – "А одежда, которая на тебе, не из шерсти ли моих овец сделана?" – отвечает Авель. "Прочь с моей земли!" – "Долой одежду из моей шерсти!" Погнался Каин за Авелем, пока не настиг его.

По словам других, Каин, потеряв разум, заявил: "Земля, на которой ты стоишь, моя. Виси в воздухе!" Авель на это ответил: "Твоя одежда – из шерсти моих овец. Сними ее!" (И.Х.Равницкий, Х.Н.Бялик. Агада. Берлин, 1922, с. 26-27. Брешит Раба 22, 8).

Другого мнения придерживается рабби Иегуда, уверяющий, что спор возник... из-за женщины, что это своего рода "Эдипов комплекс". Оба брата любили Хаву (напомним, что она – единственная женщина на Земле). Эта гипотеза базируется на наличии в тексте слова "садэ" (поле), которое и в ТАНАХе, и в талмудических источниках ассоциируется с образом женщины. Рабби Айво, соглашаясь с тем, что спор был из-за женщины, не принимает версию любви к матери Хаве и полагает, что речь идет о сестре-близ-

нице, родившейся вместе с Авелем, на обладание которой претендовали оба брата.

Неожиданный поворот этот сюжет приобретает в высказывании рабби Иегошуа из Синхина. Он не может согласиться с тем, что спор был из-за таких низменных побуждений, как владение землей или женщиной. Он полагает, что спор между братьями был о том, на чьей земле будет построен Храм Божий, "бейт а-микдаш". Спор носил религиозный характер.

Во всех этих версиях содержится ироническая оценка природы человека, способного убить себе подобного как из низменных, так и из возвышенных как будто побуждений, и особое место при этом занимает слово, которое предшествует действию. Вначале было слово: "И сказал Бог: да будет свет. И стал свет" (Берешит 1:3). Эта точка зрения, характерная для еврейского мировосприятия, противоположна точке зрения Фауста у Гете, утверждающего: "В начале была сила, в начале было дело".

Подход иудаизма к слову, речевой способности человека может быть иллюстрирован следующим текстом: "Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым (Берешит 2:19-20). Название имен всех вещей человеком служит способом категоризации мира, сотворения отраженного идеального мира "второй сигнальной системы" (Павлов) в человеческом сознании. Именно в этом созданном им идеальном мире человек живет и действует, меняет его и меняется вместе с ним. Образ же этого идеального мира зависит от специфики и свойств языка, с помощью которого он был сотворен. Этот идеальный мир, зафиксированный в языке, образует тот "голос крови", которым отличается каждый этнос. Язык выполняет этногенную функцию и является одним из ведущих элементов национального самосознания.

В еврейской мистике язык – сама Божья мудрость, сотворившая мир. "Бог смотрел в Тору и создавал мир" (Берешит Раба, 1). Профессор Йосеф Дан пишет: "Текстуализация божественности привела к тому, что религиозная история – это история раскрытия разнообразных смыслов и значений в языке, религиозное переживание стало языковым переживанием... В еврейском представлении... обозначающий опережает обозначаемое, суть обозначаемого спрятана внутри обозначающего (слова)... Язык передает смысл, но он больше этого... семантический аспект языка бесконечен, ибо в языке сконденсирована Божья мудрость" (перевод мой. – М.Г.)

В еврейском самосознании глубоко внедрена идея: образование еврейского народа как единой нации напрямую связано со словом, текстом. "И

когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе... тогда поставь себе большие камни... и напиши на камнях сих все слова закона сего... и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом..." (Дварим 27:2,3,9). Опыт истории мировой цивилизации показывает, что основным и первенствующим вкладом еврейского народа в мировую культуру являются созданные им тексты и выражаемые ими духовные ценности. Из всех этногенных факторов у еврейского народа на первый план выступает духовный фактор.

Известный востоковед Бернард Льюис пишет: "Древние греки и древние евреи дали два классических определения "чужого", не принадлежащего к своему этносу: варвар – не грек, гой – не еврей. Одновременно у греков и евреев данные определения отступили от примитивного понимания этнической общности на основе кровного родства, придавая ему идеологическую окраску и допуская возможность присоединения к своему этносу "чужого"... У евреев принятие иудаизма означало присоединение к еврейскому народу". Известна сакраментальная фраза моавитянки Рут, с которой она обратилась к своей свекрови Ноэми: "Твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог" (Рут 1:16). В письме РАМБАМа неврею Овадии, прошедшему гиюр, мы читаем: "Ты спрашиваешь, дозволено ли тебе говорить... в молитвах... "Бог наших отцов, кто вывел нас из Земли Египетской"? Да, ты можешь сказать это в предписанном порядке, не изменяя в этом самой малости... как каждый, родившийся евреем... потому что Авраам – твой отец..." (Еврейская гуманистическая мысль. Антология. С. 65-67)

По мнению Б.Льюиса, именно осознание еврейским народом своей духовной отдельности привело к тому, что, "несмотря на разрушение территориальной и политической основы", его религия "выстояла и способствовала сохранению евреев как обособленной культурной общности", в то время как почти все древние культурные религии были вначале этническими, стали затем государственными и политическими и со временем исчезли вместе с народами и политическими структурами".

Как и в случае с индивидуальным сознанием личности, для национального самосознания имеет большое значение сознательное противопоставление себя другим этническим группам, сопровождаемое эмоциональным проявлением симпатии к "своим", что не обязательно предполагает ксенофобию. В семейных отношениях член семьи эмоционально переживает как радостные, так и печальные события внутри семьи более интенсивно, чем эти же события в другой семье. Еврейский народ, на долю которого выпало на протяжении двухтысячелетнего периода своего существования в географическом ареале чужеродных этнических культур в роли маленького народа или

этнического меньшинства, все время сопровождало ощущение "чужеродности" и "отличности" с элементами идеи "избранности". Это ощущение формировалось и подкреплялось постоянно, в основном под воздействием отторжения чужого культурно-этнического окружения и его неприятия. Вспомним слова Валаама: "Вот, народ живет отдельно и между народами не числится" (Бамидбар 23:9). Аман мотивирует свое требование уничтожить евреев следующими словами: "Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего; и законы его отличны от законов всех народов" (Эстер 3:8).

Идея "избранности", часто служащая основанием для юдофобии и одним из главных аргументов антисемитизма, в еврейских источниках интерпретируется совсем не в духе национального чванства и превосходства над другими народами. Б.Льюис пишет: "Древние евреи, которые ощущали свою исключительность в знании правды о Боге, не могли даже мыслить о том, что они сами выбрали себе Бога, поэтому они принимали более скромную веру, что Бог избрал их и этот выбор накладывает на них обязанностей больше, чем прав..."

Самоидентификация с еврейским народом обозначает не только признание своей принадлежности к еврейскому народу, но и акт солидаризации с ним, признание его прав на особость, отличность от других этносов. Интересное определение "голоса крови" еврейского народа дал Альберт Эйнштейн в своей статье "Так что же такое евреи?": "Внутренние узы, объединяющие евреев на протяжении многих поколений и связывающие их сегодня, это, прежде всего, идеал социальной справедливости, равно как и идеал терпимости и взаимопомощи... Моисей, Спиноза, Карл Маркс, как бы радикально они ни отличались один от другого, посвятили себя целиком борьбе за идеал социальной справедливости: а ведь не что иное, как традиции предков, сподвигнули их встать на этот тернистый путь..."

"Другой характерной чертой еврейской традиции является высокая оценка и почитание всех видов интеллектуального труда и духовных устремлений... именно этим... объясняется огромный вклад евреев в развитие всех существующих сфер познания... В то же время евреи обладают высокоразвитым инстинктом, предостерегающим их от слепого почитания любого авторитета".

Эти два характерных унаследованных качества "мне представляются основополагающими... они передаются от родителей к детям... ими исполнено содержание религиозных сочинений, печать их лежит на общинной жизни..."

Еврейская цивилизация на протяжении веков определялась текстами. Утреннюю зарю традиционный еврей встречал словом "Шахарит", свою

трапезу он предварял текстом благословения "Амоци лехем" над хлебом, стакан вина он освящал словами "бойре при гефен". Перед отправлением в путь у еврея был заготовлен текст дорожной молитвы. Двери дома своего и спальни его еврей охранял текстом, помещенным в мезузе, а перед смертью, идя на костер инквизиции или в газовую камеру, он произносил про себя текст "Шма Исраэль" ("Слушай, Израиль!"). Даже Г.Гейне, писавший "мы, немцы", принявший христианство и объявивший себя космополитом, гражданином мира, на смертном одре вспомнил текст "Шма Исраэль" и повторял клятву "Если забуду тебя, Иерусалим..."

Рабби Соловейчик отмечает, что согласно разным установлениям Галахи книга Торы приравнена к живому человеку и может замещать недостающего для миньяна (группы из десяти евреев) при совершении ритуальных обрядов.

Любое выполнение мицвы, акта благодеяния обязательно сопровождается произносимым текстом. Раввин, профессор Ицхак Зеэв Кохан установил, что при покупке книги нужно произнести текст "Шеехияну" (благодарение за то, что мы дожили до этого). Натан Штернгерц сочинил специальную молитву, "чтобы постоянно увеличивалось количество выпускаемых книг". Одно из пожеланий жениху и невесте при венчании звучит так: "Чтобы ваш дом был полон книг!"

Глубоко эмоциональное и личностное отношение к Книге, воспитываемое с малых лет у еврейского ребенка в традиционной еврейской семье, описано в замечательном рассказе лауреата Нобелевской премии по литературе Ш.Й.Агнона "Мой молитвенник": "Отец привез мне с ярмарки новый молитвенник, его странички белые-белые, буковки светятся, это мой сидурчик, братик и дружочек, мое любимое, святое!

Целый день я любовался книжечкой, листал и перелистывал страничку за страничкой... Я уподобился человеку, попавшему в сад, полный сладостей. Чем занимается он в саду? Он срывает конфетку и ест ее, срывает другую и смакует. Так я схватил свой сидурчик и зачитывался... в самом начале попалась мне... Ханука. Сразу же все буквы в сидурчике начали светиться, как свечечки в ханукие. Вся страничка пела ханукальную песенку: "Маоз цур Иешуати". Папа вынимает из кармана кожаный кошелек и раздает нам ханукальные деньги, печка топится, и запах жареных оладушек распространяется по всему дому, мы садимся за стол..." и т.д. (Перевод мой. – М.Г.)

В современном Израиле проводится оживленная дискуссия о сущности еврейского национального самосознания. Критическими точками ее являются: а) соотношение религиозного и национального начал; б) соотношение

этнического и гражданско-государственного начал; в) соотношение европейского и восточного начал.

Представители израильской интеллектуальной элиты пытаются преодолеть эти критические точки, исходя из демократического принципа плюрализма. Один из известнейших израильских писателей А.Б.Иегошуа считает, что для определения содержания еврейского национального самосознания следует исходить из сущности еврейского народа. Последнюю можно вывести из ответов на следующие два вопроса: в чем секрет живучести еврейского народа и в чем причины постоянных конфликтов между еврейским народом и его окружением? Автор объясняет это двойственной сущностью еврейского народа, выражающейся в том, что он обладает, во-первых, свойствами этноса и, во-вторых, свойствами религиозной общины. Когда возникали проблемы территориальные, языковые, культурные при столкновении с более сильным этносом, культурой и цивилизацией (Египет, Вавилон, Персия, Греция, Рим, арабы, европейские народы), срабатывал религиозный фактор, способствовавший сохранению отдельности и общности еврейского этноса. Там, где религиозный фактор был ослаблен (Европа, США и др. XIX и XX вв.), на первый план выдвигался этнический фактор.

Именно сочетание этих двух факторов, присутствующих в еврейском национальном самосознании, предотвратило исчезновение еврейского народа. Они же явились причиной его относительной изолированности, отчужденности, инаковости, что вызывало враждебные чувства и действия отторжения и неприятия со стороны окружающей среды. Писатель полагает, что исходя из современной структуры израильского общества следует в самосознании еврейского населения Израиля а) уменьшить узкоэтнические и религиозные начала; б) усилить элементы идентификации гражданско-государственного плана; в) внести элементы ближневосточной культуры.

Особое понимание сущности языка и письменного текста в еврейском мировосприятии явилось причиной решающей роли текстов в судьбе народа Книги, определивших его образ на протяжении многовековой его истории. В свою очередь, именно созданные им тексты стали его главным вкладом в мировую цивилизацию. Необходимость постоянного изучения и интерпретации текстов привела, во-первых, к выработке у еврейского народа особой тяги к интеллектуальной деятельности и абстрактному мышлению (А.Эйнштейн); во-вторых, к выработке двух психологических качеств, связанных с речевой способностью, а именно а) повышенной адаптивности к усвоению языка чужого этноса, господствующего в окружающем лингвистическом ареале, и через него к быстрому вхождению в культуру другого этноса; б) большей креативности в области языкотворчества. Эти качества нашли

свое выражение а) в создании еврейских текстов на чужих языках (арамейском, греческом, арабском и др.); б) в создании культурных ценностей с помощью текстов на самых различных языках в рамках чужих этнических культур; в) в создании новых разговорных языков на базе господствующего лингвистического ареала (идиш, ладино и др.). При этом, однако, основной национальный язык, иврит Книги, продолжал функционировать как язык религии, литературного творчества, ритуальных отправлений в частной и общественной жизни еврейской семьи и общины, а в образовавшиеся еврейские разговорные языки вошло большое количество лексических и структурных элементов иврита. (Легко в этом убедиться, читая на идиш "Тевье-молочника".)

Эти психологические особенности еврейского народа определяют сложность поиска "голоса крови" в творчестве евреев, национальное самосознание которых формировалось в рамках чужой культуры. Особые трудности представляет этот поиск применительно к еврейскому самосознанию олим из стран бывшего Советского Союза, воспитанных в условиях жесткой индоктринации господствовавших ценностей, направленных на подавление этнического самосознания и специально еврейского в пользу мифического homo sovieticus.

Представители русского еврейства и русскоязычной алии в Израиле ищут обоснование своего еврейского самосознания в рамках русско-европейской культуры, полагая, что еврейские и европейские элементы не являются взаимоисключающими. Молодой исследователь Денис Соболев в статье "Острова в океане" (журнал "22", № 106, 1997) пытается обосновать этот тезис, анализируя творчество евреев – деятелей культуры, и в первую очередь литераторов, создателей текстов на различных европейских языках в рамках соответствующих национальных культур.

Он пытается выделить общие культурологические признаки, представляющие, с его точки зрения, еврейское начало в их творчестве, даже в тех случаях, когда еврейская проблематика явно не представлена. Он сопоставляет поэзию Гейне, Мандельштама, Целана, прозу Пруста, Кафки, Беллоу и др., философию Спинозы, Бергсона и др., культурологические концепции Маркса, Фрейда и др. И находит в них общие "еврейские" элементы (антиэстетизм, историчность, центральное место моральной проблематики и др.), "еврейскую инаковость", по крайней мере "на уровне форм мысли". Д.Соболев утверждает, что "еврейские элементы" не сводятся к языку, на котором пишет тот или иной автор, к религиозной принадлежности его, к наличию в его творчестве еврейских национальных мотивов. Он приходит к выводу, что "еврейские и европейские традиции не являются взаимоисключающими на-

чалами, вопреки утверждениям многих представителей еврейской интеллигенции, стремящихся полностью разорвать с еврейским миром (напомним заявление Б.Пастернака, что его роман "Доктор Живаго" является окончательным прощанием с еврейством) и адептов еврейской ортодоксии, стремящихся изгнать из еврейского мира все европейские веяния".

При всей схематичности и, на наш взгляд, недостаточной убедительности выводов Д.Соболева, сам поиск и нахождение некоторых общих элементов в творчестве самых разных писателей, которые можно объяснить еврейским происхождением авторов, идет в правильном русле поиска подсознательного "голоса крови", прорывающегося, пусть слабо, затуманенно, через призму чужой культуры и языка.

В недавно опубликованной работе Р.Гензелевой "Пусти еврейского самосознания", посвященной творчеству В.Гроссмана, И.Меттера, Б.Ямпольского и Р.Зерновой, автор, абстрагируясь от религиозного начала, выделяет два фактора, характеризующих, с ее точки зрения, уровень национального самосознания советских писателей-евреев, писавших на русском языке. К этим факторам она относит: 1) положительное отношение к Государству Израиль; 2) открытые выступления против проявлений антисемитизма.

Критик Михаил Крутиков (Оксфорд) возражает против узко идеологического подхода Гензелевой, справедливо полагая, что нельзя сводить национальное самосознание к чистой идеологии. Он ссылается на тот факт, что еврейскую самоидентификацию писателей, писавших на идише, даже самых идеологически ангажированных советским режимом, нельзя подвергнуть сомнению. Она выражалась в самом факте творчества на еврейском языке.

Нам думается, что при определении характера и уровня национального самосознания нельзя полностью исключать идеологический фактор. В истории еврейской культуры нового времени (XIX-XX вв.), особенно в России, сам выбор писателем-евреем языка (русский, иврит, идиш) литературного творчества в большинстве случаев определялся идеологическим подходом.

Сторонники сионизма отстаивали иврит как исторический родной язык еврейского народа и будущий единственный государственный язык возрожденной Родины в Эрец-Исраэль. Сторонники же Бунда отстаивали идиш как основной родной язык еврейских народных масс в России и Европе.

Конечно, деятели культуры, выбирая тот или иной язык своего творчества, руководствовались многими практическими соображениями: уровнем владения тем или иным языком, разговорным языком читателей, к которым обращается писатель, и многим другим, но определенное значение имели и идеологические соображения, особенно при выборе идиша или иврита.

Обилие русскоязычного литературного творчества в Израиле объясняется не только чисто прагматическими соображениями, но и двойственностью национального самосознания еврейской интеллигенции России. Справедливо замечает Л.Финкель в книге "Эта еврейка Нефертити": "...На склоне лет думаешь только о том, что прощаться с миром, с этой странной, запутанной и непонятной штукой, называемой жизнью, будешь по-русски, на языке Есенина и никак по-другому. И если тебе захочется вдруг разгуляться, то не по многолюдному Бродвею, не по аккуратненькой Дизенгоф, а вдоль по Питерской..."

Интересно отметить, что процесс возвращения национальной идентификации еврейского населения послеперестроечной России, как показывает исследование И.Горани и Л.Бланки, идет в двух направлениях: а) в направлении возвращения к религиозным ценностям иудаизма и б) в направлении возвращения к национально-культурным ценностям еврейского народа (включающим литературу на идиш в переводе на русский, еврейский фольклор и музыку, признание Государства Израиль главным политическим центром еврейского народа. Общий подход соответствует концепции известного историка Шимона Дубнова об одновременном существовании разных центров еврейской культуры на протяжении всей истории еврейского народа.)

Второе направление характерно в основном для академических кругов и других представителей еврейской интеллигенции в России, которые глубоко укоренились в социальные и культурные структуры этой страны. Для них возвращение к еврейской идентификации не означало разрыва с прежней национальной самоидентификацией с "русским" народом, с русской культурой.

С нашей точки зрения, такая позиция характерна для основной массы алии 90-х годов, считающих себя, как показывает исследование, проведенное в Хайфском университете, не просто "евреями" или "израильтянами", а "русскими евреями". По-видимому, правы авторы исследований, которые полагают, что абсорбция для них не обозначает превращения в израильтян, а "присоединение к процессу поиска (идентификации), который проходит все израильское общество".

Полагаем, что при всей актуальности поисков новых элементов национального самосознания в изменяющихся условиях израильской действительности нельзя отходить от одного из основных элементов самосознания (личности, группы, нации), каким является осознание протяженности во времени своей идентичности, что находит свое выражение в исторической памяти.

Один из исследователей проблемы современных наций Бенедикт Андерсон утверждает: "Нация – это политическая общность, в которой субъективная идентификация ее членов воображаемая и близка по своей ментальнос-

ти к "семейной близости" или к религии. Но, в отличие от членов семьи, не все члены этой общности знают друг друга, они могут только вообразить себе их одновременное существование". Автор полагает, что национальное самосознание современных народов нуждается в "псевдонаучном, искусственно реконструированном прошлом, чтобы найти коллективные объединяющие элементы" (перевод мой. – М.Г.).

Еврейскому народу не нужно искусственно реконструировать свое прошлое. "Сказка – старше были", - заметила М.Цветаева ("Пушкин и Пугачев"). "Портативная Родина" еврейского народа – ТАНАХ и огромное количество его интерпретаций письменно зафиксировали генетическую и духовную общность группы людей, называющих себя еврейским народом. На основе этих текстов образовались еврейские традиции, что обеспечило протяженность во времени еврейского национального самосознания у членов этой этнической общности на всех уровнях человеческой психики: на когнитивном (изучение и знание этих текстов), на эмоциональном (чувство национальной гордости "избранного" народа и общинной солидарности), на поведенческом (национальные и семейные традиции).

Идеи ценности человеческой жизни (спас одного человека – спас целый мир), свободы выбора между добром и злом (преступление и наказание) футурологической направленности исторического времени (Э.Швейд), мессианской устремленности к царству справедливости ("за справедливостью, за справедливостью гонись!") – образуют тот "голос крови" еврейского народа, который выделяется и слышен в хоре мировой цивилизации.

Заметим, что вышеприведенный сюжет спора о выборе места для строительства Храма прошел полную метаморфозу в более поздних еврейских текстах (Исраэль Кусто, "Микве Исраэль", Ливорно, XVII в.) Согласно этой версии, место для строительства "бейт а-микдаш" было выбрано евреями на участке земли, принадлежавшем двум братьям, которые не завидовали друг другу и заботились друг о друге. То место, где они встретились ночью, когда каждый из них переносил в темноте часть своего урожая в закрома другого, считая, что другой нуждается больше, было выбрано для строительства Храма.

Хаим Венгер

СЛОВАМ ТЕСНО, МЫСЛЯМ ПРОСТОРНО

Писатель Авраам Б.Иехошуа (Алеф Бет Иехошуа, как его называют в Израиле) родился в Иерусалиме в 1936 году. Окончил факультет литературы и философии Иерусалимского университета. Сегодня он – профессор Хайфского университета, где преподает ивритскую литературу, и почетный профессор Пристонского и Чикагского университетов. Литературная деятельность Авраама Иехошуа началась в 1958 году. Уже его первые сюрреалистические рассказы, опубликованные в сборнике "Смерть старика", в которых фантастика сочетается с натуралистическими реалиями, привлекли внимание читателей и критиков. Творчество писателя разнообразно по жанрам (рассказы, романы, начало которым в 1977 году положил роман "Любовник", драматические произведения, публицистика), по темам (любовь и смерть, мир и война, семейные будни и Катастрофа, прошлое и настоящее), по географии (действие в произведениях А.Иехошуа происходит во многих странах мира). Писатель удостоен многих премий как в нашей стране, так и за рубежом. Среди них – премия Бялика и Государственная премия Израиля. А его роман "Господин Мани" признан лучшим романом 1992 года. Произведения Авраама Иехошуа переведены на двадцать два иностранных языка, в том числе и на русский. Причем роман "Господин Мани" в 1993 году выпущен в Израиле издательством "Библиотека Алия", а роман "Любовник" в 1996 году опубликован в России.

– Вам известно, почему в России остановили свой выбор на романе "Любовник"?

– Решение издать роман "Любовник" было принято во время встречи представителей российского издательства "Радуга" с моим литературным агентом на международной книжной ярмарке в Цюрихе. Думаю, что именно этот роман был выбран потому, что "Радуга" издает произведения, объединенные рубрикой "Такая разная любовь", и название моего романа, видимо, привлекло внимание представителей издательства. Это единственный мой

роман, опубликованный в России (я бы, кстати, предпочел, чтобы там опубликовали "Господина Мани"), но не единственная публикация. В феврале 1996 года в журнале "Иностранная литература" в рубрике "Израиль: новая жизнь древнего языка" были опубликованы произведения многих израильских прозаиков и поэтов. Среди них – мой рассказ "Нескончаемое безмолвие поэта".

– Я знаю, что русская классическая литература хорошо известна в Израиле, что переводами русских классиков занимались многие писатели нашей страны. Чем вы объясняете феномен этой необыкновенной популярности русской классической литературы?

– Русская классическая литература хорошо знакома не только в Израиле. Она известна любому культурному человеку на всех континентах земного шара. Из пяти-шести романов, написанных в XIX веке, которым гарантирована очень долгая жизнь, два-три - принадлежат перу русских писателей. В любом книжном магазине Европы, Америки, Австралии продаются произведения Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, причем они раскупаются с не меньшей интенсивностью, чем произведения самых модных современных авторов. Да, можно поражаться тому, что писатели, творившие в специфически российских условиях, столь интересны людям, этих условий не знающих, да и не понимающих.

– Как сказал русский поэт Тютчев: "Умом Россию не понять..."

– Но вы можете возразить, что, например, Кафку тоже читают во всем мире, хотя он писал в Праге и тоже в условиях весьма специфических. Верно, но его произведения интернациональны, надвременны и внепространственны. А в основе творчества российских писателей – русские характеры, русская жизнь, русский быт. Этот необычайный интерес к русской классической литературе, с моей точки зрения, вызван несколькими причинами. Во-первых, у большого народа – большая, если хотите, широкая душа. Не секрет, что все самое значительное в литературе, в искусстве вообще создано представителями больших народов.

– Об этом говорит известная русская пословица: "Большому кораблю – большое плавание". Но нас евреев, нельзя назвать большим народом, а вклад наших собратьев в мировую культуру трудно переоценить.

– Видите ли, евреи приобрели широту души в результате территориальной рассеянности. Галут сыграл в этом смысле положительную роль. Хотя я никоим образом не умаляю генетической одаренности нашего народа. Но давайте вернемся к России. Помимо бескрайности территории этой страны, несомненное значение имеет и ее географическое расположение между Европой и Азией, благодаря чему широта русской души приобрела колоссаль-

ные, я бы даже сказал, космические размеры. При этом надо иметь в виду, что выдающиеся русские писатели XIX века, обладая могучим интеллектом, всеобъемлющей образованностью, впитавшие европейскую культуру, жили в отсталом, духовно неразвитом обществе. Ведь Гоголь, Лев Толстой творили еще в крепостной России. Роман "Война и мир" был написан до 1861 года, то есть до отмены крепостного права! Подумайте: люди, знакомые с передовой европейской философией, в том числе с философией Канта, Гегеля, Дидро, творившие спустя сто лет после Великой Французской революции, жили в окружении крепостных, не умевших ни читать, ни писать. Это сосуществование европейской всесторонней образованности с азиатской отсталостью и примитивизмом придает особую остроту, особую динамику, особую внутреннюю силу творчеству русских классиков. Ведь в нем, по существу, отражается сегодняшняя картина мира, в котором, с одной стороны, существуют высокоразвитые, демократические страны Запада, с другой – тоталитарные, отсталые афро-азиатские государства.

– Роман "Господин Мани" охватывает историю еврейской семьи с начала XIX века и до наших дней. Как родилась идея этого произведения? Может быть, вам попался в руки семейный архив, какие-то документы, письма? Или вы были знакомы с кем-то из членов этой семьи?

– Нет, ничем этим я не располагал и ни с кем знаком не был хотя бы потому, что сама семья и ее история – плоды моего авторского воображения. А идея этого романа возникла в день похорон моего отца, человека в определенном смысле необычного, с которым у меня были довольно сложные отношения. Умирая, отец завещал похоронить его на старом недействующем кладбище, расположенном на Масличной горе, где нашли успокоение несколько поколений нашей семьи. Желание отца покоиться вместе с его дедами и прадедами очень взволновало меня и, оказавшись на кладбище, я подумал: "А почему бы мне не написать роман о еврейской семье, жизненные невзгоды и потрясения которой, по существу, отразят проблемы, пережитые и переживаемые нашим народом?" В процессе работы над романом я все глубже погружался в историю, переходя от более позднего поколения семьи к более раннему, подобно тому, как археолог, раскапывая древний город, вскрывает пласт за пластом, чтобы увидеть картину в полном объеме, ощутить периоды расцвета и упадка интересующей его цивилизации. Но, погружаясь в прошлое, я не отрывался от настоящего, больше того, прошлое интересовало меня потому, что я хотел лучше понять настоящее. Причем история семьи Мани совершенно не похожа на историю нашей семьи, наших предков. Вообще в моих романах очень мало биографического: какие-то отдельные крупицы, из которых нельзя сложить целое.

– Роман "Господин Мани" состоит из пяти диалогов. Причем в каждом диалоге мы "слышим" лишь одного из участников беседы. О том, что отвечает ему другой, можно догадаться лишь по репликам того, кого мы "слышим". Это довольно редкий литературный прием. Объясните, пожалуйста, какую цель вы преследовали, так необычно "сконструировав" книгу?

– Этот литературный прием, при котором реплики одного из собеседников опущены, использовал Жан Кокто в "Телефонном разговоре". Я же впервые применил его в одной из глав романа "Поздний развод". Он позволил сделать читателей как бы моими партнерами по творчеству, ибо каждый из них, в меру присущей ему фантазии, как бы придумывает свой вариант ответов. До этого в моих произведениях довольно часто встречались монологи. В какой-то момент я почувствовал, что в монологах есть нечто искусственное. Ведь, по существу, говорящий "сотрясает воздух", обращается к самому себе. Поэтому роман "Господин Мани" я решил построить на диалогах, повторив прием, "опробованный" в "Позднем разводе". Причем я руководствовался не только желанием сделать читателя "соучастником" творческого процесса, но и соображениями логики, ибо главную роль в процессе беседы отводил лишь одному из собеседников, второй выступал в качестве статиста, "имел право" только на реплики. В этом случае читательская фантазия может сделать эти реплики богаче и по смыслу, и по содержанию.

– Одним из лучших ваших рассказов критики единодушно считают рассказ "Лето 1970". Его героя, школьного учителя, вам приходилось встречать в жизни или это собирательный образ?

– Это собирательный образ. Когда-то я знал одного старого учителя ТАНАХа. Он был очень нелюдимым, никогда не питался в общей столовой, постоянно конфликтовал с директором школы. Но на этом кончается сходство этого учителя с учителем из рассказа, а их судьбы и вовсе непохожи. Вся история, связанная с мнимой, а в конечном итоге действительной гибелью его сына, мною выдумана. Вообще в моих произведениях трудно найти нечто, взятое из конкретной жизни, какие-то определенные события, происходившие в действительности. Хотя то, о чем я пишу, в принципе могло происходить на самом деле. Действие целой главы одного из моих романов разворачивается в Индии, хотя я никогда в этой стране не был. Но мои знакомые, побывавшие в Индии, уверены, что я писал по личным впечатлениям.

– Как вы, писатель, относитесь к критике? Стендаль сказал, что писателю необходима такая же отвага, как солдату: первый должен так же мало думать о критиках, как солдат о госпитале. Вы с ним согласны?

– Во-первых, я отношусь к критике весьма положительно. Я к ней прислушиваюсь, иногда даже чрезмерно. Конечно, все зависит от того, насколько эта критика профессиональна и ответственна. Если эти качества в ней присутствуют, то писатель может извлечь нечто для себя полезное и из позитивной, и из негативной критики. Даже если я не согласен с тем или иным утверждением критика, я не отбрасываю его с ходу, а стараюсь проанализировать сказанное. Мудрая критика помогает писателю понять, где он был не совсем искренним, не очень естественным, пошел легким путем, недостаточно глубоко вскрыл поднятую им проблему. А с высказыванием Стендаля я вполне согласен. Так же как солдат, думающий о последствиях атаки лично для себя, не встанет из окопа, так же и писатель, думающий о том, что скажут о его произведении критики, не напишет ни строчки.

– Когда впервые вы почувствовали необходимость взяться за перо, выразить на бумаге свои мысли, чувства, переживания?

– Желание "взяться за перо" у меня проявилось в семнадцатилетнем возрасте, когда, участвуя в молодежных движениях, я стал писать скетчи и фельетоны, в которых сначала рассказывал о школьных событиях, потом, войдя во вкус, и о событиях политической жизни. Причем исполнял их сам на школьных вечерах и других молодежных встречах. Я продолжал писать и после призыва на действительную службу, но теперь темами моих фельетонов были события армейской жизни. Начальство весьма благосклонно относилось к моему "творчеству", освобождая меня от дежурств и других солдатских обязанностей. Наверное, именно тогда я понял, что этим стоит заниматься, что это не только интересно, но и полезно. В какой-то момент от фельетонов я перешел к литературной прозе, в которой, как вы говорите, выражал свои мысли чувства, переживания.

– Какое произведение положило начало вашему профессиональному творчеству? И как вы относитесь к своим ранним вещам? Составитель ряда специализированных французских словарей П.Буаст, утверждал, что мало найдется писателей, которые, достигнув шестидесяти лет, не желали бы зачеркнуть то, что они написали, будучи двадцати- или даже тридцатилетними.

– Видимо, я отношусь к этому меньшинству. Первый из опубликованных сборников рассказов "Смерть старика" стал началом моего профессионального творчества, и я за него не стыжусь и отказываться от него не собираюсь. Больше того, я включил его в собрание сочинений, над которым сейчас работаю. Недавно этот сборник был переведен на итальянский язык, а известный критик написал о нем книгу. Должен сказать, что до сорока лет я писал и издавал очень мало: одну книгу в год. Свой первый роман "Любов-

ник" написал в сорок лет, после чего со мной произошла любопытная метаморфоза: я стал писать много, постоянно меняя не только тематику, но и жанры своих сочинений. Но мои ранние произведения живут до сих пор, они пользуются читательским спросом, их изучают специалисты, они включены в университетские программы, в том числе за рубежом. Скажу по секрету: некоторые утверждают, что эти произведения являются лучшими из того, что я написал.

– И вы с ними согласны?

– А это пусть останется моим секретом.

– Какое событие оказало на вас как на человека и писателя наибольшее влияние?

– Наибольшее эмоциональное воздействие на меня оказали два выдающихся события: образование Государства Израиль и наша победа в Войне за Независимость, хотя в то время я был мальчишкой. Оба эти события не были заранее предопределены. Минимальное большинство решило голосование в ООН в нашу пользу. И в Войне за Независимость все висело на волоске. Будь арабы более организованны, менее расхлябанны и ленивы, они могли стереть нас в порошок, ведь силы были настолько неравны! И, может быть, именно поэтому мне очень важно осознавать и чувствовать себя израильтянином. Причем понятие "израильтянин" для меня идентично понятию "еврей". Мое гражданское чувство слито с национальным. Поймите меня правильно: в Израиле живут люди и других национальностей, и я горой стою за соблюдение их гражданских прав. Но для них понятия гражданства и национальности не едины. А вот для меня как для еврея эти понятия слиты воедино, подобно тому, как это было в древности. И это чувство мне подарили те события, о которых я рассказал. Они оказали влияние на меня и в общечеловеческом, и в творческом плане.

– Мы уже говорили о русской классической литературе, и из вашего ответа я понял, что она оказала на вас определенное влияние. А каких писателей XX века вы цените особо и можете назвать своими учителями?

– Больше всех я ценю Шмуэля Агнона и, конечно же, считаю его своим учителем. Он, пожалуй, единственный израильский классик, произведения которого продолжают полноценно жить в литературе, несмотря на то, что их автор скончался около тридцати лет назад. Все, о чем он писал, интересно и актуально сегодня. Я преподаю ивритскую литературу в Хайфском университете и вижу, какой неугасающей популярностью пользуется Агнон у студентов. Если на лекции, связанные с творчеством, например Иосефа Бреннера или Ури Гнесина, приходят единицы, то во время лекций, посвященных

творчеству Агнона, в аудитории нет свободных мест. Такой же интерес проявляют к нему и рядовые читатели, и писатели. Причем творчество Агнона настолько разносторонне и всеобъемлюще, что каждый находит в нем что-то особенно ему близкое. Подобно тому, как Достоевский сказал, что все мы вышли из гоголевской шинели, я могу сказать, что все современные израильские писатели вышли из агноновского талеса (Агнон был религиозным). Творчество Агнона – это неиссякаемый источник, из которого пьют все. В произведениях Агнона всегда присутствуют два пласта: один видимый, так сказать, осязаемый, другой – скрытый, подразумевающийся. То есть Агнон умел написать мало, но сказать много.

– По-русски говорят: словам тесно, а мыслям просторно.

– Очень метко сказано. И именно этому искусству я учусь у Агнона. Вторым своим учителем я считаю Уильяма Фолкнера. Я позаимствовал у него технику многостороннего взгляда на события. Сегодня, когда отсутствует единый духовный, политический, национальный центр, каким некогда был МАПАЙ (нечто подобное советскому Политбюро), диктовавший всем и каждому правила игры и нормы поведения, в обществе царит полнейшая раздробленность (политическая, этническая, религиозная и даже внутрирелигиозная, имеющая свои причины), поэтому писатель должен уметь смотреть на вещи с разных сторон, оценивать события во всей их многогранности и многоликости. Даже понятие "главный герой произведения" сейчас претерпело определенные изменения. В моем романе "Любовник" шесть действующих лиц. Когда меня спрашивают, кто из них – главный герой, я отвечаю: в обычном смысле такого нет, условный главный герой – энергетические поля между всеми действующими лицами...

– Как вы считаете, писатель в своих произведениях должен отстаивать свои политические взгляды и убеждения или это дело публицистики, а не художественной литературы?

– Существует огромная разница между тем, что ты говоришь в литературном произведении и – в публицистической статье. В литературном произведении ты должен прежде всего создать образ человека, раскрыть его духовный мир, его нравственные искания и сомнения. Из своих героев писатель создает своего рода хор, в котором звучат разные, порой совершенно противоречивые голоса. В том же романе "Любовник" звучит голос молодого араба, к которому я как бы призываю прислушаться. Естественно, я должен выразить свое отношение к этому арабу и, значит, косвенным образом выразить свои политические взгляды. Вместе с тем это вовсе не значит, что в каждом художественном произведении должны в той или иной форме присутствовать политические мотивы. Наша жизнь столь многолика и разнооб-

разна, что писатель может позволить себе и "чистую поэзию". В публицистической же статье ты от своего имени, не прибегая к художественным средствам, открыто декларируешь свои политические взгляды.

– Обычно принято спрашивать писателя о его планах на будущее. Я не сторонник стереотипов, но на этот раз последую этой традиции.

– Уже несколько лет меня привлекают темы, связанные с историей нашего народа. В последнем моем романе "Путешествие в конец тысячелетия" действие происходит тысячу лет назад, когда в Германии на Рейне впервые встретились сефардские и ашкеназийские евреи. Тогда первые составляли девяносто пять процентов нашего народа, а вторые – оставшиеся пять. Потом, как известно, это соотношение существенно изменилось. Думаю, что и мой следующий роман будет связан с историей, но уже более близкой.

Генрих Горчаков

О РИНЕ ЛЕВИНЗОН

Разговор о поэзии

Совсем нелишне напоминание Рины Левинзон:

Неправда, что поэтов в мире много.
Поэтов в мире меньше, чем солдат.

Поэтов меньше, чем пишущих стихи. Поэты первыми идут в сражение, да и поэзия – это тоже своеобразное сражение. Постоянное борение, постоянное горение.

Еще Пушкин оставил нам заветы: "Поэзия бывает исключительной страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни..."

Свою книгу стихов "Горсть ветра" Рина Левинзон открывает четверостишием "Поэзия":

Она во мне как бытие,
Которое не выбирают.
Так раненый олень копье
Несет, пока не умирает.

Рина "проговариваст" свои стихи так же свободно и естественно, как само дыхание.

В ее стихах нет хронологии событий, почти нет географических или биографических примет. Я бы назвал ее поэзию чистой лирикой, где мощно звучит переживание эмоций, причинность которых уведена за скобки. Прототипом такой поэзии является лермонтовское:

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...

В этом стихотворении глубоко отражено настроение, а причина его – невзгоды – нелегко отыскиваемые следы.

Господи, поводы... Так уж для нас важны конкретные поводы, которые мы слишком придирчиво ищем в хронологической поэзии... Но стержень поэзии Рины Левинзон – он иной. В ее простоте скрывается для нас одна из тайн поэзии...

От современной поэтической технологии Рина Левинзон как будто ничего не взяла: ни упругие конструкции, ни анжабеман, ни прозрачные рифмы – так, короткие двух-трехстрофные стихи, в основном правильный четырехстопный ямб, редко хорей или анапест, редки нарушения графики строфы, сонет, составные или сквозные рифмы. Рифмы у нее простенькие: "день – тень", "вновь – любовь", "душа – хороша", столь нелюбимые всеми наставлениями глагольные рифмы, или даже не рифмы, а одноударные созвучия: "свело – окно", "звезд – роз"... пожалуй, самые экстравагантные: "Овидий – увидим", "лесная – принесла я", "отправлюсь – журавлик"; редкость – белый стих ("Иерусалим")...

Есть поэзия изобретений – такова была поэзия начала XX века: каждое слово оседает в ней на свое место, как коронка на зуб, и потому в каждой конструкции это слово было единственным.

Из этих уроков поэзия Рины Левинзон вряд ли что взяла для себя. Структура ее поэзии вроде очень проста. Стихи ее существуют не отдельно, а как бы бесконечно тянущаяся лента, и все слова в ней не вставлены – они как будто со своими словосочетаниями находились там всегда, рождены вместе с лентой...

О, этот легкий *пушкинский* стих, без усилий!.. За его точностью и за его "небрежностью", конечно, стоит зрелость мастера.

У этого стиха есть своя тайна. Эта тайна – голос поэта. Стихи эти "привязаны" к голосу поэта Рины Левинзон, выпевающего постоянную свою мелодию. Их узнают по голосу Рины – не важно, звучат ли они по радио или с эстрады, – прежде всего мы ощущаем мелодию голоса, передающего нам свои эмоции. Когда звучит голос Рины Левинзон, зал наполняется озоном. Особое чувство освобождения и причастности ко всему Божьему миру испытываешь, когда вырываешься из шума городского в лесную тишину, когда отрываешься от гона повседневности, сопровождаемого шумом притворившихся культурой помоев, выливаемых достигшими беспредела "свободы" и

"независимости" Средствами Массовой Дегенерации. И такое же чувство возникает, когда погружаешься в стихию настоящей поэтической речи.

Марина Цветаева – уж она-то была изобретательница! – как-то высказала: "Есть в стихах, кроме всего (а его много), что можно учесть, – неучтимое. Оно-то и есть стихи".

У Цветаевой Эвридика по одному бы голосу Орфея "как по канату вышла", но судьбу Эвридики Цветаева обезличивает, ей важен только Орфей:

Ибо раз *голос* тебе, поэт,
Дан, остальное взято.

Рина Левинзон возвращает права Эвридике, объединяя ее в одно с Орфеем:

Я полечу за голосом своим...

И за пределами полета остается все, что связано с земным, временны*м*, *другим*, – все делается как бы лишним, ибо само

...время между мною и тобой
Послушно превращается в пространство...

Стихи Рины трудно делить по рубрикам, как привыкли это делать в школе: тема природы, дружбы, любви и т.д. Все эти мотивы в ее стихах звучат нераздельно. Также не найдем в ее поэзии "этапов" – не найдем мужания, взросления и угасания, потому что эмоции не имеют возраста – они универсальны. Не автобиография, а биография эмоций. И вся ее поэзия – это только многоцветье голоса: голос печали, нежности, любви, одиночества...

И все так просто, естественно, порой даже банально... Но никогда не бывает пошлым. Ведь простота – один из секретов поэзии Рины Левинзон. Ее поэзия афористична, в ней пробивается мудрость народных поговорок: "И к жизни, и к смерти – дорога одна"; "Все вроде бы вышло / Да в горле комок"; "А песенка? Подружка на пиру, / Отчаянья единственная речь"; "И плоть, победившая дух, / Давно уже правит вселенной" – и противоположное: "И станет легкой как стрела, / Та плоть, что душу обрела"...

И хотя эмоции лишены предметности (или "объектности"?), не скажешь, что они абсолютно абстрактны. Они связаны с реальной жизнью, продиктованы ею. В этой ленте стихов перед нами психологический портрет женской доли, обретаемой именно в XX веке. Проскальзывают все приметы тревожного времени, в котором женщина живет в печали, но думает о любви.

Стихи насыщены социальностью, поэтому они близки и узнаваемы читателем, чья судьба тоже гонима ветром времен. С каким изяществом звучит формула:

И жизнь моя – повозка –
В сто бед запряжена.

Слово "беда" часто встречается в стихах Рины. "Воздух за плечами у меня / Весь пропитан запахом беды"; "И вдоволь в доле только бед..."; "И я смеюсь, когда беда, / Как водится у нас в народе"; "Пойдем, мой товарищ незрячий, / За нашей бедой и судьбой"; "И забыты древние мотивы / Вместе с давним счастьем и бедой"...

В стихах мы не найдем конкретных картин беды, и вряд ли в биографии поэта отыщутся многие факты, соответствующие этому настроению. Голос поэта – не голос летописца, а голос самой судьбы.

Поэзия Рины Левинзон не отрекается от своей женской сути – она выступает как ее эманация. Вспомним картину Крамского "Безутешное горе": женщина в черном рядом с детским гробиком. Картина не возбуждает вопросов: жительница какой страны, какого времени, к какому сословию, высшему или низшему, принадлежит... неважно, в какие шелка одета женщина, – ее горе находит отзвук в любом материнском сердце. Так и поэзия Рины – она не из женского будуара. Вся она пропитана тревогой женской души. Рина Левинзон по праву говорит:

Автор всех моих песенок – жизнь
И не больше.

Но я не буду разбираться в градациях этой темы и повторять многое, что уже сказано другими. В основном, эти заметки об отношении поэта к своему призванию, об осознании своей явленности в мир. Что для нее бытие? Вот как будто заповедное стихотворение:

Ах, все меня переживет,
И камень, и стекла осколок,
И как бы ни был путь мой долог,
Дней все равно наперечет,

И все равно не хватит лет
На полный вдох, а лишь на выдох,

И вдоволь в доле только бед,
И выбор все равно не выход.

Не все слова перебрала,
И суть всего не уловила,
Но коль была жива – жила,
Пока была жива – любила!

Поражаешься бесхитростности, как будто случайности, но абсолютной точности слов. В паре устойчивый "камень" и хрупкое "стекло", "вдох" и "выдох", "выбор", который "не выход". Стихотворение – одновременно грустное и жизнеутверждающее – о земной доле и о женском предназначении. Но это не просто вариация вечной темы – это и визитная карточка: перед нами – поэт. "Не все слова перебрала..."

Женской судьбой, как уже говорилось, пронизана вся поэзия Рины Левинзон, и поэтому ей отзывается вся аудитория, не только избранные. Но меньше всего Рина чувствует себя "полпредом" этой аудитории – она четко заявляет о своей избранности, своей предназначенности нелегкой судьбе поэта.

По легкости своей строки,
По ясности судьбы и нрава,
Одно иметь хотела право –
Свистеть как птица у реки...

Вспоминаются другие строки:

Там, ветру в дар, на темну ель
Повесил звонкую свирель.

Это – Пушкин. Так в веках перекликаются поэты.

В стихах Рины часты строчки, в которых она приносит своеобразную присягу:

Стихов сложенье, словно сговор с Богом,
Мое везенье в хаосе времен...

Это же варьируется в другом стихотворении:

Да разве я чего-нибудь хотела
Сверх тех, уже отпущенных даров:
Движения души в пределах тела,
Биенья крови, складыванья слов!

Стихотворения эти многоплановы, как будто анатомический разрез личности; они не о поэзии, но, как видим, поэт опять не упускает возможности оставить свою визитную карточку, которая, если намечается грустная тональность, перечеркивает сетования на судьбу, беды и тому подобное. Марина Цветаева некогда воскликнула:

Господи, душа сбылась,
Умысел твой самый тайный.

"Душа сбылась" – потому что поэт состоялся.

Это главное признание по-своему все время повторяет Рина Левинзон.

Но она не чувствует себя небожителем, смотрящим свысока. Поэзия – ремесло опасное, на грани риска:

На гулкой и опасной высоте
Живут поэты, бьются, словно жилки,
У времени седого на виске.

Тревожная тональность разлита по стихам Рины Левинзон. Ведь вехи ее жизни совпадают с трагическими испытаниями прошедшего века. Но, несмотря на то, что ее мелодия исполняется на струнах, настроенных на камертон печали и тревоги, поэзия ее жизнеутверждающа. Как у младенца, который начал говорить, жизнь уже, можно сказать, сложилась, раз он произнес первую фразу, – так и у Рины жизнь состоялась, раз она может сказать:

Как за соломинку держусь
За певчую строку...

Жизнь – суровое испытание, и человек часто ищет спасения в том, что приводит его к гибели. Но "певчая строка"... Недаром Баратынский (не последний поэт в мире) сформулировал: "Выразить чувство – значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа".

Есть у нее и более хлесткие формулы:

Как ни звучат жизнь и любовь синонимами, все-таки не раба любви, а раба *стиха*. Та грань, которая отличает избранность поэзии от прочих смертных дел.

Она познала многие стороны жизни и времена счастливые и несчастливые, и прожила не анахоретом, а взяла от жизни по полному списку. Но она четко осознает, что раз Бог дал ей дар певчей птицы, от этой обязанности она не может уклониться. Как говорил Баратынский:

"Дарование есть поручение. Должно исполнять его, несмотря ни на какие препятствия..."

Вот как об этом сочетании жизни и призвания говорится в парадоксальных стихах Рины Левинзон:

Что уж там – я все отдать не прочь,
все, что есть: последнюю сорочку,
и любовь, и жизнь – за эту строчку,
все стихи свои – за эту ночь.

Что выводит голубой гобой,
музыку к блаженству приурочив?..
Все стихи – за эту ночь с тобой.
А потом всю жизнь – за эту строчку.

Да, в наше время поэтическое ремесло – и опасное, и неблагодарное. Наш ненадежный век не очень благосклонен к простому желанию "свистеть как птица у реки":

В эпоху повальной торговли
Божественный певческий дар –
Свистеть без воды и без кровли –
И вовсе негодный товар.

За весь этот ворох бумажный,
Где чья-то тоскует душа,
В век атомный, жесткий, продажный
Никто не дает ни гроша.

И песни на белых листочках,
Разбросанные наугад,
Каракули, буквы и строчки,
Как ангелы, в небо летят.

Поэт не сетует на жизнь как на свою неудачу, не ищет лучшей жизни, не ищет в ней особой цели – жизнь естественна, как дыхание. С грустным юмором Рина говорит о ней:

Жизнь растратила на выдумки,
Только им была верна...

Как будто слышна жалоба, но заключительный аккорд ставит все на свое место:

Жизнь растратила на выдумки,
А зачем она еще?

Вспомним опять Марину Цветаеву – ее раздумья по поводу услышанной фразы "зачем зря болтаться": "Зря болтаться? А что я всю жизнь только и делала, как не зря болталась!" А вот другие стихи Рины о том же:

Не сбылось, не сошлось... Ну и с Богом!
.....
Петь да плакать – вот сладкая участь.
А сбылось бы – что делать тогда?

По легкости стиха, по дару певческой птицы может показаться, что поэзия для Рины Левинзон нечто само по себе, легкое дело, чуть ли не игра.

Бог не велел нам заводить добра
И дал в награду ремесло такое,
Которое скорей всего игра
С карандашом, бумагой...

Замечено, что отличительным свойством подлинной поэзии является единство противоречий. Рина – мастер заключительных строк. Она одним словом преображает вроде бы простенькое четверостишие в кристаллик подлинной поэзии:

Которое скорей всего игра
С карандашом, бумагой и *тоскою.*

Рина понимает, что легкость поэзии, игра со словами:

Набегали волненья и страсти
И слова, а затем чередой –
Причитанья, причастья, несчастья,
Сочетанья глагола с бедой.

– все это мнимости, иллюзорности, а на самом деле поэзия подобна щелканью курка и ожиданью выстрела. Служение поэзии не разделяется часами прихода и ухода, это сомнамбулическое постоянное состояние, не знающее деления на день и ночь:

Вся, в провод стянутая жила,
Та, на которой я пою!

Положение поэта в мире противоречиво. Поэт говорит: "Вечно метателям жемчуга плохо" и противопоставляет им "владельцев котомок", которым "всего... не вдоволь", да к тому же "чем они только у них не забиты..." Царство земное принадлежит этим владельцам. Поэт противостоит им в другом – небесном – царстве: "Два крылышка – вот все мои владенья".

Поэт исповедуется:

Разбрасываю жизнь свою,
Как горсть зерна, случайным птицам...
О, эта птичья страсть к зерну!
Пускай себе. Мне хватит слова.

Поэт не забивается под облака, не уходит в недоступные горы – он возвращается к этим *пристрастным* к зерну, чтобы пропеть им свою песню.

Прикованные к тяжести земных примет, мы тем не менее нуждаемся в этих песнях. У поэтов мы учимся добру и утешаемся в печали.

А поэт нуждается в нас.

У Рины мы находим такую великолепную строчку:

Одиночества длящийся пир...

Но это лишь мимолетное (нельзя сказать – случайное, но мимолетное) настроение, а главенствующее – как раз противоположное:

.....спасаясь
От одиночества и зла...

Общение с людьми необходимо поэту. Но это тяготение не к захвату, а к единению. Душа не может существовать, поедая саму себя. Чтобы обогащаться, душа должна раздавать себя: "Все раздарить и, значит, все сберечь..."

О, эта тяга к разговору
Вокруг судьбы, вокруг души!
Когда мне не хватало света,
Стал снова добр закон земной.
Ночная ласточка – беседа –
Простерла крылья надо мной.

Вот эта "тяга к разговору", "беседа", жажда общения не раз встречается в стихах Рины Левинзон. Причем, не в современном застолье с его возлияниями и анекдотами, а в "долгом чайном разговоре" в сопровождении "угощенья / Простейшего – всего-то чай и дым..." Причем сама Рина не курит и не терпит табачного дыма, но ведь истинная поэзия не может быть себялюбивой. Поэт вовсе не должен любую черту своего бытия толкать в строку, дневниковость поэзии – это один из мифов людей, пишущих о поэтах. Поэзия в частном отражает общее – только тогда она узнаваема.

"Тяга к разговору" и "простейшее угощенье – всего-то чай и дым..." – это прекрасный образ-находка того пространства, в котором десятилетиями жил истосковавшийся дух в условиях тоталитарного режима. Это то наследство от Достоевского, от князя Мышкина, которое унаследовали "внутренние эмигранты", все томимые духовной жаждою... Это образ того царства, где ценности расставляются по высшему иерархическому порядку.

По стихам Рины Левинзон мы не наберем деталей, чтобы сложить мозаику ее биографии. Но она не предстает перед нами таинственной незнакомкой. Контуры своей души, своего характера она очерчивает. Так, о годах детства она вспоминает как о той поре, когда "...и к уроку / Я не готова. И к судьбе..."

А судьба ее оказалась связанной с той участью, которая для поэта должна быть особенно чреватой.

Поэт прежде всего жив языком, и перемена не просто страны, места жительства, а перемена родины, перемена среды языка для поэта должна быть особенно болезненна:

Теперь уж никому и ни к чему
И склад, и лад, и колдованье это.
Вокруг – иноязычная планета,
Глуха навеки к слову моему.

И должно нас как будто напугать страшное признание:

Я забываю русские слова.
Мне страшно, словно музыки не стало...

И сочувственно мы воспринимаем:

Мне кажется, я все перенесу,
Велась бы только надо мной беседа
На языке родном...

Или обращение к давней подруге:

Поговорим по-русски. Что мне в нем,
Таком родном, таком невнятно близком –
Наречьи удивительном и чистом...

"Что мне в нем..." Все не так просто. Иван Елагин, подытоживая свое эмигрантское житье в Америке, с грустной иронией писал:

Чучелом в огороде
Стою, набитый трухой.
Я – человек в переводе,
И перевод плохой.

Но к Рине Левинзон судьба оказалась благосклонной. Она не осталась без своей аудитории. Ее читатель тоже переместился в границы новой Родины, где стихи Рины оказались для него подарком – утешением судьбы.

Что же делать, если в силу нашего положения и физиологии возраста нам не дано овладеть в полной мере новым языком... Поэтому нам особенно

дорог такой собеседник, который не просто может поговорить с нами по-русски, но и воспеть нашу общую судьбу.

Хорошо, что Рина не пошла по пути нетерпимого неофитства, хотя сама она (вот что значит переменить свою судьбу еще вовремя!) сумела соединить две культуры, два языка.

Так что Рина Левинзон для русскоязычного читателя Израиля не только *свой* поэт, но еще и посредник, связующее звено двух культур.

Стихи Рины Левинзон подтверждают, что истинная поэзия – это "язык богов", а не жонглирование формами, и задача ее не удивлять скучающего слушателя, а восстанавливать в его душе нарушенную гармонию мира –

Чтоб все сошлось –
единственность Творца
С единственностью
Божьего творенья.

Афула

Леонид Коган

"ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ" В СТРАНЕ ОБЕТОВАННОЙ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ИЗРАИЛЕ

Я отвалила родимую глыбу
И получила право на выбор.
Я выбрала небо синего цвета,
Длинное лето.
Нерусское лето.
Сарра Погреб

За последние десять лет Союз русскоязычных писателей Израиля (как он себя именует) значительно пополнился репатриантами из СССР-СНГ и стал по численности своих членов (более двухсот) второй организацией в Федерации Союзов писателей Израиля.

Литературу на русском языке любого направления и любой тематики принято в Израиле называть русскоязычной. Она динамично развивается в количественном отношении и в качественном. Обозначились три ее направления: русская литература, еврейская русскоязычная и израильская русскоязычная. Произойдет ли со временем синтез этих трех направлений, утверждать категорически нет оснований.

Репатриировавшиеся в 70-х годах на свою историческую родину первые русские писатели, большинство из которых к еврейской тематике не имело никакого отношения, могли (чтобы творчески выжить) выбрать для себя, как отметила Майя Каганская[1], три возможности: овладеть ивритом и перейти на него – стать израильскими писателями, остаться русскими писателями – такими же, как писатели-эмигранты из СССР, обосновавшиеся на Западе, и был третий путь – стать еврейскими (израильскими) писателями, пишущими на русском языке.

Овладеть ивритом даже молодым литераторам было не под силу, и большинство русских писателей продолжают обогащать русскую литературу на Земле Обетованной, уподобившись западным писателям-эмигрантам из СССР, к чему в Израиле относятся терпимо, но одобрения общественного мнения это не вызывает. Эти писатели отличаются направленностью своего творчества, изредка они касаются и еврейской тематики – и небезуспешно, однако это носит эпизодический характер в их творчестве, и они остаются русскими писателями. Даже пишущие "еврейские" произведения не замыкаются в рамках еврейской тематики – творческий диапазон их довольно широк.

Истинных еврейских русскоязычных писателей в Израиле мало. Экстравагантная М.Каганская сужает их круг до трех, удостоенных ею высокого звания израильского писателя, пишущего на русском языке (имеются, конечно, в виду М.Генделев, Э.Люксембург и Я.Цигельман). Остальные для нее не существуют. С горечью приходится отметить, что дело не только во вкусовщине, но и в каком-то непонятном неприязненном отношении к своим собратьям по перу, что, конечно же, ничего общего не имеет с интересами еврейского (израильского) русскоязычного литературного процесса, который, казалось бы, не должен быть безразличным его участникам. Увы, таковы нравы в разобщенной писательской среде Израиля, постичь которые довольно трудно.

Писатели-выходцы из СССР-СНГ пробуют понять глубинные процессы, происходящие в среде репатриантов, как можно полнее изобразить их жизнь и быт в новых условиях. И здесь небезынтересно выяснить, в каком состоянии находятся репатрианты, в том числе и сами писатели.

Прибывшие на постоянное жительство в Израиль евреи из СССР-СНГ до репатриации не в полной мере осознавали всю сложность осуществления своего решения – жить на исторической родине. Оказавшись в Израиле, они долгое время мысленно обращаются к прошлому, живут прошлым, постоянно сравнивают его с настоящим – израильской действительностью, во многом загадочной для них, еще слабо осмысленной, не до конца понятой.

Уж так устроена психология галутного еврея: покинув страну исхода, оторвавшись от прошлого, тяжелого, ненавистного - от жизни на чужбине, которая никогда не была матерью, а всегда мачехой, живя там зачастую во враждебном окружении, где довелось испытать дискриминацию и национальное унижение, евреи вспоминают не об этом, а о том хорошем и светлом, которое несомненно было в их галутной жизни, и незаметно для себя начинают приукрашивать это прошлое, а все пережитое, горькое и горестное отходит на второй план – даже забывается.

Попав в новую непривычную обстановку (культура, язык, ментальность...), репатриант болезненно воспринимает ее. Если к этому добавить, что боль-

шинство репатриантов давно оторвано от еврейских традиций и в значительной степени ассимилировано, то не приходится удивляться, что израильская действительность кажется репатриантам чуждой. Отсюда и характерная для них раздвоенность чувств: с одной стороны, они осознают себя детищами советской действительности, с другой - новыми гражданами Израиля, в жизнь и культуру которого им предстоит интегрироваться, что вызывает внутреннее напряжение, выливающееся нередко в серьезный душевный кризис, справиться с которым бывает нелегко.

Разрыв с прошлым – это преодоление внутреннего разлада, но "мы не рассчитываемся с прошлым, чтобы начать "чистую страницу". Прошлое необходимым и важным элементом входит в новое, и только так новое осмысляется".[2]

Рано или поздно граница между прошлым и настоящим в сознании репатрианта стирается, и он, освобождаясь от всего, оказавшегося ненужным, но сохраняя все лучшее, что было в прошлой жизни (прежде всего культуру и искусство), входит в израильскую действительность, найдя в ней свое место и свое предназначение.

Увы, не всегда все заканчивается благополучным обновлением и возрождением к новой жизни. Примером может служить герой одного из рассказов Юлии Шмуклер ("Уходим из России"). Вырвавшись с неимоверными трудностями из "империи зла", преодолев все преграды, оставив любимую ставшую ему близкой женщину, он, столкнувшись в Израиле с новой действительностью, о которой имел смутное представление, вдруг испытывает полную опустошенность.

Трудный разрыв с прошлым, который нередко приобретает характер прощания с ним, можно найти и в других произведениях писателей, репатриировавшихся в 70-х годах. Например, в романе Нины Воронель "Содом тех лет", в повести Я.Цигельмана "Похороны Моше Дорфера", в эссе М.Каганской "Еврейские сны. Подол". Известный поэт Борис Камянов не без ностальгического чувства (хотя и с радостью воспринял Израиль) писал:

Я выучу иврит, как дважды два,
Но никогда мне не забыть такие
Совсем простые русские слова:
Дочурка,
Мама,
Бедная Россия.

В дальнейшем тему раздвоения личности мы находим в произведениях Э.Люксембурга, Оф.Бауха, Д.Рубиной... Тема не нова, ей посвящено немало

произведений как в русской, так и в западноевропейской литературе. С большой художественной силой в русской литературе ее воплотил Ф.Достоевский в повести "Двойник". Но в произведениях еврейских русскоязычных писателей Израиля она значительно трансформировалась, приобрела ярко выраженную национальную окраску.

Глубокие переживания, а порой и потрясения, конечно же, отражаются и на психологии писателей-репатриантов. Усугубляется это еще и неясностью и неопределенностью творческого будущего. Но писатели трудятся, и уже написано ими и издано немало произведений об Израиле, израильтянах, о жизни и быте репатриантов.

Ко времени массовой репатриации евреев из СССР-СНГ в 90-х годах литература на русском языке в Израиле уже сложилась со своей идеологией и определенным кругом тем, хотя и не имела корней и не была связана с традициями еврейской русскоязычной литературы – ни прошлого, ни советского периода. Не ощущались в ней и традиции русской литературы. Так, "Роман-покойничек" Юрия Милославского, о котором с восторгом писала М.Каганская, можно рассматривать как явление израильской культуры. И "Хермон" и "Тиверіадские поэмы" Анри Волохонского – тоже феномен местной культуры. Но в основном писатели, обратившиеся к новым темам, воплощали их, используя традиционные изобразительные средства. А ведь новая реальность требовала и новых соответствующих средств изображения.

Попытки выработать новую поэтику были. Достаточно назвать таких писателей как Эли Люксембург, Светлана Шенбрунн, Юрий Милославский, Анри Волохонский... Но новые школы так и не сформировались – процесс был остановлен массовым наплывом в 90-х годах целой когорты русских писателей. И уже за короткий период более ста из них издали свою первую в Израиле книгу. Но эти писатели – в основном традиционалисты со вкусами и поэтикой, сформировавшимися под влиянием господствовавшей в СССР идеологии. Поэтому среди писателей-репатриантов нет (за редкими исключениями) авангардистов, поставангардистов, неоромантиков, неоклассиков, хотя ростки этих литературных школ пробиваются. По стилю и манере письма писатели-репатрианты очень разные, но их объединяют попытки создать оригинальные изобразительные средства.

С недавних пор в Израиле заговорили о новом явлении в литературе на русском языке. Выразителями этого явления, по мнению А.Любинского, являются Марк Зайчик, Владимир Тарасов, Михаил Генделев, Эфраим Баух, Михаил Гробман...

Если первая группа писателей-репатриантов 70-х годов четко отделяла себя от русской эмигрантской литературы, то писатели-репатрианты 90-х годов не

стремятся отделиться от общерусской литературы. Наверно, нет в Израиле писателя, который не мечтал бы увидеть свои произведения на страницах ведущих российских журналов. В России публикуются произведения А.Алексина, Эф.Бауха, Д.Маркиша, Д.Рубиной, И.Губермана, Е.Аксельрод, Г.Кановича... Это, конечно, связано с изменившимися социально-политическими условиями в России и с желанием писателей расширить круг своих читателей.

Критиками делаются попытки заглянуть в будущее литературы на русском языке. Так, А.Любинский пишет, что "Канович творит из глубины еврейской традиции", связанной с корнями идишской и ивритской литературы (Шолом-Алейхем, Менделе Мойхер-Сфорим, И.Башевис-Зингер, Х.Н.Бялик...) и полагает, что эта "живая литературная традиция... заканчивается"[3]. Продолжения ее А.Любинский не видит. Он склонен считать, что рождается новая еврейская русскоязычная литература в Израиле. Но пока она "существует... в своем традиционном переходном апологетическом виде". К этой литературе переходного периода А.Любинский относит Давида Маркиша, Дину Рубину...

Обращает на себя внимание то, что во многих произведениях писателей-репатриантов, которых можно отнести к еврейской русскоязычной литературе, все изображаемое автор видит глазами галутного еврея. Но есть уже немало писателей, которые видят мир глазами израильтянина. Например, израильские войны в поэзии М.Генделева. Глазами израильтянина написан роман М.Зайчика "Сделано в СССР", а также серия романов Эф.Бауха "Сны о жизни".

В литературных кругах как России, так и Израиля, нет определенного мнения о характере литературы на русском языке в Израиле – то ли Израиль стал еще одним центром русской зарубежной литературы, то ли в Израиле формируется или уже сформировалась новая еврейская русскоязычная литература. Небезынтересно в этом отношении мнение Л.Гомберга. "Сегодня можно сколько угодно спорить, – пишет он, – родилась ли в Израиле "еврейская литература на русском языке" как некий новый культурный феномен, или нам это только кажется, а на самом деле перед нами лишь вариации русских писателей на еврейскую тему"[4]. Однако, как справедливо отметил М.Генделев, "говорить об автономной литературе на русском языке в Израиле, каковой была эмигрантская литература послереволюционного периода, да и в недавнем прошлом, не приходится". Замечание же Л.Гомберга (родилась ли в Израиле "еврейская литература на русском языке") подтверждает предположение, что он не имеет представления о еврейской русскоязычной литературе, которая существует уже полтораста лет и которая развивается в Израиле как ее продолжение.

В Израиле не делают различия между русской и еврейской русскоязычной литературой. А И.Шамир не только делит литературу на русском языке

в Израиле на "еврейскую" и "русскую", но указывает на существование "русско-израильской литературы", под которой имеет в виду литературу на русском языке с израильской тематикой[5].

Дискуссии о том, что собой представляет литература на русском языке в Израиле, есть ли у нее будущее и как квалифицировать литератора, пишущего на русском языке, длятся уже давно, Дискуссии эти один из критиков назвал казуистикой. "Важнее, – заметил он, – как они (писатели. – Л.К.) пишут – остальное от лукавого". Изящное, игривое высказывание, но и так само собой разумеется, что художественный уровень произведения имеет первостепенное значение. Однако в данном случае – это и явная подмена понятий, и явная несклонность делать различия между русской литературой и еврейской русскоязычной.

Попытка определить сущность литературы на русском языке в Израиле впервые была предпринята в 70-х годах, когда в Израиле появилась первая группа русских писателей, репатриировавшихся из СССР, – уже тогда возник спор по поводу того, как называть литературу на русском языке в Израиле – литературой репатриантов или эмигрантов. Еврейских русскоязычных писателей тогда почти не было, поэтому о еврейской русскоязычной литературе даже не упоминали. К тому же в СССР и, конечно же, среди писателей-репатриантов было широко распространено ошибочное мнение, что еврейская русскоязычная литература – это попросту русская литература, но только с еврейской тематикой.

В Израиле нет четкого определения квалификации литератора, пишущего на русском языке о еврейском народе. Все произведения, написанные на русском языке, независимо от тематики и направленности, называют русскоязычной литературой. Естественно возникает вопрос: чем же в таком случае отличается в Израиле русскоязычная литература от русской?

Различия, конечно, есть. Русскоязычная литература – это национальная литература (узбекская, киргизская, грузинская...). Ее представители: Ч.Айтматов, И.Друцэ, Т.Пулатов, А.Эбаноидзе...

Спор о том, к какой литературе следует отнести произведение с еврейской тематикой, написанное на русском языке, – к еврейской или русской, – возник еще во второй половине XIX века, в период становления и формирования еврейской русскоязычной литературы. Так, Л.О.Леванда писал: "Я работаю на полосе одного и того же русского поля, и фактически литератор русский, а не еврейский"[6]. Этот спор продолжался и в 20-х годах XX столетия. "Можно ли такую литературу (еврейскую русскоязычную) считать еврейской? – писал один исследователей этой литературы В.Львов-Рогачевский. – Можно ли произведения на чуждом языке называть национальными?"[7]

В.Львов-Рогачевский не давал прямого ответа – был полон сомнений. А.А.Горнфельд был твердо убежден, что "литературой известного народа следует считать литературу, созданную на языке этого народа". И все же он делает оговорку: "Очень условно можно назвать национальными произведения, созданные не на национальном языке"[8]. Нужно отметить, что эти высказывания относятся к 1922-1923 гг., когда национальной литературы на русском языке, кроме еврейской, еще не существовало.

А.Горнфельд исходил из утверждения В.Г.Белинского о том, что национальная принадлежность произведения определяется языком, на котором оно написано. О существовании двуязычной и даже трехъязычной литературы он упомянул в своей статье "Русское слово и еврейское творчество". Но, видимо, убежденность в неполноценности литературы, которую называли русско-еврейской, и определила его нечеткую позицию в оценке "национальных произведений" (он, конечно, имел в виду еврейские произведения), созданных не на национальном языке.

На протяжении последующих семидесяти лет – вплоть до начала перестройки в СССР – такого рода дискуссии уже не велись.

В начале 90-х годов в связи с прибытием в Израиль значительного числа русских писателей А.Агурский, прогнозируя, писал, что со временем "сформируется целое течение русской литературы как переходная форма, которая будет считать себя органической частью именно израильской культуры, а не русской литературы". Между тем "русская литература давно существует как феномен беспрецедентный в истории Израиля" (М.Генделев). Вот только неясно, какую литературу имели в виду А.Агурский и М.Генделев – русскую или еврейскую русскоязычную.

В израильской русскоязычной печати (после непродолжительной эйфории по поводу начавшейся в 90-х годах массовой репатриации евреев из СССР) появились опасения, что репатрианты могут породить в Израиле "русское культурное гетто". (Такого рода опасения неоднократно высказывали А.Агурский и Д.Сегал.) Репатриация действительно породила "русское культурное гетто" со всеми атрибутами (множество русскоязычных изданий, театры, русские школы...). Но как долго это "гетто" просуществует? А значит, как долго просуществует в Израиле литература на русском языке?

Дискуссии о "новой карте русской литературы" с центрами (помимо России) в Европе, США и Израиле лишены оснований: эмигрантская русская литература, существовавшая до краха коммунистической идеологии и распада СССР, в связи с кардинально изменившимися условиями в России недолговечна. Недолговечна она и в Израиле, где будет развиваться еврейс-

кая (израильская) русскоязычная литература, хотя срок ее существования тоже ограничен одним-двумя поколениями.

Каково же ближайшее будущее писателей, пишущих на русском языке в Израиле?

Небезынтересно было бы сначала оглянуться в прошлое. Почти двадцать лет тому назад писатели-репатрианты, писавшие на русском языке, впервые призадумались о путях своего творческого выживания. "Вопрос в том, – писал М.Бронштейн, – какой быть русско-еврейской культуре (в Израиле. – Л.К.) – вечной и ассимилирующей или краткосрочной и "евреизирующей". М.Бронштейн задался волнующим вопросом: "Что будет с нами... кому так и не удастся овладеть языком иврит?.."[9] Теперь это уже никого не волнует.

За прошедшие двадцать лет многое изменилось. Основная масса писателей пишет и будет писать на русском языке. Но чтобы творчески выжить, писателям-репатриантам придется интегрироваться в израильскую культуру – стать израильскими писателями. Кстати, многие это успешно осуществили.

Русские писатели в Израиле называют себя русскоязычными. Не русскими, как называли себя в СССР, а русскоязычными.

За рубежом (вне России и Израиля) понятие "русскоязычный писатель" идентично понятию "русский писатель". Понятие "русскоязычный писатель" в Израиле имеет свой смысловой оттенок, и это порождено, видимо, чувством неосознанной неловкости: ведь израильским писателем (соответственно новому гражданству) не назовешь прибывшего из СССР-СНГ русского писателя, а еврейским – тем более по причине его полной непричастности к еврейской тематике. А вот понятие "русскоязычный писатель" звучит в Израиле благопристойно и... как-то нейтрально: поди разберись: это еврейский писатель или... бушменский. Проживавшие долгое время в США А.Солженицын и покойный И.Бродский – это русские писатели русского зарубежья, а не русскоязычные писатели, как их иной раз называли иностранцы. И они, конечно же, не представляли собой "русское гетто в американской культуре". Можно быть "подданным" любой культуры, проживая по тем или иным причинам вдали от родины. Но это ведь единичные случаи.

Перспективы творческой абсорбции русских писателей в Израиле – проблема чрезвычайно сложная. Надо полагать, что они не собираются создавать произведения о советской и постсоветской действительности: изображать красоты Днепра при тихой погоде, милые сердцу подмосковные березки или дивные белые ночи в Ленинграде, то бишь в Санкт-Петербурге, если хотят со временем стать интегральной частью израильской культуры – израильскими писателями. Но израильский писатель – если это не просто русский писатель, избравший Израиль местом проживания, – это еврейский писа-

тель – именно еврейский! – пишущий не только на иврите и идиш, но и на русском, румынском, немецком, болгарском... и для которого еврейство – его прошлое и настоящее, его история, жизнь в галуте и в Израиле, его чаяния и стремления – основная тема творчества.

Призывая писателей-репатриантов создавать произведения о еврейской жизни в Израиле и в диаспоре, покойный Бен-Цион Томер заметил, что прежде всего "каждый должен решить для себя: принадлежит ли он этой стране, сопричастен ее бедам и радостям или только живет в ней"[10].

Какие же произведения, написанные на русском языке в Израиле, следует называть еврейскими русскоязычными? Определение не представляет сложности – все довольно просто: если писатель, пишущий на русском языке, обладает русским мироощущением (а место проживания не имеет для него значения), то он, естественно, русский писатель. И было бы просто нелепо считать его произведения принадлежащими израильской культуре на русском языке только на том основании, что они созданы в еврейском государстве. А если писатель, пишущий на русском языке, мыслит и чувствует, как еврей, видит окружающий мир глазами еврея (израильтянина), то его следует называть еврейским (израильским) писателем. Но многие прибывшие в Израиль русские писатели не только не мыслят, не чувствуют и не видят окружающий мир глазами еврея-израильтянина (ввиду мизерного гражданского стажа, да и по причине полной или почти полной ассимилированности), и вообще в своем творчестве весьма далеки от еврейской тематики. (Эпизодические еврейские образы и сюжеты в их произведениях или скоропалительно написанные стишки о красоте израильской природы – всего лишь дань уважения приютившей стране).

Конечно, если иные русские писатели приехали в Израиль, чтобы обогащать здесь русскую культуру, то это их право. Да, можно быть "гражданином Израиля, а подданным русской культуры"[11] (Б.Камянов), но коль русские писатели репатриировались на свою историческую родину (разумеется, если они ее таковой ощутили), то надо все-таки у себя в стране стремиться стать и подданными Израиля, и подданными еврейской (израильской) культуры, иначе зачем же нужен был этот вояж на Землю Обетованную – можно было как-то пережить российские бури – ведь рано или поздно все там образуется - и оставаться до конца своих дней подданным России и русской культуры. Об этом приходится упомянуть, потому что многие вышедшие в Израиле произведения писателей-репатриантов словно написаны в России и для России. А что касается поэтических сборников, то большинство из них начисто лишено еврейского духа.

Русским писателям, стремящимся интегрироваться в израильскую культуру, придется руководствоваться в своем творчестве национальным само-

сознанием – обрести его, если оно отсутствует, или развить, если оно в эмбриональном состоянии, – вернуться к родным корням. Так же, как не становятся полноценными гражданами Израиля, сойдя в аэропорту с трапа самолета, так и не обретается в один прекрасный день утраченное национальное самосознание. И обрести новое дыхание в создании подлинно еврейских (израильских) произведений на русском языке потребует и усилий, и времени.

Х.Н.Бялик в связи с кончиной С.Фруга писал: "Я воспринимал С.Фруга не только как читатель, но и как еврей. Читая его русские стихи, я не замечал его русского языка. Я чувствовал в каждом слове язык предков, чувствовал душу человека, страдающего за свой народ". И далее (что для русских писателей в Израиле особенно актуально и злободневно) Бялик определил, каким должно быть произведение еврейской русскоязычной литературы. "Национальность литературного произведения, – писал он, – определяется не языком, на котором оно написано, а господствующим настроем автора, его тягой к определенному народу, сродством души автора с душой родного народа, с его культурой, устремлениями к прошлому, настоящему и будущему этого народа, определяется ответом на вопрос, для кого он работает и чьи национальные интересы он защищает"[12].

[1] М.Каганская, "Кое-что о Якове Ц." (газ. "Вести", прил. "Окна", 27.06.1996).

[2] Эф.Баух, "Момент истины" ("Сион", № 32, 1980, Израиль).

[3] А.Любинский, "Болотные огни" ("Новости недели", прил. "Еврейский камертон", 3.11.95).

[4] Леонид Гомберг, "Тель-Авив: утраты, поиски, находки" ("Знамя", № 5, 1996, Москва).

[5] Исраэль Шамир "Русская израильская литература" ("Вестник новой литературы", № 6, 1994, Санкт-Петербург).

[6] Цитируется по статье Н.А.Бухбиндера "Из жизни Л.О.Леванды" ("Еврейский вестник", Л. 1928.

[7] В.Львов-Рогачевский, "Русско-еврейская литература", 1922.

[8] А.Горнфельд, "Русское слово и еврейское творчество" ("Еврейский альманах", 1923).

[9] М.Бронштейн, "Поколение пустыни и выбора" ("Сион", № 29, 1979).

[10] Из интервью ("Новости недели", прил. "Еврейский камертон", 20.05.1994).

[11] Из интервью ("Алеф", 6.11.1992, Израиль).

[12] "Одесские новости", 8.09.1916.

ДВА ПИСЬМА А.П.ЛАДИНСКОГО Я.В.ВЕЙНШАЛУ

Публикация В.Хазана

Живший в Париже русский писатель-эмигрант Антонин Петрович Ладинский (1896-1961) посетил Эрец-Исраэль летом 1936 года. Он прибыл сюда как сотрудник "Последних новостей", где и были напечатаны его очерки, составившие книгу "Путешествие в Палестину". По возвращении А.П.Ладинского в Париж 23 апреля 1937 г. состоялся его вечер, на котором он поделился своими палестинскими впечатлениями.

Отправляясь в палестинское путешествие, Ант.Ладинский, по-видимому, обратился к В.Жаботинскому с просьбой связать его с кем-либо из живущих там знатоков истории и современной жизни этого края. Как на самой подходящей кандидатуре выбор В.Жаботинского остановился на Я.В.Вейншале, враче и писателе, видном сионисте, участнике ревизионистского движения, личности яркой и колоритной, о которой следует сказать несколько слов.

Яков Владимирович Вейншал (1892-1981) родился в Тифлисе в семье железнодорожного врача. Принадлежал к именитому еврейскому роду, откуда вышли – со стороны отца – известный математик Каценеленбоген, а со стороны матери – автор толкований к комментариям Мишны выдающегося еврейского философа и врача Маймонида (РАМБАМа). Родной брат матери, Давид Ландау, был отцом будущего крупнейшего советского физика Л.Д.Ландау, приходившегося Я.В.Вейншалу двоюродным братом. В неопубликованных воспоминаниях Я.В.Вейншал пишет: "Его (Д.Ландау) здоровый, холодный мозг настоящего Ландау – с большими математическими способностями – унаследовал впоследствии его сын – один из лучших специалистов в России по атомной бомбе. Из автобиографии Артура Кестлера (писатель А.Кестлер был в дружеских отношениях с Вейншалом. – В.Х.) я случайно узнал, что он столкнулся с этим моим кузеном в России. Я из этого сделал вывод, что бедного Артура наша семья преследует по обеим сторонам железной завесы".

Школу Вейншал закончил в Баку, с юношеских лет став убежденным сионистом. Разделив судьбу многих еврейских юношей и девушек, которые из-за "процентной нормы" не могли попасть в российские высшие учебные заведения, в 1910-1915 гг. учился медицине в университетах Мюнхена, Женевы, Базеля. В студенческие годы организовал в Германии сионистскую студенческую организацию "Hechaver" и был членом ее Центрального Комитета. В Женеве по его инициативе был создан "Journal for Self-Education of Zionist Students", который он сам же и редактировал.

В годы Первой мировой войны Вейншал служил врачом в действующей русской армии на турецком фронте. После Февральской революции, вместе с героем еврейского народа И.Трумпельдором, участвовал в создании боевой еврейской бригады, намеревавшейся с оружием в руках пробиваться в Палестину для борьбы с турками. Этим планам помешал большевистский переворот.

В конце 1917 г. Вейншал вернулся в Баку, где с 1920 по 1922 г. служил в пропедевтической клинике Бакинского университета, сперва в качестве ординатора, впоследствии – ассистента. Там же опубликовал свои первые научные работы по медицине.

В 1922 г. он переехал в Палестину, где на протяжении многих десятилетий работал врачом. В 20-х гг. являлся палестинским корреспондентом парижского русско-еврейского еженедельника "Рассвет". Был единственным представителем от Палестины на первой конференции сионистов-ревизионистов, проходившей с 26 по 30 апреля 1925 г. в Париже. В 1925-1928 гг. возглавлял ЦК сионистов-ревизионистов в Палестине.

В середине 30-х гг. в свет вышел первый роман Вейншала "Суд начнется завтра" (на иврите) – об убийстве одного из лидеров сионистского рабочего движения в Палестине Х.Арлозорова. С тех пор его имя входит в ивритскую литературу и журналистику (им написано неисчислимое количество очерков на разнообразные, преимущественно исторические темы). Сотрудничал Вейншал и в русскоязычной израильской печати, и тоже в первую очередь как исторический очеркист.

В 1950 г., будучи во Франции, намеревался познакомиться с Ив.Буниным, но, по всей видимости, не застал его в Париже, см. в письме Д.Кнута Буниным из Израиля от 8 мая 1950 г.: "На днях к вам попросится в визитеры один мой приятель, тутошний врач и литератор, превосходно из<ъ>ясняющийся по-русски: он вам расскажет об Израильском государстве и о прочем таком. Зовут этого израильского писателя – Яков Вейншал" (Д.Кнут. Собрание сочинений: В 2-х т. Т. 2. Иерусалим, 1998, стр. 341).

Итак, В.Жаботинский обратился к Вейншалу с рекомендательным письмом из Парижа:

Paris 27.V.1936

Дорогой Яков Владимирович,

Направляю к Вам Антонина Петровича Ладинского<,> очень рекомендую Вам и друзьям милого человечка с открытой душою. Хотелось бы, чтобы он д е й с т в и т е л ь н о посмотрел Палестину со всех углов зрения – чтобы не укрылось от него ни богатство левых, ни наши с Вами прорехи; ни наша, ни их правда или ложь. Думаю, что Вы много можете помочь. Крепко жму руку.

Ваш

В.Жаботинский

Знакомство Ладинского с Вейншалом, как того и хотел Жаботинский, состоялось. Само имя Вейншала в книге "Путешествие в Палестину" не появляется, но, судя по двум неопубликуемым письмам Ладинского к нему после возвращения в Париж, еврейский писатель оказал русскому гостю неоценимую помощь в знакомстве со страной.

Оба письма хранятся в Институте В.Жаботинского (Тель-Авив), Архив Я.Вейншала.

4 сент<ября> 1936

Дорогой Яков Владимирович,

Пишу очерки о Палестине (обо всем, к сожалению, не придется написать) и каждый раз переживаю чудесное путешествие. Увы, у нас тут метро, погода на 2 с плюсом, работа, не всегда интересная. С удовольствием вспоминаю Иерусалим, поездки, наши встречи за стаканом Миц-Асис[1] и т.д.

Тянет в Палестину ужасно, а едва ли я ее еще раз увижу. Слежу за телеграммами Е.Т.А. Знаю, что у Вас в Тель-Авиве были тяжелые дни[2]. Как Вы поживаете? Я живу тихо, в Париже у нас теперь пустота. Если у Вас будет желание, напишите мне. Мне было бы очень интересно получать иногда письма из Палестины.

Привет Вашей супруге и всем Вашим.

Преданный Вам Ант.Ладинский.

6 дек<абря> 1936

Милый Яков Владимирович,

Спасибо Вам за Ваше остроумное и веселое письмо. Узнаю Ваш стиль. Задержался с ответом, потому что сейчас дел по горло. Очень занят выпуском книги-романа[3] и книжки о Палестине[4]. Надеюсь, что к рождеству выйдет, если не случится чего-нибудь непредвиденного. Но очень трудно, когда издаешь не в Париже (у нас насчет издательств плохо).

Видел на днях Эвзерова[5]. Такой же живчик. Устраивал здесь дела с выставкой (палестинский павильон). У нас в Париже жизнь идет своим чередом, собрание за собранием. А как у Вас? Впрочем, зная Ваш скептический и насмешливый ум, заранее представляю себе, что Вы думаете о королевских комиссиях[6] и прочих вещах. Но с точки зрения погоды у Вас, вероятно, чудесно. Зима на Востоке – замечательная. Помню по Египту[7].

Есть у меня маленькая, с воробьиный носик, надежда еще раз побывать в Палестине, но в 1938 году, не раньше. Тогда мы выпьем Асиса, а может быть, чего-нибудь покрепче.

Мих<аил> Алек<сеевич> Струве кланяется.[8]

Привет супруге.

Ваш Ант.Ладинский.

---

[1] *Дословно: фруктовый сок (иврит). В "Путешествии в Палестину" Ладинский писал: "С утра с путеводителем Стеймацкого подмышкой, с черными очками на носу, я начал хождение по городу (речь идет об Иерусалиме. – В.Х.). Надо побывать там-то, расспросить такого-то, а по дороге остановиться и полюбоваться на открывшийся неожиданно среди домов библейский вид на соседние горы или выпить бутылочку "национального палестинского напитка", как в шутку называют здесь "Асис" – питье их местных фруктов" (А. Ладинский. "Путешествие в Палестину". София, 1937, стр. 38).*

[2] *Речь идет о всеобщей арабской забастовке в ответ на приобретение евреями оружия.*

[3] *Имеется в виду исторический роман "XV легион" (Таллинн, 1937).*

[4] *Книга "Путешествие в Палестину" вышла в 1937 г. одновременно в двух издательствах: в Таллинне и Софии.*

[5] *Правильно: Александр Евзеров (в Палестине принял фамилию Эйзер, 1895-1974), журналист, организатор торгового и промышленного сектора в Эрец-Исраэль. Закончил в Петербурге гимназию и Психонев-*

рологический институт, учился на юридическом отделении университета; образование завершил в Томске, где начал свою деятельность: с 1916 г. возглавлял местное отделение студенческой сионистской организации "Hechaver". После февраля 1917 г. входил в сионистские комитеты евреев Сибири и Урала. С октября 1917 г. редактирует "Известия временного Западно-Сибирского районного комитета Сионистской организации" (с ноября – "Известия Западно-Сибирского Райкома Сионистской организации") и до февраля 1918 г. – журнал "Сионистская мысль". В 1919-1920 гг. входил в состав редколлегии еженедельного общественно-политического и литературного журнала "Еврейская жизнь" (Иркутск). В Палестину добирался через Монголию и Китай. Какое-то время жил в Китае как представитель международного профсоюза сионистов, основал там (совместно с инженером М.А.Новомейским) и редактировал (сначала в Шанхае, затем в Харбине) еженедельник известий Палестинского информационного бюро на русском языке "Сибирь – Палестина". В 1921 г. прибыл в Палестину, где первое время работал в составе группы "Сибирь" на строительстве дорог и посадке цитрусовых деревьев. После болезни ему пришлось оставить физический труд и поселиться в 1923 г. в Тель-Авиве. Участвовал в создании журнала "Торговля и промышленность" (1923) и в организации различных торговых и промышленных компаний. По его инициативе и при неизменном участии прошло свыше 40 выставок продукции Эрец-Исраэль в 17 странах мира. Один из главных устроителей так называемых восточных ярмарок-выставок в Тель-Авиве, которые приобрели международный размах – в них участвовало около 40 стран мира. Он же придумал эмблему этих ярмарок – крылатого верблюда (одна из глав "Путешествия в Палестину", рассказывающая об этих ярмарках и где упоминается Евзеров, так и называется "Крылатый верблюд"). В 1949 г. по его инициативе развернулось строительство в Иерусалиме Дворца наций. С конца 50-х гг. занимался в основном журналистикой, в том числе и радиожурналистикой; в 1959-1963 гг. под его редакцией издавался ежемесячный журнал на русском языке "Вестник Израиля" (с 1959 – член редколлегии, с 1960 – главный редактор), а в 1963-1967 гг. – двухмесячник "Шалом". В дальнейшем являлся руководителем службы информации в экономическом отделе Еврейского агентства, а также занимался проблемами экспорта израильской продукции за рубеж. См. о нем: Мучник, 1997: 35-47.

[6] Для предотвращения кровавых столкновений между евреями и арабами и расследования событий в стране британское правительство

создало комиссию во главе с лордом Пилем. Эта комиссия, которая получила название Королевской, прибыла в Палестину 11 ноября 1936 г. Ее отчет, в котором Палестину предлагалось разделить на два государства – еврейское и арабское, был опубликован в июле 1937 г. Ревизионисты во главе с В.Жаботинским резко негативно восприняли данный раздел, по которому еврейская территория составляла ничтожную часть от арабской. Однако задолго до опубликования решения Королевской комиссии такие проницательные люди, как Вейншал, хорошо ориентировавшиеся в проарабской политике англичан, предвидели результаты и относились к ним крайне скептически. Так что Ладинский не ошибался в диагнозе насмешливого отношения своего корреспондента к деятельности комиссии лорда Пиля.

[7] После эмиграции из России в 1920 г. Ладинский попал в Египет.

[8] Михаил Александрович Струве (1890-1948), поэт, в эмиграции с 1920 г. Был настроен просемитски, печатался в редактировавшемся В.Жаботинским русско-еврейском еженедельнике "Рассвет", см., напр., его стихотворение "Еврейская Пасха" ("Рассвет". 1930, № 15-16. 13 апреля, стр. 6). Возможно, Вейншал и познакомился со Струве в редакции "Рассвета". Впрочем, не исключено, что их знакомство произошло еще в Баку, где перед эмиграцией на Запад какое-то время жил Струве.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АЗОВ Марк *(Айзенштадт)* – писатель-сатирик, автор стихов, рассказов, повестей, пьес и киносценариев, а также эстрадных произведений для театра Аркадия Райкина. Участник второй мировой войны.

В Израиле с 1994 г.

Член Союза писателей России и Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ). В 1996 г. выпустил книгу "Галактика в брикетах". Главный редактор журнала "Галилея".

Живет в Нацрат-Илите.

БАТКИН Вильям – по образованию горный инженер. Репатриировался из Харькова в 1996 г. Автор стихотворных сборников "Надежда" и "Пойте песни о верности". Последняя книга – сборник сонетов – вышла в Израиле. Член СРПИ.

Живет в Бейтар-Илите.

БЕРКОВИЧ Михаил родился в Ачинске Красноярского края, по профессии репортер. Четыре с половиной года провел в лагерях Коми АССР и Кольского полуострова.

В Израиле с 1994 года. Издал здесь шесть книг – две прозаические и четыре стихотворные.

БОГОЛЮБОВ Ицхак родился в гор. Чечерске (Белоруссия) в 1929 г. До войны жил в Гомеле, во время войны – в Восточном Казахстане и в гор. Иваново. В 1947 г. с золотой медалью закончил среднюю школу в Минске. В 1953 г. окончил Московский авиационный институт, откуда был направлен на завод оборонной промышленности в Ригу. В Риге прожил 19 лет. Занимался научными исследованиями, в частности руководил разработкой и внедрением первой в СССР системы управления промышленным объединением с помощью ЭВМ (компьютера). Преподавал экономику, экономическую кибернетику и производственную эстетику в Латвийском университете и в Институте повышения квалификации руководящих работников промышленности Латвии. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1972 г. репатриировался в Израиль. Работал в лаборатории исследования операций министерства связи Израиля. В 1977 г. переехал в Южную Африку. Работал чертежником, инженером, консультантом по производительности труда и управлению экономическими объектами. В 1995 г. вернулся в Израиль, чтобы окончательно заняться литературой.

Публикуется в периодических изданиях Израиля и Австралии. Написал свыше ста пятидесяти сказок и майс (бытовых рассказов). Издал шесть книг сказок и майс, издает еще восемь книг.

Живет в Афуле.

БОГОСЛАВСКИЙ Марк родился в Харькове, участник Второй мировой войны, дважды ранен. Окончил Харьковский университет, филолог. Преподавал в Институте культуры; поэт, литературовед: три книги стихов и книга статей. Печатался в "Новом мире", "Юности", "Литературной Грузии". В "Иерусалимском журнале" вышла подборка его стихов.

В Израиле с 2000 года. Живет в Нетании.

БУНЧИС Игорь репатриировался в Израиль из Ашхабада (Туркмения). Автор книг "Китайский зонтик" и "Й". Член литературного объединения "Волны Кинерета" (Тверия).

ВАЙСМАН Александр родился в Черновцах. Окончил музыкальное училище по классу скрипки. Музыкант и художник. Иллюстрировал книги, участвовал в выставках в США. Участник фестиваля "Маме-лошн" в Нью-Йорке. Работы в интернете (сайт "Штетл" по идиш-культуре).

В Израиле с 1991 года. Живет в Нацрат-Илите.

ВЕЙЦМАН Марк – поэт, окончил Литературный институт им. А.М.Горького, автор стихов для детей "Мой папа ученик" (1975), "Счастливый билет" (1980), "Пора каштанов" (1983), "Шестой урок" (1985), "Спросите меня" (1988), "Понедельник – день веселый" (1989), "Лирические приключения" (1991), книг "Моление о памяти" (1995), "Репортаж из Эдема" (1998). Член СРПИ, член Союза писателей СССР, член Союза писателей Украины. Лауреат литературной премии им. Б.Горбатова (1983).

В Израиле с 1996 г.

ВЕКСЛЕР Суня *(Александр Кузьминский)* родился в 1955 году на Камчатке. Жил и работал в Иваново. По профессии инженер-механик. Один из руководителей литературного клуба "Аэлита", член редколлегии самиздатовского журнала и редактор литературного приложения к местной газете. Участник фестиваля любителей фантастики ("Аэлита") в Свердловске и семинара писателей там же. Публикует стихи в местной прессе, в журнале "Галилея". Член литературного объединения "Галилея", Нацрат-Илит.

В Израиле с 1995 года.

ВЕНГЕР Хаим – поэт, прозаик, публицист, автор поэтических сборников "Пробуждение" (1987), "Приговорен к жизни" (1992), прозы "С Израилем в сердце" (1982), "Такая она, жизнь" (1990), "Здесь все иначе" (1994), "По дорогам памяти" (1996) и др.

В Израиле с 1980 г. Живет в Иерусалиме.

ГЕРШКОВИЧ Анатолий – по образованию инженер-электрик и экономист, автор 11 научных работ. Публиковался в периодике, в альманахе "Роза ветров".

В Израиле с 1994 г. Живет в Нацрат-Илите.

ГОЛКОВ Виктор репатриировался из Кишинева в 1992 г. По образованию инженер. Автор ряда поэтических сборников, выпущенных в СССР и Израиле. Печатался в журналах "Кодры" (Кишинев), "Вильнюс", "Алеф", "22", в альманахах и периодике.

ГОРЧАКОВ Генрих *(Эльштейн)* – прозаик, литературовед, автор книги "О Марине Цветаевой. Глазами современника". В Израиле выпустил книги "Л-1-105" и "Судьбой наложенные цепи". Лауреат премии СРПИ (1996). Член СРПИ. В Израиле с 1994 г. Живет в Афуле.

ГОРЧАКОВА Лия родилась в Москве, окончила Московский государственный педагогический институт. Филолог. Учитель русского языка и литературы. Публиковала статьи, очерки, эссе в "Учительской газете", журналах "Столица", "Литература в школе". Публикуется в газетах "Новости недели", "Вечерний Иерусалим", "Индекс-а-Галиль", журнале "Галилея". В 2001 году вышла книга Л.Горчаковой "В поисках собеседника". Член литературного объединения "Галилея".

В Израиле с 1994 г. Живет в Афуле.

ГОХЛЕРНЕР Моше – профессор, автор более чем двухсот печатных работ и нескольких монографий, изданных Харьковским и Московским университетами. Родился в гор. Ровно, окончил Харьковский университет, заведовал кафедрой иностранных языков и психологии Харьковского сельскохозяйственного института. В настоящее время руководит семинаром культуры при библиотеке Нацрат-Илита, преподает в ульпане.

ГРИНБЕРГ Ури-Цви (1896, Австро-Венгрия – 1981, Тель-Авив) – один из крупнейших израильских поэтов и публицистов, зачинатель экспрессионизма в израильской поэзии.

В Израиле жил с 1924 г.

ДИБНЕР Фаина – кисвлянка, печаталась в журнале "Юность", в израильской периодике, в альманахе "Роза ветров". Выпустила сборник рассказов "Цыганочка с выходом".

В Израиле с 1991 г. Живет в Нацрат-Илите.

ДОЛГИН Леонид родился в Фастове Киевской области в 1936 году, после войны жил в Новосибирске, радиоинженер, заместитель главного конструктора НИИ. Стихи публиковались в "Комсомольской правде".Печатался в "Новостях недели" (приложение "Семь дней") и в альманахе "Третье дыхание" (Москва). Член литобъединения "Галилея", Нацрат-Илит.

В Израиле с 1996 г.

ЕЧМАЕВА Нина родилась в Москве. Закончила Горьковский институт иностранных языков. Печатается в периодике, в 1998 г. выпустила сборник стихов "Поминальная свеча".

Репатриировалась в 1993 г. Живет в Нацрат-Илите.

ЗАРЕЦКАЯ Злата – театровед, доктор искусствоведения, автор книги "Феномен израильского театра" (1997) и многих статей об израильском театре. Член СРПИ.

В Израиле с 1990 г. Живет в Маале-Адумим.

ЗИЛЬМАН Виктор родился в Киеве, закончил биофак Черновицкого университета по специальности физиология и психология. Кандидат наук, автор ряда научных работ, учебников и пособий. Печатается в местной прессе.

В Израиле с 1991 г.

ЗНАКОВСКАЯ Любовь – поэт, автор пяти книг, из которых четыре вышли в Крыму и Москве, а пятая – "С Кинеретом в обнимку" – в Израиле в 1999 году. Была преподавателем русской словесности, мировой художественной культуры, педагогики, истории.

Репатриировалась в 1997 г. из Симферополя. Живет в Тверии, руководит литобъединением "Волны Кинерета".

КАЛИНЕЦ Елена – родом из Киева, окончила Киевский институт культуры, работала инструктором по культурной работе в ДК института Гражданской авиации. Пишет стихи и песни. Печаталась в газете "Индекс-а-Галиль".

Член литературного объединения "Галилея", Нацрат-Илит.

В Израиле с 1991 года.

КЕРЧ Ицхак – поэт и прозаик. Выпустил три сборника стихов в Израиле и в Москве, опубликовал более десяти рассказов. Член клуба русскоязычных писателей Нью-Йорка, член литературного объединения "Рыжий дельфин" в Хайфе. Работает в Хайфе помощником судьи.

В Израиле с 1990 года.

КОГАН Леонид – прозаик, автор романа "Родные могилы" (1993) и монографии "Еврейская русскоязычная литература" (2000). Член СРПИ.

В Израиле с 1990 года. Живет в Беэр-Шеве.

КРЕМЕНЧУГСКИЙ Петр – киевлянин, по образованию юрист. Впечатления Великой Отечественной войны, жизни в Грузии, Азербайджане, Туркмении и других местах легли в основу его рассказов. Публикуется в периодической печати.

В Израиле с 1994 года. Живет в Нацрат-Илите.

ЛЕВИНЗОН Рина – поэт, автор многочисленных стихотворных сборников. Переведена на арабский, иврит, немецкий. Лауреат литературной премии им. Рафаэли, лауреат первой премии на 13-м Международном конгрессе поэтов. Член СРПИ. Член международного ПЕН-клуба.

В Израиле с 1976 года. Живет в Иерусалиме.

ЛЕЗИНСКИЙ Михаил – прозаик, автор более чем двадцати книг, член СРПИ, член Союза писателей Крыма, член Сообщества русских, украинских и белорусских писателей. Руководитель литературного объединения "Рыжий дельфин".

В Израиле с 1996 года. Живет в Хайфе.

ЛУРЬЕ Люба – переводчик с иврита. В Москве работала научным сотрудником Института психиатрии. Перевод рассказа Ш.Харэвен – ее первая публикация. Член литературного объединения "Рыжий дельфин".

В Израиле с 1991 года.

МАРШИК Анна – прозаик, член литературного общества "Галилея". Публиковалась в израильских периодических изданиях, а также в сетевых литературных журналах.

Репатриировалась в Израиль из Запорожья в 1990 г.

МИНКИНА Елена – по профессии врач, работает в Хайфе. Автор книги "Пройдет 100 лет", опубликованной в Москве. Член хайфского литературного объединения "Рыжий дельфин".

МИРОШЕНСКИЙ Даниил – поэт, бард, член СРПИ. Родился в Молдавии, закончил пединститут. Спортсмен, тренер по гребле. Печатался в журналах "Кодры", "Колумна", "Горизонт" (Кишинев), в коллективном сборнике "Дельтаплан". Тренирует команду гребцов на Кинерете. Лауреат первого фестиваля авторской песни в Иерусалиме. В 1998 г. публиковался в альманахе "Ветка Иерусалима", выступает в программах радиостанции "РЭКА", печатается в периодике, выпустил книгу стихов "Поднять якоря".

В Израиле с 1990 г. Живет в Мигдаль ха-Эмеке.

ПАРЧИНСКАЯ Анна – харьковчанка, закончила Калининградский технологический институт, по образованию инженер-конструктор, работала библиотекарем, печаталась в российских журналах "Смена" и "Библиотекарь", в местной печати.

Репатриировалась в 1990 г.

ПОДЛУБНАЯ Стелла жила в Ташкенте. По образованию – инженер-литейщик. Автор стихов и пародий. Печаталась в периодике и альманахе "Роза ветров".

В Израиле с 1991 г. Живет в Нацрат-Илите.

ПОЛЬСКИЙ Михаил – по профессии режиссер. Окончил Московский институт культуры. Служил в Советской Армии, работал слесарем на заводе, плотником на строительстве, худруком ДК и режиссером народного театра. В самиздате, в театрализованных представлениях на Арбате и "Вечерах арбатской поэзии" участвовал под псевдонимом Зиновий Каменев.

В Израиле с 2000 года. Живет в Иерусалиме.

РАБКИН Борис – поэт и бард. Родился и жил на Украине, закончил Харьковский политехнический институт. Публикуется в периодической печати.

В Израиле с 1996 г. Живет в Нацрат-Илите.

РАТНЕР Дина – прозаик, литературовед, доктор философии, автор книг "Индивидуальность и творческое мышление" (1992), "В поисках бочки Диогена" (1995), "Вдохновение и откровение" (1995). Член Союза писателей России. Член СРПИ.

В Израиле с 1995 г. Живет в Иерусалиме.

РОНКИН Михаил – поэт, автор четырнадцати сборников стихотворений, из них пяти сатирических – в соавторстве с Эммануилом Прагом. Более четверти века занимался переводами на русский язык стихов киргизских поэтов. В Израиле, куда приехал в 1993 г., выступает преимущественно как публицист, печатается в русскоязычной прессе. Член Союза писателей СССР. Член СРПИ.

Живет в Афуле.

СУПОНИЦКИЙ Юрий родился в Черновцах, закончил мединститут в Тюмени. Служил в ЦАХАЛе. Работает по специальности. Публикует стихи и прозу в израильской русскоязычной периодике. В 1998 г. выпустил книгу стихов "Возвращаясь, всегда забываешь". Член редколлегии журнала "Галилея".

В Израиле с 1990 г.

ТУМАНОВА Зоя – поэт, прозаик-фантаст, эссеист и переводчик. Окончила Среднеазиатский университет, филолог. Член Союзов писателей СССР и Узбекистана. 20 своих поэтических книг – и множество в ее переводах с узбекского. Публиковалась в Москве и за пределами СССР. Печатается в журнале "Звезда Востока", в газете "Правда Востока", выступает по радио. Почетный председатель Ахматовского клуба "Мангалочий дворик".

Живет в Ташкенте.

ФРИДБЕРГ Грэгори родился на Алтае, жил в Литве. Член президиума Сионистского форума. Фотохудожник. Работал в Союзе художников Израиля, позднее – медицинским фотографом в больнице "Ха-Эмек" в Афуле. Был представлен на шестнадцати индивидуальных и групповых художественных выставках. Один из инициаторов издания и член редколлегии журнала "Галилея". Пишет стихи и прозу.

В Израиле с 1979 г. Живет в Нацрат-Илите.

ХАЗАН Владимир – профессор, филолог, литературовед. Преподавал в Грозненском университете. В Израиле с 1992 г. Работает по специальности. Преподает в Иерусалимском университете.

ХАРЭВЕН Шуламит родилась в Варшаве в 1930 году. Репатриировалась в 1940 году. В настоящее время живет в Иерусалиме. Литературные произведения Шуламит Харэвен публикуются с 1956 года. Ею написаны романы, рассказы и эссе, стихи, а также книги для детей. Произведения Ш.Харэвен переведены на многие языки.

ЦИВИН Роман жил во Львове, окончил Львовский университет, кандидат филологических наук. Журналист, корреспондент радио РЭКА, литературовед.

В Израиле с 1990 г. Живет в Нацрат-Илите.

СОДЕРЖАНИЕ

"ОСТРОВ ИЗРАИЛЬ"
Виктор Голков
"Остров Израиль – горящий барак..." 5
"Складчатые желтые вершины..." 5
"Я вырос в республике пьяной..." 6
"От сизого пепла ..." 6
"Не каждому близок мой взгляд на мир..." 7

Шуламит Харэвен
СВИДЕТЕЛЬ 8

"ПЕЧАЛЬТЕСЬ О СВОЕМ..."
Рина Левинзон
"Печальтесь о своем..." 31
"И тянется вверх..." 31
"Затянувшийся, бесконечный..." 32
Городок с полотен Шагала 32
Из Ури-Цви Гринберга 33

Вильям Баткин
КАДИШ ПО ГЕЙНЕ 35
Стелла Подлубная
КАЛЕЙДОСКОП С ОПТИЧЕСКИМ ПРИЦЕЛОМ

Марк Азов
В УЩЕЛЬЕ ПРОХЛАДНОМ 81

Елена Минкина
В СЛЕДУЮЩЕМ КРУГЕ
(Предисловие Златы Зарецкой) 90

Анна Маршик
СИНИЙ, КАК ТРАВА 96

Ицхак Керч
НА БАЛКОНЕ ТОЛЬКО ОДНО МЕСТО 108

"КАК ЭТО СТРАННО..."

Суня Векслер
"Как это странно – сочинять стихи..." 116
Муха 116
"Ну дайте хоть лоскутик темноты..." 117
"Амуры постриглись налысо..." 117
Немного о погоде 118

Виктор Зильман (Меламедов)
Акко 119
Осень в дубовых лесах 120
Возвращенье с охоты 120
Переезд 121

Юрий Супоницкий
"Время быстрых решений..." 122
"Я снова засыпаю без тебя..." 122
"Пустая площадь, желтый свет луны..." 123

Ицхак Боголюбов
ВОЛШЕБНАЯ ИГЛА 124

"СЛЕП ХУДОЖНИК..."
Марк Вейцман
"Слеп художник, погружался в тину..." 131
"Иордан кишит сомами..." 131
"Холестерин избыточный в крови..." 132
Михаил Беркович
"Прошу я вечер..." 133
"Я думал, не бывает хуже..." 133
Человек 133

"Вольно человеку в мир явиться..." 134
"Старый лось почуял боль под ложечкой..." 134

Марк Богословский
"Мой дом на изломе реки..." 135
Зимнее утро 136

Михаил Польский
Женщина-тень 138

Лия Горчакова-Эльштейн
В ПОИСКАХ СОБЕСЕДНИКА 140

"КУДА УЕХАТЬ?.."

Дан Мирошенский
"Все уже говорено и переговорено..." 163
Другу детства 163
Белый танец любви 164

Борис Рабкин
Реквием душе 166
Беда 166

Игорь Бунчис
Логическая математика 168

Леонид Долгин
У могилы матери 169

Михаил Лезинский
ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ 171

Фанна Дибнер
СМАЛЬТА 175

Михаил Ронкин
САМОРОДОК ДЛЯ ИЗРАИЛЯ 179

Петр Кременчугский
ДЯДЯ ЛИПА 188

Анатолий Гершкович
РАНДЕВУ С АКУЛОЙ 190

"В ТОМ ЛИ, В ЭТОМ РОДИЛСЯ КРАЮ..."

Анна Парчинская
"В том ли, в этом родился краю..." 196
"Ночью ветер давит на стены..." 196

Нина Ечмаева
"Стираются в памяти лица..." 198
Весна в Галилее 198

Любовь Знаковская
"У озера, похожего на море..." 200
Монолог Евы 200
Ах, Тверия, в твои края... 201

Елена Калинец
Нет тебя 202
"Проклятая мной страна..." 202

"ГДЕ ОН, ЭТОТ ВЗЛЕТ СТИХА?.."

Зоя Туманова
(Предисловие Марка Азова) 204
"Бурям века нет конца..." 205
Пора сирени 205
Есть по соседству у меня поэт 206
Несбывшееся 207

Роман Цивин
ЗВЕЗДЫ НЕ ПАДАЮТ 208

Александр Вайсман
РИСУНКИ К СПЕКТАКЛЮ ТЕАТРА "ГАЛИЛЕЯ"
"БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ" 211

Дина Ратнер
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ *220*

Моше Гохлернер
ЕСТЬ ЛИ У КРОВИ ГОЛОС? *246*

Хаим Венгер
СЛОВАМ ТЕСНО, МЫСЛЯМ ПРОСТОРНО
(Интервью с А.Б.Иехошуа из книги "Пророки в своем отечестве") *257*

Генрих Горчаков
О РИНЕ ЛЕВИНЗОН *265*

Леонид Коган
"ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ" В СТРАНЕ ОБЕТОВАННОЙ... *277*

ДВА ПИСЬМА А.П.ЛАДИНСКОГО Я.В.ВЕЙНШАЛУ
Публикация В.Хазана **287**

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ *293*